



ФРАНСИШ

ДИ ПОНТИШ

ПИБЛЗ

ВОЗДУХ,

КОТОРЫМ

ТЫ

ДЫШИШЬ

Annotation

Нескладная сирота Дориш работает на кухне в усадьбе сахарного плантатора на севере Бразилии. Она ничего не знает, кроме господского дома и окружающих его полей сахарного тростника. Но однажды в доме появляется ее сверстница, дочь хозяина Граса – красивая, умная и нахальная. Дориш и Граса, девочки из разных миров, оказываются связаны одиночеством в глухом уголке Бразилии, оторванном от всего мира. В душе каждой из них живет музыка. Одна обладает чудным голосом певчей птицы, а в другой музыка-птица бьется точно в клетке, пока однажды не вырвется в виде сочиненных песен. И обе мечтают погрузиться в большой мир. Музыка станет их общей страстью, основой их дружбы и соперничества и единственным способом сбежать от жизни, к которой они, казалось, приговорены. Их интимная, изменчивая связь на пару с музыкой определит их судьбу.

Роман, охватывающий несколько десятков лет, от 1930-х до наших дней, перемещающийся из дремучего бразильского захолустья в сверкающий огнями и опасный Рио-де-Жанейро, а затем в Голливуд, полон музыки. Самба, разухабистая и камерная, громкая и едва слышная, звучит с каждой страницы этой книги.

- [Франсиш Ди Понтиш Пиблз](#)
 -
 -
 - [Сладкий ручей](#)
 - [Побег](#)
 - [Воздух, которым ты дышишь](#)
 - [Мы родом из самбы](#)
 - [Суждено быть](#)
 - [Недобродетельные, не знающие раскаяния](#)
 - [Самба, ты была моей когда-то](#)
 - [Говорят, я теперь гринга](#)
 - [Между мной и тобой](#)
 - [Конец меня](#)

- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
-

Франсиш Ди Понтиш Пиблз

Воздух, которым ты дышишь

*Посвящается
Эмилиш*

THE AIR YOU BREATHE by FRANCES DE PONTES PEEBLES

Copyright © 2018 by Frances De Pontes Peebles

© Елена Тепляшина, перевод, 2019

© «Фантом Пресс», издание, 2019

* * *

Времени мало, вода прибывает.

Так перед съемками кричал – не помню его имени – режиссер, у которого снималась София Салвадор. И я каждый раз представляла себе, как мы сидим в аквариуме, наши руки судорожно скользят по стеклянным стенкам, а вода медленно подступает к подбородку, к ноздрям, к глазам.

Я засыпаю под наши старые пластинки, потом просыпаюсь – во рту пересохло, язык шершавый, как у кошки. Тяну рычаг кресла, рывком сажусь. Передо мной рассыпаны фотографии.

У меня хранится самая известная фотография Софии Салвадор – Бразильской Бомбы, Сеньориты Лимончиты, болтушки, сногшибательной красоты в переливчатых костюмах, с короткой, почти мальчишечьей, щипаной стрижкой, женщины, которая в зависимости от твоих возраста и национальности – шутка, символ борьбы, жертва, хищник, великий новатор; недавно один историк даже назначил ее «достойной самого серьезного исследования голливудской латиноамериканкой». На аукционе я купила и саму фотографию, и негатив, заплатив много больше, чем они стоили. Деньги сейчас для меня ничего не значат, я безобразно богата и не стыжусь этого. В дни

моей молодости музыканты делали вид, что успех и деньги – ничто. Честолюбие для исполнителя самбы, особенно для женщины, считалось чем-то непристойным.

На фотографии 1942 года у Софии Салвадор ее легендарная стрижка – короткие и неровные, будто рваные, волосы. Большие глаза. Рот открыт. Язык уперся в небо: непонятно, поет она или кричит. В ушах серьги в виде колибри в натуральную величину – блестят глазки из драгоценных камней, золотые клювы остры. Мочки ушей были объектом ее тщеславия, и София опасалась, что они растянутся под весом массивных вычурных серег. Хотя объектами ее тщеславия было все – ей приходилось быть тщеславной.

На шее у Софии золотая подвеска на ленточке, дважды обвивающей шею. Ниже – несколько ниток искусственного жемчуга, каждая жемчужина с глазное яблоко. Браслеты унижают руки до локтей – кораллы, золото. Каждый раз, когда я в конце дня снимала с нее все эти ожерелья и браслеты и она превращалась из Софии Салвадор (хотя бы на время) в Грасу, она взмахивала руками и говорила: «Какая я сейчас легкая! Вот возьму и улечу!»

Граса выгибала темные брови Софии так, что всегда казалась удивленной. А как подолгу она рисовала рот, знаменитый красный рот Софии Салвадор! Граса обводила контур, выходя за линию губ, и ее губы – как и все прочее в ней – становились преувеличенно-поддельными. Кто из них был настоящей? К концу своей короткой жизни Граса и сама не могла ответить на этот вопрос.

Снимок был сделан для журнала «Лайф». Фотограф поставил Грасу на фоне белого задника и велел:

– Притворись, что поешь.

– Почему «притворись»? – спросила Граса.

– Можно подумать, ты что-нибудь умеешь по-настоящему. – Фотограф считал, что известность дает ему право быть скотиной.

Граса уставилась на него в упор. Она очень устала. Мы вечно были уставшими. Я подписывалась на сотнях глянцевых фотокарточек за Софию Салвадор, пока Граса и парни из «Голубой Луны» тянули лямку восемнадцатичасового рабочего дня: съемки, примерка костюмов, кинопробы, репетиции, реклама последней музыкальной комедии с участием Софии. Но мы хотя бы не голодали, как раньше. Хотя раньше мы играли настоящую музыку – вместе.

– Ладно, притворюсь вежливой, – сказала Граса.

А потом открыла рот и запела. Люди помнят стрижку, громадные серьги, расшитые блестками юбки, но люди забыли ее голос. Когда она запела, фотограф едва не выронил свою камеру.

Я слушаю ее записи – наши ранние записи, когда она пела песни Винисиуса и мои, – и мне кажется, что ей все еще семнадцать и она сидит рядом со мной. Граса, с ее самодурством, чувством юмора, мелочностью, отвагой, с ее абсолютным эгоизмом. Такой она нужна мне – хотя бы на те три минуты, что звучит запись.

К концу песни из меня словно выкачивают все силы, я сижу и хлюпаю носом. Я представляю себе, что Граса здесь, подтрунивает надо мной, приводит в чувство.

Чего раскисла, Дор? – поддразнивает она. – *Рано списывать нас со счетов?*

Какой у нее чистый голос! Мне приходится напомнить себе, что она ненастоящая. Воображаемая Граса живет со мной дольше, чем прожила реальная.

Кому нужна реальная жизнь? – смеется надо мной Граса. (Она всегда над кем-нибудь смеется.)

Я трясу головой. Столько времени прошло – девяносто пять лет, если быть точной, – а я все еще не знаю ответа.

Моя нынешняя жизнь – сплошная тоска: я ковыляю по пляжу в обществе медсестры; совершаю вылазки в бакалейный магазин; после обеда я в кабинете, а вечером слушаю пластинки; терпеливо сношу бесконечный поток физиотерапевтов и врачей с их рекомендациями и унылым старанием. Я живу в огромном доме, окруженная наемными помощниками. Когда-то, давным-давно, мне хотелось такой легкой жизни.

Осторожнее с желаниями, Дор.

Поздно теперь быть осторожной, *amor*^[1].

Теперь мне хочется, чтобы первые безалаберные тридцать лет моей жизни вернулись – с их жестокостью, жертвами, с их ошибками, непоправимыми ошибками. С моими непоправимыми ошибками. Если бы я могла послушать свою жизнь – положить ее на вертушку, как старую пластинку, – я бы слушала самбу. Не ту шумную, разухабистую, что грохочет на карнавалах. Не дурацкие *marchinhas*^[2], бездарные однодневки, мыльные пузыри. Но и не ту, романтическую, что

сродни доверительному разговору. Нет. Моей была бы рóда^[3] – самба, которую мы играли после работы, выпив стаканчик-другой чего-нибудь крепкого. Она начинается предвестием несчастья, с хриплых выкриков куики^[4]. Потом мало-помалу в роду вливаются другие – голос, гитара, тамборим, скрежет реку-реку^[5], – и из тихого вступления прорастает, становится полнее, гуще и глубже песня. В ней есть все признаки настоящей самбы (хотя и необязательно великой). В ней жалоба, смех, вызов, страстное желание, честолюбивые мечты, сожаление. И любовь. Любовь. Она вся – импровизация, и если там есть ошибки, я закрою на них глаза и продолжу играть. А под всем этим – остигато, главная колея, которая не меняется, не сворачивает. Этот ритм – как мерный шаг, и он никуда не девается. Я тоже здесь: единственная оставшаяся в круге, я вызываю из небытия голоса, которые не слышала десятки лет, прислушиваюсь к хору доводов, которых мне не стоило приводить. Я пыталась не слушать эту песню до конца. Пыталась утопить ее – в выпивке, во времени, в равнодушии. Но она все звучит у меня в голове и не затихнет, пока я не вспомню каждое слово. Пока не спою ее вслух, от начала до конца.

Сладкий ручей^[6]

Пей! И споем эту песню вдвоем.
Черствой я стала с годами, пусть ром мне развяжет
язык.
Там, где любила, я окажусь и, вспомнив, закрою
глаза,
Но не найду больше чувства я там, где их обретать
привыкла.

Пусть эту песню простонет тростник,
Сгорая дотла.
Музыка сможет боль исцелить,
Сберегая от зла.

Спросишь, откуда я родом? – Ручей там медовый
течет.
Царствуя, гнет нас к земле сахарный жесткий
тростник.
Дева прекрасная жертвою стала тех сладких вод,
Дух беспокойный ее в те глубины навеки проник.

Сядь со мною на берег
И песню послушай мою.
В патоку этой воды погрузись
И открой мне душу свою.

Песню одну на двоих мы, мой друг, за стаканом
споем.
В прошлое вместе уйдем, что так сладко тебе
вспоминать,
Больше в минувшем своем уже не найдешь ты
былого, о нет!
Как ни старайся! Если начнешь вдруг, что мило,
усердно искать.

Пусть эту песню простонет тростник,
Сгорая дотла.
Музыка сможет лишь боль исцелить,
Сберегая от зла.

Сладкий ручей

Начать следовало бы с Грасы – с ее появления, с нашей первой встречи. Но в жизни все не так складно, как в рассказе или песне, она не всегда начинается и заканчивается чем-нибудь значительным. Еще до Грасы, с самых ранних лет, я ощущала, что уготованная мне при рождении судьба не соответствует моим возможностям – словно стебель сахарного тростника воткнули в наперсток.

Я выжила при рождении – настоящий подвиг, если ты родился в 1920 году у нищей как церковная крыса матери, живущей на сахарной плантации. Принимавшая меня повитуха потом трезвонила всем и каждому, как она удивилась, что такая крепкая девочка смогла выйти из такой изношенной утробы. Я была пятым и последним ребенком. У большинства женщин на плантации имелось по десять, двенадцать, а то и по восемнадцать детей, так что утроба моей матери была уж куда целее и моложе многих. Но она была незамужней – и незамужней осталась. Все мои давно пропавшие братья и я сама – единственная девочка – родились от разных отцов. В глазах людей моя мать была хуже, чем *puta*^[7], потому что *puta* хотя бы взимает плату за свои услуги.

Я не отваживалась спрашивать о своей матери, страшась того, что могу услышать, и не желая подставляться под колотушки – мне не позволялось задавать вопросы. О матери я узнавала, только если меня хотели обидеть. Тогда говорили, что широкой костью я в нее. И что характером я в нее. И что страшна я как смертный грех – тоже в мать, хотя на руках и лице у меня не было шрамов от тростника. На плантации мать – во всяком случае, какое-то время – резала сахарный тростник, будучи одной из немногих женщин, способных справиться с этой работой. Но чаще всего всплывали оскорбительные воспоминания о том, до чего она была слаба на передок. Если я сыпала недостаточно соли, чтобы отскрести кровавые пятна с досок, на которых резали тростник, если я хоть на секунду отвлекалась от плиты, на которой пузырилось адски горячее варенье, если я слишком долго несла что-нибудь кухарке Нене или ее подручным из кладовой или сада, я получала в лоб деревянной ложкой и слышала – «шлюхина дочь». Так благодаря ведрам словесных помоев я узнала о матери, а

заодно и о себе. И поняла, хотя в детстве и не могла выразить свою мысль отчетливо, что люди ненавидят то, чего боятся. И я начала гордиться матерью.

Повитуха пожалела меня, такого здоровенького ребенка, и, вместо того чтобы придушить, выбросить в тростник, где мной полакомились бы стервятники, или отдать хозяевам плантации, чтобы они вырастили меня как домашнюю зверушку или рабыню (с девочками-сиротами в то время такое практиковалось), она отдала меня Нене, главной кухарке на плантации Риашу-Доси. В нашем штате, Пернамбуко, побережье утыкано сотнями плантаций сахарного тростника, и Риашу-Доси была одной из самых больших. В хорошие времена, когда цена на сахар была высока, Нена руководила штатом из десятка кухарок и посудомоек и двух слуг-парней. Нена, с выпяченной вперед, как у призового петуха, грудью и беспощадными ручищами, походившими на ее чугунные сковородки. Семейство Пиментел, владельцы Риашу-Доси, распорядилось в главном доме поместья, но на кухне властвовала Нена. Вот почему никто не протестовал, когда повитуха принесла меня, голую и орущую, на кухню и Нена решила вырастить из меня посудомойку.

Все обитатели Главного дома – служанки, прачки, конюхи, лакеи – явились на кухню взглянуть на меня. Они непринужденно обсуждали, какая у меня розовая кожа, какие длинные ножки и идеальные ступни. На следующий день я перестала пить козье молоко, которым Нена поила меня из бутылочки. Нена отнесла меня к кормилице, но я выплюнула грудь. До кукурузной каши я еще не доросла, но Нена все равно пыталась кормить меня. Кашу я тоже выплевывала и вскоре сделалась сморщенной и желтой, как старая карга. Люди говорили, что меня сглазили. Они говорили про *olho mau*^[8], *olho gordo*^[9]. Два разных названия одной беды.

Нена отправилась за помощью к Старому Эуклидишу. Морщинистая кожа болтливой старика цветом походила на тростниковую мелассу, какую соскребают со стенок сахарного пресса. Он работал на Риашу-Доси дольше Нены – сначала конюхом, потом садовником. У Эуклидиша имелась ослица, которая недавно родила; она потеряла осленка, но не молоко. Нена взяла меня в конюшню, поднесла прямо к вымени этой *jega*^[10], и я стала сосать. Я сосала молоко ослицы, пока снова не окрепла. Цвет кожи у меня изменился, я

стала меньше походить на розу и больше – на рыжевато-коричневую ослиную шкуру. Волосы стали густыми и жесткими. И меня прозвали Ослицей.

Для невежественного суеверного люда я была неразрывно связана со вскормившей меня молочной матерью.

– Глупая как ослица, – дразнили меня лакеи.

– Упрямая как ослица, – добавляли посудомойки.

– Страшная как ослица, – говорили конюхи, когда желали уязвить меня.

Они хотели, чтобы я в это поверила. Хотели, чтобы я стала Ослицей. Но я не собиралась доставлять им это удовольствие.

Господский дом стоял на холме. С его крыльца, обрамленного колоннами, можно было увидеть все поместье: главные ворота, сахарный завод с черной трубой, конюшню, где содержались лошади и ослы, пастбище и кукурузное поле, винокурню и склады с железными дверями. Еще просматривалась бурая лента – река, давшая название Риашу-Доси, Сладкий Ручей, хотя она была гораздо шире ручья и воды ее не были сладкими.

На каждой плантации имелась своя история о привидениях, и Риашу-Доси не была исключением: одна женщина некогда утонула в реке и теперь обитает где-то на дне. Кто рассказывал, что ее убил любовник, кто – что хозяин, иные считали, что она сама утопилась. Говорили, что ее можно слышать по ночам, под водой, она поет о несчастной любви, пытаюсь заманить хоть кого-нибудь в воду и утопить, чтобы у нее была компания, рассказ зависел от того, веришь ты в привидения добрые или мстительные. Матери в Риашу-Доси рассказывали эту историю детям перед сном, дабы удержать их подальше от реки. Я услышала историю о призраке от Нены.

Позади господского дома был фруктовый сад, а за ним – *senzalas*^[11] с низкой крышей; раньше в них жили рабы, а теперь – слуги. Из всей прислуги только нам с Неной позволялось ночевать в господском доме, мы были на особом положении. На Нене этот особый статус сказывался не так, как на мне. Я была Ослица – ниже нижнего в строгой иерархии господского дома, – и горничные и лакеи не упускали случая напомнить мне об этом. Они колотили меня, щипали за шею, бранились и плевали в меня. Они лупили меня деревянными

ложками и натирали вход на половину прислуги салом, чтобы я поскользнулась и упала. Они запирали меня в вонючем отхожем месте, и мне приходилось вышибать дверь. Нена знала об этих выходах, но не пресекала их.

– Кухня есть кухня, – говорила она. – Хорошо еще, что парни не лезут тебе под юбку. Хотя скоро начнут. Поэтому учись защищаться уже сейчас.

Снова и снова она наставляла меня:

Старайся не поднимать головы.

Старайся не попадаться на глаза.

Старайся всем быть полезной.

Если я бывала невнимательна к ее наставлениям, она била меня деревянной ложкой, стегала старым кожаным ремнем или просто лупила голыми руками. Побоев я боялась, но не считала их чем-то ненормальным или плохим, я просто не знала, как еще можно выражать свои чувства, не знала этого и Нена. При помощи тумачков она учила меня тому, что не могла облечь в слова, она давала мне уроки, чтобы у меня был шанс выжить. На кухне Нены было безопасно – но и только там. Я была существом без семьи и без денег. Еще один голодный рот. Хуже того, я была девочкой. Хозяева в любой момент могли вышвырнуть меня из дома в море сахарного тростника, предоставив заботиться о себе самой. А что могла предложить миру некрасивая маленькая девочка, кроме своего тела? И я научилась отчаянно защищать это тело – от конюхов, рабочих, ото всех, кто попытался бы воспользоваться им. В то же время я училась быть полезной, старательно выполнять приказы хозяев, а лучше вообще не попадаться им на глаза. Невидимая, я оставалась в безопасности.

И пока девочки вроде Грасы наряжали кукол, я училась играть совсем в другие игры. В те, где сила означала власть, а ум – выживание.

Когда мне было девять лет, мировой финансовый кризис добрался до Бразилии и сахар стал не дороже пыли. На небольших плантациях рядом с Риашу-Доси господские дома заколачивали досками, а рабочих выставляли за ворота. Завод на Риашу-Доси закрылся. Пиментелы влезли в страшные долги и уехали. Пошли слухи о продаже. Потом рабочие перебрались на другие плантации, что усугубило кризис. Поля стояли заброшенные. Винокурню заперли на

замок. По одному покидали поместье горничные, посудомойки и конюхи. Вскоре остались только Нена, старый Эуклидиш и я.

– Они вернутся, – говорила Нена о Пиментелах. – Кто же бросает землю? Вернутся и увидят, кто остался им верен, а кто сбежал.

Неной руководили верность и страх. Она и старый Эуклидиш родились в Риашу-Доси еще до отмены рабства в Бразилии, в 1888 году, и после освобождения остались на плантации. Когда рабочие и прислуга разбежались, Эуклидиш присматривал за плодовыми деревьями, следил, чтобы не воровали животных из конюшен и фрукты из сада. Нена не позволила бы своим медным кастрюлям и железным сковородам попасть в руки мародеров или кредиторов и спрятала все ценное. Фарфоровые сервизы, серебряные блюда и супницы, столовые приборы чистого золота и перламутровая чаша нашли надежное укрытие под половицами господского дома. Ели мы то, что осталось в кладовой. Так как хозяева уехали, жалованье нам больше никто не платил, и мы постепенно привыкли выменивать нужное на рынке. Яйца – на муку, карамболу из сада – на солонину, мелассу – на бобы. Времена были скудные, но беспечальные. Для меня.

Долгие месяцы господский дом стоял пустым, я проводила в нем целые дни. Прыгала по плитам каменного пола. Запускала руки под чехлы на мебели, и пальцы ощупывали холодную гладкость мрамора, покатоности изогнутых ножек, позолоченные рамы зеркал. Я снимала с полок книги и широко раскрывала их, чтобы услышать тихий треск переплета. Я гордо спускалась по широкой деревянной лестнице – как, по моим представлениям, положено спускаться хозяйке дома. Впервые за всю мою девятилетнюю жизнь у меня появилась такая роскошь, как время и свобода, – я могла исследовать мир, воображать себя кем угодно, играть без боязни, что меня ударят или выругают, я жила, не тревожась, что меня могут вышвырнуть из Риашу-Доси за малейшую провинность. Мне словно разрешили быть ребенком, и я уже начинала верить, что останусь свободной навсегда. Как же я ошибалась.

Однажды я сидела в библиотеке, пытаюсь расшифровать загадочные знаки в одной из пиментеловских книг, как вдруг с улицы донесся ужасный рев. Будто у ворот господского дома зарычала собака-великанша. Я кинулась к Нене, та уже открывала двери.

У главных ворот ревел автомобиль. Старый Эуклидиш, ставший вдруг шустрым, как щенок, кинулся открывать ворота. Машина остановилась, и с водительского места выбрался какой-то мужчина. На нем были шляпа и длинное полотняное пальто. Он открыл пассажирскую дверцу, затем заднюю. Из машины вышли две женщины: бледная дама, тоже в пальто для езды в автомобиле, а другая – в полосатом платье и кружевной наkolке горничной. Служанка сделала попытку схватить что-то, лежавшее на заднем сиденье. Из машины донеслись шипение и хриплый визг. Мне показалось, что в машине какое-то животное – кошка или, может, опоссум, – но тут я увидела, что руки служанки вцепились в две маленькие ноги в кожаных туфельках. Женщина сунулась поглубже в машину. Визг, ворчание, водоворот белых нижних юбок и, наконец, вскрик. Горничная отскочила от машины, на глазах у нее были слезы, пальцы ощупывали свежую царапину на щеке.

– Оставьте ее там! – распорядился мужчина. – Она уже большая, сама вылезет.

Служанка кивнула, все еще прижимая руку к лицу.

Вторая женщина вздохнула и расстегнула пальто, открыв шелковое платье и нитку жемчуга на шее. Лицо в ореоле рыжих кудрей. Кожа того цвета, какой мы называли «отбеленный», – цвет самого дорогого белого сахара. На кухне мы ели сахар-сырец – буроватый, не белый и не коричневый. Совсем как я.

– Пусть лучше останется в машине. – Мужчина изучал грязную дорогу. – А то выпачкается. – У него лицо было потемнее, с квадратной челюстью. Горбатый нос походил на стрелку, указывающую на пухлый рот.

– С этого дня нам всем придется привыкать к грязи, – ответила рафинадная женщина и тут же сжала губы, словно отпустила непристойную шутку и пытается сдержать смех.

При упоминании о грязи с заднего сиденья машины выбралась девочка моего возраста, в платье сливочного цвета и белых перчатках. На макушке криво сидел бант; девочка сорвала его и бросила на землю. Она ковырнула носком туфельки грязь, шаркнула подошвами и вызывающе зыркнула на взрослых, словно желая, чтобы они велели ей прекратить. Потом девочка увидела меня и замерла. Для нее я не была невидимой.

Глаза у нее были цвета пробки. Рот казался нарисованным, словно у куклы. Не знаю, как долго мы смотрели друг на друга, помню только, что я не хотела сдаться первой.

Не сводя с меня глаз, девочка провела рукой по боку машины. Потом подняла руку. Перчатка стала красной – как земля под моими босыми ногами. Девочка самодовольно улыбнулась, словно делаясь шуткой, но я знала: она не собиралась смешить меня. Это были перчатки богатой девочки. Дорогие, тонкие. И такие маленькие, что несчастной прачке, которой велят отстирать их, придется тереть о стиральную доску, пока костяшки пальцев не сотрутся в кровь. Но девочку не заботила ни судьба перчаток, ни судьба прачки. Ей хотелось испортить что-нибудь безусловно красивое – просто так. Я почувствовала восхищение и отвращение одновременно.

– Граса! – громко позвал мужчина.

Между мужчиной и женщиной завязалась перебранка. Мы с Неной и Старым Эуклидишем держались тихо, ожидая, когда они обнаружат наше присутствие. Мы обрели плоть и кровь в глазах прибывших, лишь когда им понадобилась помощь: мужчина велел Эуклидишу достать чемоданы из багажника, бледная женщина сбросила пальто на руки Нены. Тогда-то я и поняла: эти люди – не гости, они хозяева и приехали, чтобы объявить Риашу-Доси и господский дом своей собственностью.

Это тоже были Пиментелы – кузены прежних владельцев. Пока мы шли через господский дом, сеньора Пиментел, устало вышагивавшая рядом с мужем, указывала на пятна и трещины, отслоившуюся краску и сгнившее дерево. Ее муж, сеньор Пиментел, срывал с мебели чехлы, словно волшебник, раскрывающий тайны своего трюка.

– Я помню, как дедушка писал за этим столом! – восклицал он. – А вот и стул, на который я пролил чернила!

После приезда новых Пиментелов счастливое, головокружительное ощущение свободы последних месяцев улетучилось за какой-нибудь час. Все книги, которые я осторожно вытаскивала с полок, все безделушки из стекла и слоновой кости, которые я начищала и гладила, стол, под которым пряталась, воображая, что живу в палатке в какой-то экзотической стране, зеркала, в которых я изучала себя, – никогда больше я не буду играть с

ними. Мне предстояло в одночасье снова сделаться полезной и невидимой, повиноваться – или быть выброшенной прочь. Когда родители отвернулись, девочка с глазами цвета пробки показала мне язык. Он был розовым и гладким, как плод помарозы. Мне страстно захотелось откусить его кончик.

В гостиной для приемов измотанные Пиментелы стянули чехлы с двух кресел, сели и приказали Нене сварить кофе. Мы рысью кинулись на кухню, где Нена схватила меня за локоть и велела принести последние драгоценные зерна, которые она прятала у себя под кроватью. Бегом вернувшись наверх, я стала подсматривать через щелястую дверь: в гостиной Нена подавала кофе новым Пиментелам. Прежде чем пить, те дождались, когда Нена выйдет; я не пошла за ней на кухню.

Сеньор Пиментел сделал глоток и поморщился:

– Она что, через грязный носок его процеживала?

– Придется обучать новую прислугу. – Сеньора Пиментел покачала головой. – Сколько сил понадобится!

– Нена хорошая кухарка, вот увидишь. Она служила здесь, еще когда я был мальчишкой.

– Как думаешь, эта девочка – дочь Нены и того старика? Такая страшненькая, бедняжка.

Сеньор Пиментел рассмеялся.

– Нена стара как мир. А девочка слишком светлая, чтобы быть их дочерью. Готов поспорить, что под слоем грязи она не такая уж уродина, ее просто надо отскрести как следует.

– Она останется на кухне, – резко сказала сеньора Пиментел. – Если с возрастом станет выглядеть поприличней, пусть прислуживает за столом.

Сеньор Пиментел взял жену за руку. Она ответила на его пожатие с той же утомленной скукой на лице, с какой инспектировала дом. Они принялись обсуждать будущее усадьбы. Мебель из верхних комнат предстояло перенести вниз. Ковры выбросить. Занавеси поменять. Провести водопровод и устроить ватерклозет, а значит – прорубить толстые стены дома.

У меня за спиной раздалися шаги. Я не успела спрятаться и тут же почувствовала боль – кто-то с силой выкрутил мне кожу на руке.

Девочка с пробочными глазами щипала меня за локоть. Я сердито стряхнула ее руку.

– А Марта всегда визжала, когда я ее щипала, – сообщила девочка.

– Марта? Кто это?

– Посудомойка еще в одном моем доме, в Ресифи. Настоящий особняк, уж получше этого свинарника.

– Такого дома нет больше ни на одной плантации, – сказала я.

Девочка пожала плечами:

– Ты, наверное, со скуки здесь помираешь.

– Я что, похожа на мертвеца?

– Это выражение такое. Ну ты и дура.

– А ты дважды дура.

– Как ты со мной разговариваешь?! – У девочки округлились глаза.

Она была права: я рисковала своим местом в господском доме. Возможно, причиной моей наглости были несколько месяцев свободы. И моей наглости, и того, что случилось дальше.

– Я теперь тут хозяйка, – заявила девочка.

Моя ладонь звонко шлепнула по ее щеке. Девочка открыла рот. Я бросилась бежать.

В кладовке при кухне было пусто и прохладно. Я забилась туда и принялась ждать. Ладонь пульсировала. Мне было страшно от мысли о том, какую трепку задаст мне Нена, когда найдет меня. Или того хуже: сеньор Пиментел обыщет кухню и вышвырнет меня из единственного дома, где у меня был свой угол. Кажется, я просидела в кладовке целую вечность, потом послышались шаги, голоса, снова взревел автомобиль, и новые хозяева отбыли, пообещав вернуться и приступить к ремонту.

Девочка не пожаловалась родителям, от этого она в моих глазах была и сносной, и опасной одновременно. Чего она захочет за свое молчание? Что я буду ей должна? Я мучилась этими вопросами несколько недель, пока плотники, каменщики и водопроводчики, нанятые новыми Пиментелами, пилили, стучали молотками и просовывали медные трубы в стены особняка.

Много лет спустя я напомнила Грасе о нашей первой встрече, она лишь рассмеялась. Ты все не так запомнила, сказала она. Это я тогда дала тебе пощечину.

Я знала каждый пыльный угол господского дома, каждый пустой гардероб, каждый большой буфет, в котором можно было спрятаться. Новые Пиментелы обосновались в Риашу-Доси. Теперь я дожидалась, когда Нена отвлечется, и убегала из кухни. Спрятавшись где-нибудь, я подсматривала, как Граса одевает и раздевает своих кукол, как покусывает прелестную розовую губку, когда не может подобрать передник к платью. Я смотрела, как горничная расчесывает волосы Грасы, пока они не станут блестящими, как расплавленная шоколадная глазурь, которой Нена покрывала пирожные для хозяйских трапез. Я смотрела, как Граса обедает в столовой и ее маленькие пятки колотят по ножкам стула, пока мать коротко не прикажет ей прекратить. Граса носила носочки с кружевами, нижние юбки и платья с кружевными передниками. К концу дня ее накрахмаленный наряд увядал от жары. Однажды я пробралась в прачечную и нашла ее грязную одежду. Я приложила одно из ее платьев к себе, потом поднесла к лицу. Прачка застала меня на месте преступления, ухватила растрескавшейся ладонью за локоть и потащила к Нене. Прачка заявила, что я пыталась надеть платье барышни, хотя это была неправда.

– Не нужны мне ее дурацкие платья, – сказала я, излагая свое дело перед Неной-судьей. – Я хотела знать, чем пахнет ее пот.

– И чем же? – рассмеялась Нена. – Розами?

– Просто потом.

Нена покачала головой, а потом отлупила меня старым ремнем.

Однажды днем, вскоре после инцидента в прачечной, Граса прокралась на кухню. Я была там одна – сидела возле кладовки и чистила картошку. Граса дернула меня за косу. Я обрадовалась ей, но не улыбнулась.

– Пошли ко мне, – велела она. – Вставай и пошли.

– Я работаю.

– Ты должна мне подчиняться.

Я прижала сырую картофелину к ее безупречно вздернутому носу.

– Я подчиняюсь Нене.

Граса отступила, стерла с носа картофельный сок и убежала.

Я почувствовала дрожь тайного восторга от своей победы, но тут же пожалела. Соперничество было неравным: Граса – барышня,

хозяйская дочка, она легко могла наказать меня, а я не могла ничего. Или все же кое-что могла – отказать Грасе в своем обществе?

На следующий день на кухню явилась сеньора Пиментел. Она неуверенно обошла столы, задерживаясь возле каждого и делая вид, что проверяет нашу работу. Строгость была не в ее природе. Все мы, прислуга, с младых ногтей исполняли свои роли, с самого детства учились приспособливаться к нравам и привычкам хозяев, так что нерешительность сеньоры Пиментел мы учуяли еще до того, как она успела отдать первый приказ, и многие пользовались этой слабостью. Нена не позволяла никому из кухонной прислуги манкировать своими обязанностями, но на горничных из господских комнат ее власть не распространялась. Горничные не выметали пыль между гардеробами, оставляли отпечатки пальцев на серебре и сидели в креслах, когда никто не видел, – настоящая хозяйка заметила бы такое поведение и наказала бы нахалок. Сеньору Пиментел, как многих женщин ее времени, учили быть кроткой и любезной со всеми, кроме прислуги, – с ними, напротив, следовало быть суровой и решительной. От нее ждали, что она будет двумя женщинами сразу, – вероятно, это и стало причиной ее хрупкого здоровья.

Думая о сеньоре сейчас, не могу вспомнить ее лица. Глаза у нее были карие или голубые? Кривыми или прямыми и ровными, как расческа, были ее зубы? Когда я думаю о сеньоре Пиментел, я вспоминаю фаду – музыку печальную, но столь глубокую и чувственную, что невольно хочется закутаться в нее. В фаду нет лукавства, свойственного блюзу, его печаль болезненно искренна. Поэтому не все любят фаду – иных отвращает его ранимость. А другие стремятся защитить его.

Я уверена, что в наши дни врач диагностировал бы у сеньоры Пиментел «депрессию», или «повышенную тревожность», или «заниженную самооценку», или еще какое душевное недомогание из тех, что нынче столь популярны. Ей прописали бы таблетки, велели читать книги о том, как сделать свою жизнь гармоничнее, она платила бы кому-нибудь за возможность поговорить о своих чувствах. Вероятно, это все даже помогло бы сеньоре Пиментел, но в ее время ни таких врачей, ни таких книг не существовало. В Риашу-Доси навевались доктора, и каждый ставил сеньоре Пиментел диагноз

«нервическая слабость». Модная по тем временам хворь у женщин ее круга.

Если новая хозяйка Риашу-Доси была воплощением фаду, то хозяин являл собой ее противоположность, он был песенкой из рекламной заставки. Такая музыка создана не для того, чтобы задевать в нас потаенные струны, а чтобы сбить, охмурить и заставить купить какую-нибудь ерунду, – мелодия зачаровывает, заставляет поверить в ее безвредность, хотя на самом деле вгрызается в самое твое нутро и принуждает признать: ты хочешь именно то, что она велит тебе хотеть, ты должен открыться ей, позволить застолбить участок в твоём сердце. Истинные намерения рекламной музыки ты обнаруживаешь слишком поздно. Из ее лап невозможно вырваться даже десятилетия спустя, как бы ты ей ни противился.

Сеньор Пиментел прекрасно выглядел для женатого мужчины его положения – он не позволил себе расплыться от хорошей еды и отменных напитков. Каждое утро он заставлял Старого Эуклидиша начищать сапоги для верховой езды до зеркального блеска, после чего даровал старику удовольствие натянуть сапоги на хозяйские ноги; потом сеньор Пиментел взбирался на лошадь и объезжал тростниковые поля в сопровождении своего управляющего, выглядел он при этом заправским промышленником. Он часто целовал жене руку, обихаживал ее за столом. Если сеньора сказывалась утомленной и не спускалась в столовую, он отправлялся к ней в комнату. Сеньор Пиментел относился к жене так, словно она была старшей и могущественной родственницей: вел себя с ней заискивающе-любезно, но стоило ей скрыться, как он выпускал короткий вздох облегчения. Служанки шептались, что именно капиталы сеньоры держат семейство на плаву и позволили спасти Риашу-Доси от разорения. Но главой семьи был все же сеньор Пиментел, именно он держал в руках бразды управления плантацией. Улыбка у него была припасена даже для меня, а уж для горничных... Не раз и не два я замечала, как сеньор болтает с самыми молоденькими – деревенскими девочками лет тринадцати-четырнадцати, которых приводила в восторг его элегантная одежда, а еще больше – его интерес к ним. От его слов девчонки хихикали и краснели.

– Держись от сеньора подальше, – наставляла Нена.

Я считала, что она просто повторяет то, что уже вколотила мне в голову: молчи и не попадайся никому на глаза. Когда сеньора Пиментел настояла, чтобы служанки работали парами, постарше и помоложе, я подумала, что она просто пытается показать нам, кто здесь главный.

В день, когда сеньора Пиментел явилась на кухню, мы, не поднимая головы, чистили, скребли, месили и мыли. И при этом следили за ее неуверенными передвижениями между плитами и разделочными столами; наконец она остановилась возле меня. Сеньора, кажется, целый час наблюдала, как я перебираю сушеную фасоль, выискивая камешки и сморщенные фасолины. А потом неожиданно потянулась и взяла бледной рукой мою косу, будто решив измерить длину.

Я замерла. До этого момента самой большой нежностью в моей жизни были тычки деревянной ложкой, которыми награждала меня Нена. То, что сеньора не дернула меня за волосы, было странно и даже пугало.

– Прямые, как у индианки, – сказала сеньора, поглаживая пальцами кончик косы. – Девушки в Ресифи заплатили бы за такие волосы целое состояние.

Сеньора Пиментел отошла от меня, заговорила с Неной.

– Ослица! – позвала Нена, когда сеньора Пиментел удалилась. – Вымой руки, вымой за ушами и надень хорошее платье. Сеньора хочет, чтобы ты прислуживала в комнатах.

Я затеребила косу.

– Зачем?

– Никаких «зачем». Сеньора хочет, чтобы ты поднялась наверх. Всё.

– Она хочет украсть мои волосы? – выпалила я.

Посудомойка закашлялась. Девушки захихикали. Нена покачала головой. Я никогда особо не думала о своих волосах, но они были мои, и я хотела, чтобы так оставалось впредь.

– Иди же, пока я не отдубасила тебя и не обстригла сама! – гаркнула Нена.

В господских комнатах было тихо. Служанки переговаривались шепотом. Еще в холле я слышала, как Старая Тита взбивает подушки в гостиной. Увидев меня в дверях, Тита вздохнула, отложила работу и

повела меня еще выше, в детскую. Граса с мрачной решительностью раздевала кукол с фарфоровыми головами.

– На, – она бросила мне куклу, – переодень ее.

Я первый раз в жизни держала в руках куклу. Нарисованные глаза широко распахнуты, красный рот глуповато приоткрыт словно в благоговейном восторге.

– Почему тебя зовут Ослица? – спросила Граса.

– Потому что я лягаюсь и кусаюсь. – Я в упор посмотрела на нее.

Граса тоже уставилась на меня, как будто мои слова не произвели на нее никакого впечатления.

– Дурацкое имя. Глупее не слышала.

Я опустила взгляд на куклу, чтобы Граса не заметила моей улыбки.

– Ты любишь кукол?

– Нет, – ответила Граса. – Мне нравится играть в маминном будуаре. Примерять ее вечерние платья. Диадемы. Но здесь она не надевает ничего красивого.

Я положила куклу на пол и направилась к двери:

– Пошли.

– Куда?

– На улицу.

Граса встала.

– Не выйдем.

– Это почему?

– Потому что я не сказала «пошли на улицу».

– Ну так скажи. Пошли на улицу – говори давай.

Граса долго смотрела на тряпичную куклу, которую держала в руках, потом подняла глаза на меня:

– Сначала скажи, как тебя зовут по-настоящему.

Когда я подросла настолько, чтобы запомнить свое имя, Нена открыла мне его тайну. Перед смертью мать успела сказать повитухе, как она хочет меня назвать. Только имя она мне и дала – не считая самой жизни.

– Мария даш Дориш, – сказала я.

Граса швырнула куклу в кучу игрушек.

– Мне скучно, Дориш. Идем на улицу.

К своему удивлению и к удивлению Грасы, я взяла ее за руку. Рука была мягкой и теплой, как дрожжевое тесто, что так легко проходит между пальцами.

Она была Мария даш Граса, а я – Мария даш Дориш. Возьмите любое имя, на любую букву алфавита, добавьте перед ним «Мария» – и вы получите имя, какое носили три четверти девочек моего поколения, богатых, бедных... Мария Эмилия, Мария Августа, Мария Бенедита, Мария ду Карму, Мария даш Невиш и так далее и тому подобное. Марий было столько, что никто и не называл их Мариями. Нас звали нашими вторыми именами. Поэтому Граса была Грасой, пока не стала Софией Салвадор, а я была Ослицей, пока Граса не назвала меня Дориш.

Иностранцы рифмуют мое имя с «морось» или «Бóрис». Они безнадежны. Я пытаюсь научить людей выговаривать мое имя правильно, так, как оно произносится по-португальски. «До-риш», говорю я, как «до-о». А потом «риш», как в «ришелье», только мягче. Когда они спрашивают, что означает мое имя, я не уклоняюсь от объяснений. «Страдание», говорю я, «боль». И получаю в ответ хмурые гримасы. Я понимаю почему – люди хотят, чтобы имя означало что-нибудь приятное. Как будто твое имя – это твоя судьба.

Граса и Дориш – «милость» и «страдание», идеальная пара. Плантации были нашим царством. Я научила Грасу забираться на плодовые деревья в саду, швыряться в лакеев гнилыми ягодами барбадосской вишни, научила тайком таскать овес осликам и гладить их мягкие морды. Граса научила меня играть в камешки, завязывать бант и сидеть прямо, скрестив лодыжки. Мы влезали на большие бочки и заглядывали в окна сахарного завода, там мужчины с блестящими от пота торсами резали тростник. От плантаций мы держались подальше, потому что листья тростника по остроте не уступали ножам Нены; у всех рабочих руки были покрыты шрамами. Но после сбора урожая поля стояли коричневые, голые, как торт без глазури, и мы с Грасой шатались где хотели. Иногда мы удирали к реке, чтобы тайком поплавать; обгоревшие на солнце, потные, мы возвращались в господский дом, где сеньора Пиментел уже ждала нас на заднем крыльце (мне не позволялось заходить через главный вход).

– Где вы были? – спрашивала Грасу сеньора. – Тебе нельзя долго играть на солнце! Вот загорит у тебя лицо, и ты никогда не выйдешь замуж.

Эту угрозу сеньора Пиментел часто использовала в своих безуспешных попытках призвать дочь к порядку. *Не грызи ногти, а то не выйдешь замуж! Не лазай по деревьям, а то расцарапаешь ноги и не выйдешь замуж! Не забывай о хороших манерах, а то не выйдешь замуж!*

Граса была барышней, а судьба барышни – выйти замуж за какого-нибудь сеньора и стать хозяйкой в доме мужа. Господский дом в Риашу-Доси, равно как и плантации, предназначались не Грасе – они должны были отойти ее брату, который, к великому разочарованию сеньора Пиментела, все никак не появлялся. Во время ссор с женой сеньор Пиментел вопрошал, почему она, проведя столько месяцев на свежем воздухе, в спокойствии загородной жизни, все еще больна. Сеньора отвечала, что их переезд в Риашу-Доси был затеян не ради нее и она хотела бы, чтобы муж прекратил притворяться – они покинули столицу ради него и его глупой мечты заделаться сахарным бароном. Останься они в Ресифи, кричала сеньора, Граса ходила бы в приличную школу, у нее были бы приличные подруги, она усвоила бы хорошие манеры, носила бы шляпки и перчатки, а потом вокруг нее стали бы увиваться десятки молодых женихов из приличных семей.

– Она из семьи Пиментел, – раз за разом отвечал сеньор. – Юнцы выстроятся перед ней шеренгой, даже если она будет глупа как пробка. Какая разница, что у нее в голове, *querida*^[12].

– Моя дочь не пробка! – отвечала сеньора.

Сеньор Пиментел считал Грасу – из-за того, что она девочка, – никчемной и потому незаметной, а вот сеньора полагала своей обязанностью сделать дочь видимой, настоящей. В те времена быть настоящей женщиной значило быть очаровательной, но не кокеткой, остроумной, но не фривольной, уметь нравиться, оставаясь равнодушной, быть благочестивой, но не ханжой, а самое главное – если тебе недостает красоты – быть любезной и грациозной. Желательны также хорошее происхождение и сундук с деньгами, но этому нельзя научиться, это дается от рождения. У меня, разумеется, ни происхождения, ни денег не было, но это не помешало сеньоре Пиментел учить меня наравне с собственной дочерью. Сеньора

ожидала, что мы обе добьемся успехов в учении, но наши успехи означали для нее разное: Граса станет хозяйкой, я (если окажусь достаточно сообразительной) сделаюсь при ней экономкой.

Сеньора Пиментел устраивала для нас троих шуточные, но при этом до мельчайших деталей продуманные приемы, раскладывая и расставляя такое количество столовых приборов и посуды, что голова шла кругом, и заставляла нас запоминать, какая вилка для рыбы, а какая – для устриц, какая рюмка для хереса, а какой бокал – для воды. Иногда мы все втроем совершали долгие прогулки. Чтобы защитить кожу, сеньора Пиментел и Граса надевали огромные соломенные шляпы, отчего становились похожи на работниц с плантации. Во время этих прогулок сеньора учила нас с Грасой английским словам, называя все, что попадалось нам на глаза: птица, сахар, человек, дерево, нож, ослик, мельница, дым.

В те дни от молодых дам из приличного общества требовалось знать и английский, и французский. Бразильцы из круга сеньоры Пиментел считали все европейское вершиной хорошего вкуса. В Ресифи, столице нашего штата, англичане управляли компанией железнодорожных перевозок, руководили бесчисленным множеством текстильных мануфактур, у них даже был собственный клуб и свое кладбище. В юности сеньора Пиментел посещала английскую школу и сносно, хоть и с некоторыми затруднениями говорила по-английски. Английские слова, которым она нас учила, проникли в мой ум и остались там, словно я поймала их в расставленные ловушки. Зато они без труда ускользали из памяти Грасы, и в конце наших прогулок Граса и сеньора Пиментел дулись друг на друга и раздраженно вздыхали.

Когда сеньора неважно себя чувствовала (что случалось все чаще), мы с Грасой приходили к ней в комнату; лежа в постели, сеньора читала нам сказки из книги, которую держала на прикроватном столике. Вскоре мы с Грасой уже разыгрывали их. Я была лесорубом, принцем, мерзкой старухой, лягушкой и чудовищем. Граса всегда – принцессой. Порой сеньора Пиментел заплетала нам косы, мне нравилось чувствовать, как ее прохладные бледные пальцы трогают мои волосы. Однажды, когда я принесла ей поднос с едой, она попросила меня причесать ее рыжие волосы, но пальцы у меня сделались такими скользкими, что щетка упала, напугав нас обеих.

В сказках, которые читала нам сеньора Пиментел, в историях из детства, которые она рассказывала, я слышала новые, незнакомые мне слова. Длинные слова. В них было столько слогов, что они казались заклинаниями. *Вздорный. Преодолевать. Поверженный. Инспектировать.* Я просила сеньору Пиментел повторить новые слова, а потом – объяснить их. Она с удовольствием делала это. По ночам, лежа напротив Нены в нашей каморке при кухне, я снова и снова шептала слова, которым научилась за день, словно твердила заклинания. Я не могла произнести эти слова нигде, кроме как в спальне сеньоры Пиментел, иначе Нена побила бы меня, объявив, что я слишком много возомнила о себе и что это меня до добра не доведет, но как же они мне нравились! Я обожала то, как они звучат и сколько мыслей, сколько чувств с их помощью можно передать: для каждого, даже самого сложного и странного, найдется свое слово! Мне хотелось собрать их все. В один прекрасный день сеньора в присутствии Грасы вручила мне записную книжечку, как раз по размеру кармана у меня на фартуке, и карандаш.

– Это тебе, Дориш. Чтобы ты записывала наши слова, – сказала сеньора.

Наши слова. Они принадлежали нам обеим.

Простенькая записная книжка в тканевом переплете. Затупившийся огрызок карандаша. Но я так вцепилась в них – боясь, что их выхватят у меня из рук, – что заболели пальцы. Говорят, ничто не сравнится с первой любовью, а я еще думаю, что никакой подарок не сравнится с первым подарком, каким бы маленьким и незначительным он ни казался дарителю.

Я опустила голову и зажмурилась, но горячие обильные слезы все же потекли по щекам. Сеньора всполошилась, прижала мягкую руку к моему лицу. В эту минуту я надеялась – глупо, по-детски – обрести власть над временем, заставить его замереть навсегда.

– Ну и скука, – буркнула Граса. – И душно.

Сеньора убрала ладонь с моей щеки и сказала:

– Попросите у Нены воды и кусок пирога.

Я без особой охоты последовала за Грасой вниз по лестнице, но она не пошла на кухню. Граса вышла из дома и направилась к реке.

На берегу мы сбросили платья и забрели в прохладную воду, но не слишком далеко – боялись, что нас унесет течением.

– Расскажи еще про привидение, – велела Граса.

Я стала рассказывать, как утопленница песнями заманивает людей в реку. Граса внимательно выслушала, а потом покачала головой:

– Ей не нужны друзья-утопленники. – Она не сводила глаз с мутной воды, которая плескала вокруг нас. – Ей нужно, чтобы ее спасли. Кто-то ужасный утопил ее, и она хочет, чтобы ее спасли, но всем на нее наплевать.

– В легенде не так, – запротестовала я.

– А я хочу, чтобы так, – ответила Граса.

– Не выйдет. Нельзя изменить историю только потому, что тебе так хочется. Так не бывает.

– Бывает! – завопила Граса, яростно шлепая руками по воде. – Потому что я так сказала! Потому что барышня я, а не ты, сколько бы дурацких слов ты ни выучила! Зачем тебе вообще записная книжка? Ты и писать-то не умеешь.

Граса училась и до приезда в Риашу-Доси. А я – нет. Но не это задело меня. Вспылив, Граса впервые назвала себя барышней при мне. До этого мы смеялись над этим титулом. Делали вид, будто барышня – это другая девочка и мы убегаем от нее, чтобы поиграть вдвоем.

Там, на реке, мы впервые подрались. Граса толкнула меня. Я толкнула ее в ответ. Мы вцепились друг в друга, наши пальцы скользили по мокрым плечам. Мы таскали друг дружку за волосы и рвали мокрые нижние сорочки. Выбираясь на берег, мы обе ревели – руки красные, кожа на голове саднит. На берегу мы сели рядышком в красную грязь, пытаюсь отдышаться. Я свесила голову между колен и прикрыла шею руками – как делала, когда Нена колотила меня. Обычно в такие минуты на меня нисходило терпение, почти покой – переждать, перетерпеть колотушки. Это же состояние я пыталась вызвать в себе, сидя рядом с Грасой, но чувствовала только тоскливое одиночество. Граса объявила себя барышней, и я поняла безнадежность нашей дружбы.

Яркое солнце жгло плечи. Потом возникло ощущение другого жара, в левом боку, это Граса привалилась ко мне, ее нога прижалась к моей ноге, ее бедро – к моему бедру.

– Я тоже не умею писать, – призналась Граса. – У меня был учитель в Ресифи, но без толку. Я глупая как пробка.

Я подняла голову. Граса косилась на меня, щеки и нос у нее налились ярко-розовым.

– У тебя лицо обгорело, – сказала я. – Замуж не выйдешь.

Граса улыбнулась. Она переплела пальцы с моими, и мы крепко сжали потные ладони. А потом обе откинулись назад, закрыли глаза и сидели на солнце – вместе.

Записная книжечка, подаренная сеньорой Пиментел, так и лежала в кармане, ее страницы оставались чистыми. Мы с Грасой больше не дрались, но наши визиты в комнату ее матери стали другими. Граса вертелась и вздыхала, глазела в окно, теребила то платье, то пряжки на туфлях. Через несколько недель она объявила, что истории сеньоры Пиментел скучны, возня с косами раздражает, а в комнате воняет нафталином. Как-то раз мы все утро, как обычно, шатались по Риашу-Доси, но когда настало время идти к сеньоре, Граса объявила, что мы идем на сахарный завод.

Башня завода возвышалась над тростниковыми полями на тридцать метров – это было самое высокое строение в Риашу-Доси и, по моему мнению, самое высокое в мире. Дым из узкой кирпичной башни извергался только в первые недели после сбора урожая. Обитателям особняка запрещалось приближаться к заводу, когда там шли работы по производству сахара, и никто из нас не протестовал. В недели после сбора урожая завод работал днем и ночью, перерабатывая тростник в сахар, и даже в господском доме было слышно, как стонут механизмы, как лопаются поленья в огромных печах и как поют мужчины, работавшие сменами по четыре часа, потому что иначе выносить стоявший на заводе жар было невозможно. Рабочие наклоняли медные чаны, заполненные сиропом, и те извергали пену горячее самого огня. Иногда мы слышали крики. Потом на пороге кухни появлялись мужчины, скользкие от пота и с круглыми от ужаса глазами, – они несли своего пострадавшего товарища. С некоторыми ожогами Нена справлялась сама – при помощи трав и компрессов. Но сложные случаи отдавала на откуп врачу, а то и могильщику. Один несчастный умер прямо на кухне, у нас на глазах, – кожа его обуглилась и походила на кукурузный лист, который сунули в огонь.

В день, когда мы с Грасой отправились на завод, тростник еще шелестел на холмах Риашу-Доси. Гигантское колесо мельницы было тихим, чаны – пустыми, их медную поверхность покрывал налет нездорового зеленого оттенка. Граса пробиралась меж изношенных станков и старых на вид машин как собака, которая следует за запахом, не интересуясь человеческими изобретениями. Оказавшись у дверей отцовского кабинета, Граса не стала утруждать себя стуком. Я задумалась, не сбежать ли: проникнуть на пустой завод – одно дело, а помешать сеньору Пиментелу – совсем другое. Но сбежать я не успела – Граса шагнула через порог, и я закрыла глаза, готовясь услышать гневные крики хозяина. Однако вместо криков услышала смех. Сеньор широко раскинул руки, подхватил Грасу и посадил к себе на колени.

– Чем я обязан такой чести? – спросил он. Рукава его рубашки были закатаны, мускулистые руки обнажены.

Граса принялась рассказывать отцу, как мы бегали по саду, влезали на фруктовые деревья и высасывали карамболи, пока во рту саднить не начало. Меня в дверях они не замечали. Но через несколько минут улыбка сеньора Пиментела увяла, он поменял положение, и Граса съехала с отцовских колен.

– Вам пора, – сказал сеньор. – Девочкам можно играть целый день. А мужчинам надо работать.

– Но я не рассказала самое интересное! – Граса надулась. – Мы видели, как ярко-красная рыба выпрыгнула из реки и полетела по воздуху!

Сеньор Пиментел вскинул брови.

– Мы ее видели! Правда же видели? – спросила Граса, пристально глядя на меня.

Сеньор Пиментел наконец-то глянул в мою сторону. Не улыбнулся, не кивнул, не поздоровался, не пригласил войти. Просто посмотрел – признание, что я вообще существую.

– Скажи-ка, Ослица, барышня говорит правду?

Что есть правда? Иногда люди искренне верят, что видели то или иное. Но у другого человека, видевшего то же самое, будет другая версия. Красная рыба станет пурпурной на закате и черной ночью. Муравей назвал бы Риашу-Доси океаном. Великан сказал бы, что это тощий ручеек. Наша картина мира сильно зависит от того, какими глазами мы смотрим на мир. Рассказы о виденном могут обернуться

подарком, хлебными крошками, что выведут нас из темного леса, а могут заставить нас дать ужасный крюк и завести в трясины, из которой нам не выбраться вовеки.

Мы с Грасой в то утро даже не подходили к реке, но что с того? Граса умоляюще смотрела на меня. И сеньор Пиментел смотрел – жесткая челюсть, непреклонный взгляд.

– Да, – сказала я. – Мы видели красную рыбу.

Сеньор Пиментел кивнул. Граса улыбнулась и повернулась к отцу. Про меня снова забыли.

– Готов поспорить – этот летун выпрыгнул из воды, чтобы полюбоваться на твое прелестное личико. – Сеньор Пиментел поцеловал дочь в лоб. – Женихи будут состязаться за честь поцеловать тебя! А ты выйдешь замуж за самого богатого. Такого, что сможет купить любую плантацию отсюда до Параибы!

После этого мы завели обычай приходить в контору. Сеньор Пиментел несколько минут нежничал с дочерью, после чего она ему надоедала и он пытался спихнуть ее с колен, а Граса цеплялась за его шею. Ее рассказы становились все более фантастическими. Пока Граса забавляла, ее терпели.

– Мы видели ястреба с двумя головами! А в реке скользил призрак!

После подобных историй сеньор Пиментел качал головой и неизменно смотрел на меня. Они с Грасой ждали, когда я послушно кивну. И сколь бы смехотворным ни бывал рассказ, я всегда подтверждала его. Эти визиты продолжались несколько месяцев, мне позволяли стоять в дверях, поскольку я не спорила с юной хозяйкой. Но сеньор Пиментел всегда сталкивал Грасу с колен и ласково выдворял ее, объявляя, что занят.

– Давай я буду помогать тебе, *Papai*^[13], – говорила Граса, указывая на бумаги на его столе. – Я могу раскладывать бумаги. Могу ставить печать, могу наполнять чернильницу.

Сеньор Пиментел качал головой:

– Ты тут бог знает что устроишь, *querida*. Иди скажи маме, чтобы родила тебе братика. Он и будет помогать мне, а ты станешь приглядывать за ним.

Тогда-то я и начала презирать сеньора Пиментела – не за то, что он заставлял меня лгать, а за то, что он принимал любовь Грасы, а

потом отбрасывал ее, словно мусор. И все же Граса упорно навещала отца. Близился сбор урожая, на столе хозяина громоздились счета, а завод теперь был переполнен рабочими. Однажды Граса открыла дверь кабинета, и сеньор Пиментел накричал на нее, обозвав бесполезной и надоедливой и велел уходить.

Мы убежали к реке. На берегу Граса, проглотив рыдания, объявила, что мы ни за что больше не пойдем на завод.

Я была счастлива. Она сказала – «мы».

Сеньора Пиментел позволяла нам с Грасой расти как сорная трава ровно год, а потом наняла учительницу. Это была вдова, носившая черные платья и боты на толстой подошве. Мы с Грасой прозвали ее Карга, хотя она совсем не походила на злых волшебниц из сказок сеньоры Пиментел, с их бородавками на носу и крючковатыми пальцами, – темные волосы стянуты в тугий узел, а большие карие глаза делали ее похожей на лошадь. Карга была бы даже хорошенькой, не будь она ехидиной не хуже ведьмы. В детстве мне казалось, что Карга очень старая, но сейчас я понимаю, что ей, вероятно, было немного за тридцать.

Обнаружив, что я к урокам не допущена, Граса закатила скандал, она плакала, расшвыряла коллекцию фарфоровых ангелочков, растоптала осколки.

И я стала второй ученицей в классе Карги.

Я получила семь новых платьев (по одному на каждый день недели), и на время занятий меня освобождали от кухонных обязанностей, однако Карга никогда не давала мне забыть о моем кухонном происхождении. На уроках я должна была молчать. Во время утреннего перерыва я видела, как Граса и Карга пьют кофе и едят печенье, но присоединиться к ним меня не звали. Если я хотела что-то спросить, то должна была прошептать свой вопрос Грасе, а она уже задавала его Карге.

Учительница обитала в маленькой душной гостевой спальне. Хозяева не приглашали Каргу за свой стол, зато еду приносили ей в комнату на подносе. Это отличало ее от остальной прислуги, а любые различия в иерархии обитатели Риашу-Доси встречали настороженно. Прачкам предписывалось стирать и утюжить одежду Карги, и они до каменного состояния крахмалили черные платья учительницы и

смеялись над ее пожелтевшими сорочками и потрепанным бельем. Молодые кухарки, относившие Карге еду, пытались вовлечь ее в разговор, но, не преуспев, объявили, что учительница «много о себе понимает». Ходили слухи – злобные сплетни – о причине, по которой Карга одевается в черное: она соблюдала траур по мужу. Бедняга прыгнул с моста, лишь бы не жить с ней, она безнаказанно перетравила всю свою семью и теперь носит черное – такую она наложила на себя епитимью. Нена предупреждала, чтобы я не брала угощение у Карги, – будто учительница вообще меня замечала. Но я с легкостью сносила высокомерие Карги ради того, чтобы присутствовать на ее уроках. Мне, в отличие от Грасы, нравилось учиться считать, писать и правильно говорить по-английски и по-португальски. Мне нравилось, что у всех букв алфавита есть звучание, которое, соединившись с другими, образует слова. Английские слова были короткими и точными, зато в португальских звучала мелодия, они часто состояли из семи, а то и восьми слогов, слова были мужские и женские (луна – женщина, а солнце – мужчина; земля – женщина, небо – мужчина и так далее).

Математика давалась мне легко, и я теперь помогала Нене следить за запасами в кладовой – считала банки с вареньем, бутылки пальмового масла, лук, морковь и прочие овощи, которые исчислялись сотнями штук. Я пересчитывала все каждое утро и каждый вечер, так мы понимали, что надо покупать, что не надо и – гораздо важнее – не таскают ли припасы горничные. Пока мое ученичество имело практическое применение – учет, чтение этикеток на душистом масле, которое сеньора Пиментел заказывала в Ресифи, проверка счетов от мясника, чтобы понять, не обманывает ли он нас, – его терпели, даже ценили. Каждый раз, когда я перепроверяла счет или спорила с торговцем, желавшим взять с нас лишнее, Нена раздувалась от гордости и огромная ручища с размаху падала мне на спину, едва не сбивая с ног. «Эту не проведешь!» – улыбалась Нена, а посудомойки глядели на меня открыв рот, словно меня только что избрали президентом Республики.

Каждый раз, замешивая хлеб, я писала на запорошенном мукой столе: *Мария даш Дориш*. Из остатков теста я лепила *М* и *Д*. Помешивая варенье или сироп, я ложкой в густеющем вареве писала свое имя – снова и снова. Однажды в саду я подобрала обломок камня

и нацарапала свое имя на стволе лаймового дерева. Обнаружив надпись, Нена отхлестала меня веткой с того же дерева, но мне было все равно. И месяцы спустя, проходя мимо лайма, я видела себя. Я была не Ослицей, не шлюхиной дочерью, не кухонной девчонкой, которой суждено жить и умереть в неизвестности. Я была Марией даш Дориш, девочкой, которая непременно оставит след в этом мире. Девочкой, которую будут помнить.

Я начала копировать в записную книжечку сложные слова. *Отрицать, увлечь, освящать, обновлять*. Конечно, я и раньше слышала рифмы. Горничные иногда пели любовные песни с простенькими рифмами. А ведь это в природе человеческой – искать схожесть, в том числе там, где ее может не быть. Слова были полны рифм, и я слышала их музыку еще до того, как познакомилась с музыкой настоящей.

Через год я лучше Грасы читала вслух отрывки из книг Карги. На занятиях Граса поглядывала на меня, требуя помочь, и я шептала ей ответы. А потом смотрела, как Грасу хвалят за мою смышленность.

Однажды после обеда сеньора Пиментел поднялась с постели, забрала нас с Грасой из игровой и повела через обширную лужайку к заводу, в контору мужа. По такому случаю сеньора Пиментел надела платье и жемчуг и заколола волосы. Усилия, потраченные на то, чтобы привести себя в пристойный вид, вкупе с прогулкой совершенно истощили ее; едва сеньор Пиментел открыл дверь конторы, как сеньора опустилась на стул.

Сеньор Пиментел поздоровался с женой несколько напряженно. В галстук его была воткнута золотая булавка – кубик сахара, усыпанный бриллиантами. Это было что-то новенькое – полагаю, его подарок самому себе, попытка ощутить себя настоящим сахарным бароном, несмотря на убытки, которые несла плантация. Сеньор Пиментел заговорил с женой, но я не улавливала сути разговора. Я не могла отвести глаз от булавки, которая сверкала, когда сеньор набирал в грудь воздуха.

Что значили тогда для меня бриллианты? Спроси у меня кто-нибудь, что такое бриллиант, я бы не смогла ответить. Но я смотрела на кубик в россыпи искр – белый, как настоящий сахар, только еще и блестящий, – и мне отчаянно хотелось схватить его и сунуть в рот.

Вдруг он сладкий, вдруг растает на языке? Слава богу, сеньора Пиментел заговорила раньше, чем я успела поддаться искушению.

– Я везу девочек на концерт, – объявила она. – В Ресифи.

– Девочек? – спросил сеньор Пиментел.

Сеньора вздохнула:

– Ты же не думаешь, что я сама буду развлекать Грасу по дороге туда и обратно? Она будет играть с Дориш.

– Ты имеешь в виду Ослицу?

– Мигель, прозвища – это вульгарно.

– Что за концерт? – Улыбка сеньора Пиментела увяла.

– Музыкальный. Настоящая музыка, а не припевки здешних служанок.

– А ты выдержишь поездку?

– Разумеется. – Сеньора выпрямилась. – Надо показать Грасе, что такое искусство.

– Так пусть учительница даст ей книжки или заставит нарисовать цветы в вазе. Зачем ей концерты?

– Не все должно непременно приносить практическую пользу.

– Должно, если я за это плачу, – заметил сеньор Пиментел.

Сеньора передернулась. Люди их круга, как бы глубоко они ни погрязли в долгах, о деньгах не говорили. Но деньги Пиментелов изначально были деньгами сеньоры. Поэтому сеньор поспешил сменить тон:

– Наша дочь растет на свежем воздухе, хорошо питается, не знает извращенных развлечений города. Она чиста, как бутон. Для замужества важно это, а не капризы, которыми страдают так называемые утонченные девушки. Она наш цветочек.

Сеньор Пиментел погладил Грасу по щеке. Та зажмурилась от удовольствия.

– Если мы упустим момент, она вырастет неучем, – сказала сеньора. – Выйдет замуж за достойного человека, муж перевезет ее в город, и там наша дочь станет посмешищем, ведь она не сумеет отличить симфонии от кантиги. И за глаза ее будут называть *matuta*^[14].

В моем представлении искусство было темными картинами, что висели в гостиной господского дома. Неужели сеньора считает, что девочкам нужны такие вещи? Но еще больше меня удивило, что сеньор Пиментел согласился с женой.

Вот так я, двенадцати лет от роду, впервые покинула Риашу-Доси и очутилась в Ресифи, столице нашего штата. Мы остановились в городском доме Пиментелов. Уезжая в поместье, они затянули мебель чехлами от пыли, и присматривала за домом одна-единственная служанка. В день концерта она кое-как распаковала наши наряды. Сеньора велела сшить мне нарядное платье – по фигуре, из голубого шелка, очень простенькое по сравнению с гофрированным произведением портновского искусства, которое сеньор Пиментел купил для Грасы. Наряд пусть был и незамысловат, но ничего прекраснее у меня никогда не было, и я так боялась измять или запачкать платье, что до самого прибытия в театр была неподвижна, точно камень.

По Бразилии совершала турне знаменитая исполнительница фаду, в Ресифи она давала концерт в театре Санта-Исабел. До того вечера я думала, что самое большое строение на земле – сахарный завод Риашу-Доси. Но по сравнению с Санта-Исабел завод показался мне маленьким и жалким, как лачуга рабочего. Испуганная, я будто в тумане шла по людному вестибюлю, лестницы там были широки, как дороги. Как такое здание может стоять и не падать? Как эти огромные люстры держатся на потолке? Сердце у меня колотилось, точно пойманная птица. Мне казалось, что стены театра вот-вот обрушатся под тяжестью стекла и камня. Я схватила Грасу за руку и не выпускала, пока мы не отыскали свои места.

Я была не вполне дикаркой – музыкальные инструменты я слышала и раньше, в Риашу-Доси. Раз в году, на Сау Жоау – День святого Иоанна, – Пиментелы разрешали развести костер, и работники с позволения хозяев принимались терзать одышливые аккордеоны. А каждую ночь из бараков доносились пульсирующий ритм барабанов и далекие голоса. Рабочие пели, но обитателям особняка не разрешалось водить с ними дружбу, а пытаться ускользнуть посреди ночи, чтобы послушать песни, и думать было нечего. Иногда я просыпалась от звука барабанов, и мне казалось, что это стучит мое собственное сердце.

Свет в зале погас. Раздались аплодисменты. На сцену вышла женщина – медленно, приподняв тяжелую нарядную юбку, чтобы не наступить на подол. Лодыжки у нее были толстыми, размером с мои ляжки. Казалось, высокие каблуки ее туфель вот-вот с треском

надломятся под ее тяжестью. За ней следовал гитарист. Как только аплодисменты смолкли, он коснулся струн. Голос певицы – резкий, сильный, тревожный – поплыл по залу, словно колокольный звон.

Там, где кончается улица,
Плещется океан,
Плещется.
Над ним висит обломок луны,
Судьбы моей серебро.

Я закрыла глаза и увидела океан – темный, словно тростниковые поля ночью. Увидела, как сверкают звезды, – их было больше, чем бриллиантов на сахарной булавке сеньора Пиментела.

Где ты, судьба моя?
Где ты, мой дом?
Отыщу ли я место в мире иль
Одиночество – мне закон?

Неведомая рука сжала мое сердце и с каждым новым словом сжимала все сильнее.

– Давай-ка приведем тебя в порядок, дорогая, – прошептала сеньора Пиментел.

Достав из расшитой бисером сумочки носовой платок, она сунула его мне в руку. Я не вытерла мокрые щеки, не стерла сопли, текущие уже по подбородку, и сеньора Пиментел забрала у меня платок и вытерла мне лицо сама. Она касалась меня ласково, но меня злило, что она мешает мне слушать певицу. Злило, что Граса вертится в кресле и болтает ногами. Злил своим кашлем сидевший позади сеньор. Прежняя жизнь представилась мне вдруг во всей ее жалкости: сколько же вечеров я провела, чистя картошку и слушая сплетни прислуги, пока кто-то где-то пел такие песни! Почему я не слышала их раньше? Услышу ли когда-нибудь еще? Внутри у меня все отяжелело, словно я выпила кружку цемента и он затвердел во мне.

Со временем я поняла, что это чувство – сожаление. Но тогда мне было двенадцать, и я заболела. Причиной болезни стала музыка, но

она же была и единственным лекарством. Сидя на краешке красного бархатного кресла, я верила, что мое состояние безнадежно, что я умру, как только кончится концерт, как только смолкнет музыка.

К моему великому изумлению, я не умерла. После концерта сеньора Пиментел провела нас через толпу к нанятой машине. Там она сняла перчатку и положила прохладную руку мне на лоб.

– Не больная она, – сказала Граса.

– Мне следовало предвидеть, что город ошеломит бедняжку. – Сеньора Пиментел покачала головой.

– Мама, это из-за песен! – выпалила Граса. – Песни еще внутри нее.

Сеньора Пиментел взглянула на дочь так, словно та бредила. Но от слов Грасы – от того, как точно она поняла мои чувства, – у меня на глаза снова навернулись слезы. Стыдясь, я закрыла лицо руками.

– Это нервический припадок, – произнесла сеньора. – Если тебя затошнит, попроси остановить машину и выйди.

На обратном пути сеньора закрыла глаза – знак, что поездка в театр истощила все ее силы и она не может уделить мне внимания. Граса придвинулась ко мне и принялась гладить по волосам. Я положила голову ей на колени. Руки Грасы были мягкими, а ткань платья под моей щекой скользкой. Я заснула, слушая шорох платья.

В ту ночь, по настоянию Грасы, я спала в ее комнате, а не в помещении для прислуги. Как только сеньора Пиментел пожелала нам спокойной ночи и ушла, Граса вылезла из кровати и заползла ко мне, на матрас на полу. Голова у нее была обвязана косынкой, чтобы кудри не спутались. Граса обняла меня теплыми руками и зашептала:

– Я буду как сегодняшняя певица. Люди станут проглатывать мои песни и держать их в себе. Я прославлюсь. Я буду всем нужна.

– Я тоже, – сказала я и приготовилась, что Граса посмеется надо мной, скажет, чтобы я даже не мечтала о таком.

Но Граса сказала:

– Нам нужен граммофон.

– Что это?

– Такая штука, на которой крутят пластинки. Я попрошу *Матãе*^[15]. Она мне все покупает, что я захочу.

– Хорошо. – Я притворилась, будто поняла план Грасы.

Я в глаза не видела пластинок и уж точно не слышала, но от предвкушения неведомого у меня закружилась голова.

В ту ночь я едва сомкнула глаза. Уже тогда я понимала, сколь зыбко все в этой жизни, что у любого события может быть дюжина объяснений, что слово может иметь десятков смыслов – в зависимости от того, как его произнести. Я уже понимала, что во всем можно усомниться, повертеть так и сяк, вывернуть наизнанку, даже собственные чувства. И в тот вечер случилось истинное чудо – я услышала то, что было прекрасно без всяких сомнений.

Я оказалась удачливее многих сирот, которых не ждали в этом мире: меня не вышвырнули в тростниковые поля на верную смерть; у меня была Нена – учитель и защитник; я стала любимицей хозяйской дочки и получала образование. Но если бы ветер переменялся и Граса охладела бы ко мне, или Пиментелам надоело бы кормить и одевать меня, или соверши я ошибку, которая вызвала бы их неудовольствие, то судьба отвернулась бы от меня тотчас. Все в моей жизни было слишком неустойчиво, в мире не было ничего моего. И тут на меня обрушилось чудо: несмотря на ненадежность моего существования, несмотря на жестокость мира, мне подарили красоту и милосердие – музыку, и никто уже не мог отнять у меня этого подарка. После того вечера у нас с Грасой появилась общая тайна, истинная любовь, которую мы и делили друг с дружкой, – музыка, полная даров.

После поездки в Ресифи здоровье сеньоры Пиментел ухудшилось. Она и прежде редко выбиралась из постели, но теперь у нее не было сил даже причесывать нас и рассказывать нам истории. Золотой колокольчик, который сеньора держала у кровати и в который то и дело звонила, чтобы служанки принесли воды, новую книгу или обед, безмолвствовал. Сеньора жаловалась, что колокольчик слишком тяжелый. Приехавший врач вошел в спальню и запер за собой дверь. Когда он уехал, Граса приступила к активным действиям.

Она пробралась в спальню матери, не дожидаясь, пока отец или горничная остановят ее. Оказавшись у кровати, Граса так сильно сжала матери пальцы, что та дернулась.

– Мне нужен тот граммофон, – сказала Граса, словно говорила о граммофоне не в первый раз.

Сеньора Пиментел улыбнулась.

Неделю спустя в Риашу-Доси привезли граммофон. Он разместился в гостиной, в высоком застекленном шкафчике. Вместе с ним прибыл и ящик с пластинками. Мы с Грасой вынимали их из бумажных конвертов и поочередно укладывали на кружащийся диск. В первый день мы слушали «Лунную сонату» – Энрико Карузо, Эйтора Вила-Лобоса и другие. Мы крутили пластинки так часто, что сеньор Пиментел жаловался на шум. Но он не мог отвлечь нас ни от печального фаду, ни от сильного, бездонного голоса Карузо, ни от гитарных концерто, в которых перезвон струн напоминал звук, с которым кусаешь спелую карамболу.

Всем нам от природы дан одинаковый набор: губы, зубы, язык, твердое нёбо, за ними – крошечные мышцы в глотке, покрытые слизью, схожей с желе «Джелло». Мы вдыхаем, воздух толкает складки этих мышц, и они вибрируют, порождая звук. Если повезет, получается песня. На самом деле, конечно, все сложнее: пусть органы у нас одинаковые и все мы одинаковым способом производим звуки – но каждый голос уникален.

Для Грасы петь было так же естественно, как дышать. А для меня пение оказалось сродни попытке поднять над головой тридцатикилограммовый мешок сахара – я смогла бы проделать такое, но лишь после долгих часов практики и приложив немалые усилия. Но меня это не обескураживало. Мои двенадцатилетние мозги попросту не могли осознать, что существует чистый талант, природное дарование, что голосовые связки Грасы устроены лучше моих, зато мне казалось естественным, что мне пение дается с трудом, а Грасе легко: в конце концов, Граса – барышня, а барышням все дается легко. С другой стороны, меня воспитывали в убеждении, что все стоящее дается только тяжким трудом.

Каждый день, едва досидев до конца уроков, мы бежали в гостиную и спорили, какую пластинку поставить. А однажды замерли на пороге: в кресле, обложенная подушками, сидела у граммофона сеньора, закутанная в плед и с заплетенными в толстую косу недавно вымытыми рыжими волосами.

– Обычно я, чтобы послушать вас, прошу Титу оставлять дверь открытой, – сказала она. – Но сегодня мне захотелось на вас посмотреть.

Мы с Грасой медленно подошли к граммофону. Спорить в присутствии сеньора казалось мне неуместным, и я предоставила выбирать пластинку Грасе. Она, разумеется, остановилась на Карузо – самом сложном для пения. Когда мы были одни, я пела, закрыв глаза, а Граса подпрыгивала, кружилась и вскидывала руки. Иногда я принималась копировать ее, и к концу песни мы уже обе хихикали. Но сегодня сеньора пришла посмотреть на нас, и мы встали плечом к плечу – как вставали перед Каргой, когда она в начале урока инспектировала у нас за ушами и под ногтями. Пластинка завертелась. Голос Карузо полетел по звукам *Nessun dorma*. Начали мы с Грасой еле слышно, но потом пошла наша любимая часть – когда голос Карузо становится просящим, но не бессильным. Он словно кричит к звездам, молит о помощи, на которую имеет право. Я не знала итальянского языка – не знала и Граса, слова арии были для нас бессмысленным набором звуков. Лишь десятилетия спустя я поняла, что именно мы с Грасой пытались петь каждый день в гостиной господского дома.

Но мой секрет сокрыт во мне,
Им мое имя не узнать, о нет!
У твоих уст его скажу, когда рассветный луч
блеснет!
Мой поцелуй молчание расплавит, дарящее тебя
мне.

Я закрыла глаза и схватила Грасу за руку, изо всех сил пытаюсь петь наравне с ней. Музыка кончилась, и пластинка продолжала крутиться, поскрипывая в тишине. Сеньора Пиментел захлопала. Я открыла глаза.

– Bravo! – воскликнула сеньора.

Горячая волна поднялась у меня из груди по шее, потом затекла в уши, в них запульсировало, они загорелись огнем.

– А теперь сделайте реверанс и поклонитесь, – велела сеньора. – Поблагодарите публику за то, что она вас слушала. Вы ведь служите людям.

Я взглянула на Грасу, ожидая указаний. Она пожала плечами. Сеньора Пиментел встала, плед соскользнул с ее плеч. Придерживая

шелковый халат, она поставила одну ногу перед другой и присела, склонив голову. Коса упала через плечо – рыжий канат с лентой на конце. Потом сеньора выпрямилась и тяжело осела в кресло.

С того дня сеньора Пиментел всегда приходила в гостиную – слушать нас. Она была нашей первой – и лучшей – публикой.

В юности мы отдаем себя без остатка. Мы позволяем нашим первым друзьям, первым любовникам, первым песням, что рождаются в нас, стать частью нашего не созревшего еще существа, не задумываясь ни о последствиях, ни о том, надолго ли они с нами. В этом великолепии юности, и в этом – ее тяжелое бремя.

Через несколько месяцев после нашего первого выступления перед сеньорой в Риашу-Доси приехал врач из Ресифи. Его автомобиль пронесся через ворота усадьбы и с визгом затормозил у крыльца, где его уже ждал сеньор Пиментел. В кухне кричали, бегали, молились. Нена, с лицом таким потным, что оно казалось глазированной терракотой, наливала кипяток в жестяные посуды, которые служанки уносили на второй этаж.

– Ослица! – позвала Нена, заметив меня. – Давай шевелись, помоги хозяйке.

– А что с ней? – спросила я.

– Ребенок идет раньше времени.

– Какой ребенок?

Нена покрутила головой. Капли пота упали на ее фартук.

– Не надо ей было возить вас в город. Сначала ухабистые дороги. Потом она ходила вверх-вниз по лестнице, послушать эту дьяволову машину! И вот...

Нена утерла лицо, отрядила меня в прачечную за чистыми тряпками, велев нести их наверх. Я выполнила поручение, но думать могла только одно: «У нее внутри ребеночек». Я знала, откуда берутся дети, для деревенского ребенка секс не большая редкость, чем восходы и закаты. Я видела, как Старый Эуклидиш сводит своих ослов. Конюхи, смеясь, спорили на деньги, сколько раз ослица лягнет осла, прежде чем тот покроет ее. Я видела, как козлы мочатся на все подряд, прежде чем забраться на козу, и как петухи бьются до крови за право потоптать курицу. Но то, что сеньор Пиментел – загорелый, мускулистый, с тонкими губами – проделывал такие штуки с сеньорой,

казалось мне непристойным. Неудивительно, что сеньора теперь умирает.

Роды растянулись на много часов. Сеньора была упрямой не меньше Грасы. Доктор из Ресифи иногда покидал ее спальню и выходил к лестнице покурить или жадно выхлебать кружку кофе. Каждый раз в нем что-то менялось: сначала исчез пиджак, потом – жилет, потом оказались расстегнутыми пуговицы на рубашке, потом он закатал рукава выше локтя. Сеньор Пиментел мерил шагами площадку второго этажа и курил. Каждый раз, когда появлялся доктор, сеньор кидался к нему: «Мальчик?»

Мы с Грасой прятались в дальнем углу передней, прижавшись к низкому шкафу.

– Врач все не уезжает, – прошептала я. – Что он там делает?

– Это все из-за ребенка, – сказала Граса. – Убила бы его.

– Ты про него знала? – спросила я.

– А ты – нет?

Мы выскользнули из дома и пробежали мимо фруктового сада, я повела Грасу к курятнику. Там я стала вытаскивать яйца из-под теплых куриных задов, как не раз делала по поручению Нены. Выйдя из курятника, я вручила Грасе полную корзину.

Почти все яйца мы пошвыряли в ствол дерева. Остальные растоптали. Несколько яиц Граса бросила на землю с такой силой, что осколки скорлупы и брызги желтка попали мне на подбородок. Когда яиц не осталось, Граса швырнула корзинку о стену курятника и мы сели под деревом, слишком напуганные, чтобы возвращаться в дом.

Это был мальчик, и сеньор Пиментел горько сокрушался перед служанками и кухарками, а потом – перед горсткой родственников, приехавших из Ресифи на похороны. Сеньору Пиментел и неродившегося брата Грасы похоронили в усыпальнице часовни Риашу-Доси, в пятидесяти метрах от господского дома, – дистанция, оказавшаяся для меня непреодолимой. Слуг на похороны не допустили.

В одном интервью, много лет спустя, репортер спросил Софию Салвадор о самом грустном моменте ее жизни, и она без колебания – и к моему величайшему удивлению – ответила: «В детстве я потеряла мать. Остаться без матери – это такое горе, какого бы я и злейшему врагу не пожелала».

Иногда я чувствую себя сиротой. Я слышала, как Ти-Боун Уокер^[16] пел этот спиричуэл в жалком лос-анджелесском клубе с кривыми полами и пришипленными к стенам пожелтевшими долларовыми купюрами. Сидела в темном баре и слушала, как он снова и снова поет эту строку. Сначала я не поняла его жалобы, она раздражала. В конце концов, разве не все мы сироты? Жизнь так устроена, что дети переживают своих родителей. Но сила этой песни – в *иногда*. Словно ощущение сиротства слишком тяжело, чтобы нести его в себе постоянно. Словно бывали времена – более счастливые времена, и неважно, сколь они были недолги, – когда певца окутывало бесконечное утешение безусловной любви.

Слушая Ти-Боуна, я поняла: это песня не того, кто потерял материнскую любовь, а того, кто не знал этой любви вовсе. Страсть сплетена с неопределенностью, но материнская любовь совсем другая, она не раздумывает, не судит тебя, не требует любви взамен. Ты можешь позволить себе роскошь стряхнуть материнскую любовь, зная, что твое пренебрежение или равнодушие не прогонит ее. Она как воздух: ты можешь забыть о нем, но жить без него не сможешь. Есть среди нас и те, кому нечего забывать, у кого нет сладкой оговорки «иногда». Моя мать была слухами, тенью, грязной сплетней, способом для других оскорбить меня. Поэтому, хоть я и понимала горе Грасы, оно отчасти ожесточало меня. Целых двенадцать лет Граса купалась в любви, она знала сладость этого воздуха и могла сохранить его в себе, пронести до конца своих дней. Сеньора не была мне матерью, и я никогда, ни единой секунды не воображала, будто она моя мать. Но она была добра ко мне, а все остальные – нет. Ее доброта проявлялась в малом, так балуют попавшую в фаворитки прислугу, но это все-таки были проявления доброты. Так что я тоже горевала по сеньоре, на свой манер.

Пока шла траурная церемония, Нена отрядила меня из кухни, где она и другие кухарки готовили блюда для поминок, во фруктовый сад, за лаймами. С этим простым делом я управилась за несколько минут. Оставив полную корзину на кухне, я на цыпочках прокралась в гостиную, где стояло кресло сеньоры – отныне пустое. Я вытащила пластинку из конверта. Провела пальцами по бороздкам, сунула палец в отверстие посередине. Как мне хотелось услышать музыку! Как хотелось поставить иглу на пластинку и повернуть громкость на

полную – так, чтобы стены задрожали! Чтобы в самой часовне скорбящие, в своих черных костюмах и кружевных мантильях, услышали этот звук и подняли головы! Чтобы рабочие, которым дали выходной, чтобы почтить память сеньоры, отвлеклись от шашек и спросили себя, откуда исходит этот чудесный звук! Но я не поставила пластинку. Я крепко взяла ее обеими руками и стала сгибать; наконец она лопнула, как стеклянная.

– Ты чего плачешь?

На пороге стояла Граса. Черное платье измято, кружевная мантилья зажата в кулаке.

Я вытерла глаза ладонью и ответила вопросом на вопрос:

– Что ты здесь делаешь?

– В часовне воняет тухлятиной. Никто не заметит, что меня там нет. – Граса прошла в комнату и устала на обломки у моих ног. – Давай убежим.

– Куда?

– В Рио. Куда же еще?

– Сначала надо в Ресифи. Он ближе.

Граса покачала головой:

– Нет, только в Рио. Там радио. И еще, тетя говорила, там кино. Кино – это как фотографии, только они двигаются. Их показывают на большом экране, больше тростникового поля, и на нем актеры ходят, играют свои роли.

– Как в театре?

– Нет. В кино роли играют не настоящие люди. Это фотографии, но как бы живые. И люди как будто в нескольких местах сразу.

– Как привидения? – спросила я, подумав о мавзолее в часовне и о сеньоре Пиментел, засунутой в холодный каменный ящик. – Как макумба?

– Нет, конечно! Сама увидишь.

– Как?

– Мы сядем на пароход. Или на поезд. До Рио много как можно добраться.

– Нужны билеты. Без билетов никуда не уедешь.

– *Mamãe* оставила мне свои драгоценности. Они в будуаре. Мы их возьмем и будем продавать по дороге.

– Кому продавать?

– Ну хватит! Кому интересно, *как* мы там окажемся?

– Мне, – сказала я.

– Дура – глиняная башка! – взвизгнула Граса и, стуча каблуками, выскочила из комнаты.

В конце концов мы помирились – мы всегда мирились. После нашего спора Граса перестала говорить о побеге из Риашу-Доси, но я знала: эта идея засела в ней, как зерно в земле, и уже пустила корни.

Каждый год на сахарной плантации устраивали большой пожар. Сбор урожая всегда бывал летом, в засушливое время. Река становилась узкой, растрескавшиеся дороги – пыльными, а вода на вкус отдавала землей. Но тростник стоял зеленый и толстый, с листьями длинными и острыми, как мачете. Если бы рабочий попытался прорубиться через невыжженный участок, то это была бы битва с тысячей противников. Его бы рассекло на части, если бы раньше не укусила ядовитая змея. Поэтому по завершении сезона армия рабочих притаскивала на тростниковые поля канистры с бензином. Это всегда бывало в сумерки, когда жара спадала, а ветер замирал. Рабочие шеренгой шли через поле, поливая бензином коричневые основания стеблей, а потом поджигали.

Сеньора Пиментел с Грасой на время этих пожаров всегда уезжали в Ресифи. В Риашу-Доси было в такие дни невыносимо. Огонь не подступал к господскому дому, но жар легко проникал сквозь стены, и нам казалось, что нас заперли в духовке. Всем в Риашу-Доси, даже сеньору Пиментелу, делавшему вид, что он руководит палом, из-за дыма приходилось обвязывать нос и рот мокрыми платками. Дым ел глаза. Потом одежда еще несколько недель пахла сажей. В воздухе, словно перья тысячи серых птиц, плавали хлопья пепла. А тысячи настоящих птиц пикировали на окраины горящих полей: змеи, крысы, скунсы и опоссумы пытались спастись от огня.

Если ветер вдруг менялся, рабочие оказывались в западне между горящими участками. Иные погибали. Не каждый год, но достаточно часто, чтобы пожары в Риашу-Доси считались опасной порой. Обитателям господского дома всегда приказывали держаться подальше от полей.

Через несколько месяцев после смерти сеньоры Пиментел, когда нам исполнилось по тринадцать лет, Грасу на время пожаров

отправили в Ресифи, к тетушке. Сеньор Пиментел послал этой тетушке изрядно денег, чтобы та купила Грасе новую одежду. Старые блузки так туго обтягивали грудь Грасы, что пуговицы едва не отлетали, юбки слишком плотно обхватывали бедра. Портниха из Ресифи сшила Грасе с десяток свободных платьев, но даже джутовый мешок не смог бы скрыть ее роскошной фигуры. Обитатели Риашу-Доси – служанки, лакеи, даже Старый Эуклидиш – с трудом отводили взгляд от Грасы, когда та проходила мимо.

Граса не была красавицей – во всяком случае, ее красота отличалась от того, что было принято считать женской красотой: нечто соблазнительное и незащищенное одновременно. Граса не была ни знойной, ни хрупкой. Рот, глаза, фигура – ничего особенного. Но все это вкупе с ее голосом, смехом, с необузданной, неиссякаемой даже в трудные времена энергией и легкими движениями делало Грасу неотразимой. Рядом с ней жизнь была как грандиозное приключение, судьба обретала смысл и цель. Красота Грасы не была физической, она походила на крепкий алкоголь или кокаин, под ее действием ты обретал отвагу, остроумие и учтивость, о наличии которых у себя и не подозревал, пока Граса не выманивала их на поверхность.

Конечно, в детстве я этого не понимала. Понимание пришло много лет спустя, когда я увидела Грасу в гробу. Гроб утопал в цветах, Граса лежала с закрытыми глазами и скрещенными на груди руками. На ней было красное платье и ее любимая ярко-красная помада, и все же Граса смотрелась простенько – провинциальная учительница в богемном облике. Я склонилась над ней и ущипнула, сильно. «Граса, хватит дурачиться! Вставай. Пожалуйста, вставай...» – шептала я, пока Винисиус не оттащил меня.

В отличие от Грасы, я выросла высокой и плоской как доска. Все блузки были мне коротки и норовили обнажить живот, юбки не прикрывали внезапно удлинившихся, казавшихся мне чужими ног. Входя в низкую дверь кухни, я пригибалась. Конюхам, молочникам, даже самому сеньору Пиментелу приходилось задирать голову, чтобы взглянуть мне в глаза. Много лет спустя мы переехали в Лос-Анджелес, где бойкие старлетки ростом в пять футов десять дюймов были вполне обычны, но в Бразилии я выглядела дылдой. Но меня, подростка, беспокоил не рост, а другие изменения моего тела. Грудь сделалась чувствительной к прикосновениям, а под мышками и между

ног, к моему ужасу, проросли черные волоски. У горничных и молоденьких кухарок в этих местах были целые заросли, но у них они казались естественными, даже красивыми.

В конце дня Нена всегда гнала нескольких служанок назад на кухню, потому что они забывали отчистить что-нибудь как следует. Как-то во время пожара Нена отправила меня в женскую раздевалку, поторопить нарушительниц дисциплины. В раздевалке шептались и сплетничали, снимали форму и фартуки, которые потом забирали в стирку прачки. Я торчала в дверях, в голове звенело от запаха дешевых духов, смешанного с дымом горящего тростника, и смотрела, как эти великолепные крестьянские дочери, извиваясь, выскальзывают из накрахмаленных форменных платьев. Я не понимала, какое чудо обращает этих девушек, только что шпынявших меня, насмехавшихся надо мной, в столь восхитительные существа. Я готова была стоять вечность, глядеть, как они расстегивают пуговицы, как вскидывают руки над головой, видеть их пушистые подмышки и зазывные животы, смотреть, как подрагивают их груди – округлые и мягкие, словно спелые плоды.

Одна из служанок заметила меня.

– Ах ты шпионка, – зашипела она. – Смотри не проболтайся Нене про мое свидание с Родриго за курятником.

– Брось, – сказала другая. – Ослица тебя даже не слушала! – И она, обхватив свои груди, потрясла ими у меня перед носом.

Я уставилась в половицы. Служанки смеялись. Жалкие похабницы, они надеялись, что я убегу, не передав им приказов Нены. Я сделала глубокий вдох и снова взглянула в лицо той, что трясла грудями.

– Нена велит тебе вернуться на кухню. Ты плохо отчистила доску.

Девушка улыбнулась:

– Когда дружка заведешь, Ослица?

– Никогда, – буркнула я.

Служанки захохотали.

– Еще передумаешь. Или какой-нибудь парень заставит тебя передумать.

– Нанять бы кого-нибудь приручить Ослицу, – вмешалась еще одна. – Она кусается и лягается, но и ее объездят!

Я оставила девушек хихикать и кашлять в раздевалке и убежала в сад. Солнце уже село, но горизонт на западе пылал от тростниковых пожаров. Я бродила среди деревьев, мохнатых от пепла.

Я вовсе не собиралась позволять какому-нибудь конюху или лакею, да вообще кому угодно, залезать на меня. Нена – главный человек на кухне, хотя у нее нет ни мужа, ни детей, а все ее желания сводятся к тому, чтобы служить Пиментелам. До появления Грасы я думала, что такая судьба ожидает и меня. Как мне хотелось, чтобы Граса сейчас была со мной, а не покупала в Ресифи дурацкие платья. Я пыталась вызвать в памяти ее голос. Вот он говорит мне, что служанки – безмозглые курицы, что есть мечты куда грандиознее, чем заделаться кухаркой на плантации. Больная от тоски по Грасе, я смотрела на полыхающий вдали тростник.

А потом я нарушила правило и двинулась на огонь.

Мне казалось, что я шла долгие часы. Я спряталась за тележкой, на которой рабочие привезли канистры с бензином, и наблюдала, как поджигают край поля. Поначалу огонь робко лизал низ стеблей и опавшие листья, но потом набрал силу. Уверенно, целеустремленно он карабкался все выше, и наконец тростник превратился в фонтаны слепящего света и жара.

Я вернулась в господский дом, покрытая сажей; голова у меня кружилась, как у пьяной, хотя я тогда еще не знала, что такое хмель. Нена отлупила меня. В ту ночь она была особенно суровой и охаживала меня тростниковой палкой по ногам и заду, пока кожа не покраснела и не начала саднить.

– Мозги у тебя вытекли, что ли? – приговаривала она, задыхаясь от усилий. – Огню все равно, девчонка ты или пучок тростника, он перед тобой не замрет. Сожрет все, до чего дотянется.

Всю свою короткую жизнь я чувствовала неутихающую боль, словно от гнилого зуба, который не могла вылечить. Как от сломанной кости, которая не срослась. Ослице позволено было желать только самые простые вещи: еду, постель, возможность не умереть. Но Дориш? Она получила в дар записную книжку и карандаш, книги и слова. Она получила в дар музыку и слушателей. Она получила в дар друга.

За пределами кухни и тростниковых полей лежал мир возможностей, которые я измерить не могла, но о которых мечтала.

Огонь, пожирающий тростник, внушал благоговение перед своей алчностью. Огонь был прекрасен в своей ненасытности, неутолимом голоде. Я смотрела на него, его жар дрожал на моей коже, и я знала: мы с ним похожи. Мы не готовы довольствоваться тем, что нам дают.

Побег

Любовь моя, помнишь ли ты,
Как ты говорила: «Надо бежать»?
Неразлучны мы были и так чисты,
Будущее брезжило перед нами.

Мы разработали план и сбежали,
Мы сожгли за собой мосты.
А потом – потом ты сказала,
Что меня больше не любишь ты.

Но я не могу сойти с ума,
Ведь пора платить по счетам.
Кто одежду стирает? Моя любовь.
Кто обед приготовит? Моя любовь.
Кто ступени метет нам? Моя любовь.
Детей наших спать уложит она,
Моя любовь, что не знает дна,
Отдыха не знает.

Мы разработали план и сбежали,
Мы сожгли за собой мосты.
А потом – потом ты сказала,
Что меня больше не любишь ты.

Разве не знаешь, *querida*,
Что другая любовь – это шторм,
Она не зажжет фонарей, *my vida*^[17],
И не согреет дом.

Моя любовь моет нам окна.
Моя любовь закрывает дверь.
Моя любовь вытирает посуду.
Моя любовь отскребает пол.

Но ты разработала план и сбежала,
Ты сожгла за собой мосты.
А потом – потом ты сказала,
Что меня никогда не любила ты.

* * *

Прежде чем стать Софией Салвадор и Дориш де Оливейрой, мы с Грасой крутили пластинки в Риашу-Доси. Мы верили, что музыка появляется из альбомов волшебным образом. Позже, записывая собственные – уже долгоиграющие – пластинки, мы узнали правду: дорожки пластинок – это код, который считывает иглолка проигрывателя, низкие звуки – это толстые бороздки на пластинке, высокие – тонкие. Игла, совершая тысячи колебаний в секунду, проезжая бугорки и бороздки, волшебным образом расшифровывает музыку.

Что есть звук? Всего лишь вибрации, переданные по воздуху. Бесконечный невидимый прилив, который бьется в наши барабанные перепонки всю нашу жизнь. Голова идет кругом, как подумаешь о какофонии вокруг нас. Тишины нет даже в материнской утробе – мы слышим шум крови, слышим стук материнского сердца, слышим, как урчит у нее в желудке. Мы слышим ее голос. Отраженный в жидкости, он доходит до нас и отдается в каждой нашей крошечной косточке.

Чтобы сохранить рассудок, мы учимся различать, какие звуки важны, а на какие не стоит обращать внимания. Мы запоминаем разницу между шепотом и криком, урчанием и ревом. У нас в голове накапливается обширный архив звуков, и вот мы слышим скрип шагов и знаем, по его глубине и тону, какой вес давит на дерево и кто поднимается по ступенькам, чтобы приветствовать нас. Вдох, тихое потрескивание бумаги – и нам хочется закурить. И по вздохам любовника, зная разницу между длинно-высоким и коротко-недовольным, мы понимаем, удовлетворен он или нет. Вот видите? Звук – это не просто звук. Звук – это память.

У меня долгоиграющая память, но, как у первого поколения долгоиграющих пластинок, у нее есть свои странности: слегка

колеблются протяжные звуки, иногда прорывается деформация тона или глухой звук. А иногда – упреждающее эхо: музыка, еще не начав звучать, как будто отбрасывает тень. С памятью, по идее, такого быть не должно. Мы не можем помнить событий, которые случатся позже, гораздо позже, если вообще случатся. Никогда не знаешь наверняка, было упреждающее эхо реальным или воображаемым.

Вот вам одна история.

Мы сидим в баре «Дезерт Инн» – мы с Винисиусом, – потягиваем виски и ждем взрыва. В «Дезерт Инн» было огромное панорамное окно, выходившее на Стрип и пустыню. В шестидесяти пяти милях от Вегаса, в пустыне Мохав, правительство собирается взорвать атомную бомбу. Некоторые гостиницы наняли лимузины, чтобы доставить особых гостей поближе к месту взрыва, там вид лучше. А в «Дезерт Инн» проходит «атомная вечеринка».

Граса на сцене. На ней ядовито-зеленое платье и накидка из белого меха. Она выкрасила волосы в черный, а стрижка такая короткая, что ее кудрявые волосы похожи на овчину. Граса поет «Побег», мое старое, любимое, – но медленнее, чем полагается. Слова там такие, что песню надо петь быстро, слушатели должны понять, о чем эта ярость и эти жалобы. Но Граса затягивает песню, делает паузы после каждого слова. Она улыбается и поводит руками, однако ноги ее словно вросли в сцену. Глаза стеклянно блестят. Слушатели, как и мы с Винисиусом, смотрят то на Софию Салвадор, то на огромное окно. Мы ждем взрыва.

На Стрипе неоновый карнавал. Увидим ли мы взрыв издалека и при такой иллюминации? Но, прежде чем я успеваю сказать это вслух, Винисиус кивает на окно и говорит: «Вон она».

На горизонте что-то слабо вспыхивает. Потом раздается грохот – как раскат грома. Только он катится не над, а под нами. Панорамное окно сотрясается. В баре дрожат бутылки. Ночь обращается в день. Стрип исчезает в ярчайшей вспышке, которая движется на нас, она ярче любого прожектора. Винисиус хватается за руку. Я отворачиваюсь от окна и пристально смотрю на Грасу. Она больше не поет, но рот у нее открыт. В глазах больше нет тумана. Она не отрываясь смотрит на горизонт – ослепительно яркий – и улыбается, словно стоит перед огромной аплодирующей толпой. Потом вспышка докатывается до нас – и Грасу, сцену, Винисиуса, бар со всеми его

постоянными клиентами, включая меня саму, накрывает волной света, разносит на молекулы.

Я это помню. Помню, как позванивал лед о стекло моего стакана с виски, когда сотрясался бар. Помню смятение на лице Винисиуса, цвет платья Грасы, яркую вспышку – и все же все это неправда. «Дезерт Инн» никогда не приглашал певцов на «атомные вечеринки» – взрыв сам по себе был изрядным аттракционом. Большинство взрывов производили в четыре утра, когда мы обычно спали после долгого ночного концерта на Стрипе. Во время этих представлений Винисиус играл наравне с другими музыкантами и находился на сцене, а не со мной в баре. Я бывала пьяной, слишком пьяной, чтобы меня пустили в зал. А Граса? Граса никогда не пела в Вегасе. Она к тому времени уже умерла, и все же в моих мыслях, в моей памяти она упрямо пробивается туда, где никогда не бывала.

Можно ли назвать что-то воспоминанием, если оно – неправда?

Граса здесь по моей вине, я столько лет вызывала ее образ, что теперь она является по собственному почину и в местах, где ее физическое присутствие невозможно.

Долгое время после смерти Грасы мы с Винисиусом, сидя над каким-нибудь невероятным блюдом, на каком-нибудь кошмарном шоу или слушая многообещающую певицу, спрашивали друг друга: *Представляешь, что сказала бы Граса?* – и начинали воссоздавать ее ответы в некоем подобии соревнования.

– Граса бы презирала эту дешевку, – говорила я.

А Винисиус мотал головой:

– Она бы восхищалась ею.

Иногда эти маленькие пикировки перерастали в серьезные ссоры, в зависимости от нашего настроения. «Ты не знал(а) ее так, как я» было самым страшным оскорблением, которое мы с Винисиусом могли нанести друг другу.

Знали ли мы ее? Кто была та Граса, которую сотворили мы с Винисиусом? Вечно юная, вечно красивая, вечно сквернословит и хохочет, запрокинув голову. Нашей Грасе не суждены были унижения возраста: ноющие кости, дряблая плоть, слабеющая память.

Когда Винисиус много-много лет спустя начал погружаться в деменцию, ему стало труднее вызывать Грасу в памяти, хотя та и настаивала. Его лицо напоминало маску – сиделки называли ее Маска

Льва, – безучастное, ничего не выражающее лицо, словно Винисиус исчез где-то в глубине самого себя, но иногда, на несколько минут, он возвращался, глаза прояснялись, рот приоткрывался, словно он всплывал на поверхность из бездны.

– Какой ты ритм? – спрашивал он.

– Ритм?

– Ты «бим-бим-бим», или «парам-пам-пам», или «дамм-дамм-дамм»?

Я смеялась.

– Я дамм-дамм-дамм.

Винисиус кивал с серьезным видом.

– А я какой ритм?

– Ты? Дай-ка подумать. Ты сложный ход: *ба-пара-пара-ба-ба-ба-ба-парам-па!*

Он улыбался.

– Ребята ушли, но она знает, где их найти.

– Правда? – Я понимала, что он имеет в виду.

Винисиус кивал.

– А она какой ритм? – спрашивала я.

Винисиус вздрагивал, точно от боли. Потом его лицо словно провисало, и он опять исчезал где-то в глубине.

Ужасное, наверное, чувство – ощущать, как ускользаешь от самого себя.

Я закрываю глаза и снова вижу Грасу на той сцене в Лас-Вегасе: она неотрывно смотрит на слепящую ядерную вспышку. Неужели я слабею и погружаюсь в себя? Или вцепилась и не отпускаю – как всегда?

Побег

Через несколько недель, когда отгорели поля, весь собранный тростник был переработан в сахар, а Граса вернулась из Ресифи, я лежала вечером на своем топчане и все мои мысли занимали молодые кухарки, их запыленные ноги и растрескавшиеся руки, их прекрасные тела и острые языки. И вдруг мою руку словно обожгло. Я очнулась.

– Пошли, – прошипела Граса, еще раз ущипнув меня.

Рядом храпела Нена.

– Куда? – шепотом спросила я, но Граса уже крадась на цыпочках к двери.

Я обмоталась шалью поверх ночной рубашки и последовала за ней.

Ночь была теплой, в особняке стояла тишина. Граса прошла через гостиную и отперла одну из застекленных дверей, что вели на крыльцо. Там она задрала подол и перелезла через перила. Я сделала то же самое, слишком испуганная, чтобы говорить.

Дул ветерок. Запах горелого тростника еще висел в воздухе, смешанный с запахом горелого сахара, который булькал в чанах на заводе. Мы брели через сад по сырой траве. Со стороны барачных донеслись знакомые ритмичные звуки барабанов.

Граса вышла из ворот господского дома и направилась к реке, на звуки барабанов. Я потянула ее за шаль:

– Нам туда нельзя.

– Вот, – прошептала Граса. Хор голосов, мужских и женских, стелился над гулом барабанов. – Я хочу их послушать.

– Вот слушать их нам и нельзя.

– Дор, я пошла. – Граса стряхнула мою руку.

– Я расскажу, – пригрозила я. – Разбужу весь дом.

Граса замерла.

– Ну расскажи, – предложила она. – Тебя же и выдерут за то, что вышла ночью. И меня подговорила.

– Нам больше не разрешат слушать пластинки.

– Ну и что?

– Давай вернемся! – Я схватила ее за руку – такую мягкую в моих жестких пальцах. – Пожалуйста!

– Лучше умру, но домой не пойду, – сказала Граса.

Потом Граса часто повторяла «лучше умру», но той ночью произнесла эту угрозу впервые. Я представила, как Грасу кладут в маленький гроб, и у меня свело желудок. Я поежилась, Граса схватила меня за руки, теперь мы стояли отражениями друг друга – в белых ночных рубашках, в больших шалях.

– Хочешь вернуться в дом? – сказала она. – Смотри, как бы тебе не просидеть там всю жизнь. Дор, мне нужно *видеть*. Слышать. Видеть и слышать настоящее, а не песни с пластинок. Разве тебе не хочется узнать, о чем они поют? Не хочется почувствовать песню? Если мы хотим выступать по-настоящему, хотим быть артистками, нам нужно уметь чувствовать!

В прерывистом дыхании Грасы слышалась решительность героини, она верила, что спасает нас обеих, и ее страстная увлеченность подхватывала и меня. Она умела убедить других, что они – отважные герои в ее истории, история всегда была ее. Той ночью Граса убедила меня.

Ряды барачных освещал костер. Вокруг него, скрестив ноги, сидели мужчины и женщины. Мы с Грасой припали к земле, прячась в тени у реки.

Четверо мужчин – на руках поблескивают линии шрамов – сидели на табуретках. Один из мужчин согнулся над барабаном, двое других держали пустые жестянки, по которым постукивали кончиками мачете. У четвертого на коленях был пристроен барабанчик, обтянутый кожей только с одной стороны. Из него торчала тонкая бамбуковая палочка. Мужчина не бил по своему маленькому барабану: я увидела, как он смочил тряпку, просунул ее внутрь барабана и принялся елозить палочкой туда-сюда, пока не раздались странные звуки, больше всего похожие на жалобные вскрики. Потом один из рабочих запел:

Любовь моя, стукну в твоё окно —
Может, тогда ты увидишь меня?
И попрошу у тебя воды —
Может, услышишь мои мольбы?
Налей же воды, скорее.
Принеси мне воды, скорее.

Только б коснуться твоей руки!
От жажды я, сердце мое, изнемог.
Где ты коснешься меня – там ожог.

В те годы я считала музыкой исключительно классику с наших пластинок. Я любила ее, как ребенок любит пожилого родственника, видя лишь доброту и мягкость и не имея ни малейшего представления о том, что довелось вынести этому человеку. Песни рабочих были иными. В них таились зашифрованные послания о взрослой жизни, и я не меньше Грасы хотела разгадать их.

Позже мы узнали, что стонущий барабанчик называется куика. Граса сказала, что от его звуков ей хочется плакать.

– Но ты не заплакала.

Граса закатила глаза:

– Дор, мне *хотелось* плакать. Но я не собиралась поднимать шум, иначе нас бы поймали. И песня была бы испорчена. Завтра снова придем, и каждую ночь будем приходить. Эти песни спасут нас.

– От чего? – спросила я.

– От всего, – ответила Граса.

И каждую ночь мы слушали барабаны. Едва начинал доноситься глухой стук, мы с Грасой выскальзывали из дома, сбегали к реке и, пригнувшись, подбирались поближе к поющим. К своему удивлению, я узнавала лица, которые видела каждый день в господском доме. Посудомойки и молоденькие кухарки, которых я ненавидела и которыми восхищалась, стояли у костра, держась за руки с конюхами. Толстошея прачка Клара подпевала рабочим. Старый Эуклидиш сидел на перевернутом ведре и кивал в такт музыке. Все они были с рабочими на равных – и нарушали правила, которые казались мне выбитыми в камне.

– Дом без хозяйки – дом, полный бед, – ворчала Нена, которая вдруг сделалась главным человеком в господском доме.

После смерти жены сеньор Пиментел целый год на все вопросы дочери отвечал одно и то же: «Не приставай ко мне! Спроси Нену».

Пересчитывая припасы, я замечала, что кладовая пустеет. Исчезли чудесные специи из Ресифи, хорошая мука, цукаты для украшения

десертов. С каждым днем Нена выдавала мне и кухонным служанкам все меньше маниоки и бобов. Она снова начала торговаться с мясником, хорошего мяса она покупала очень немного – для Грасы и сеньора Пиментела. Когда Карга пожаловалась на скудость своих порций, Нена велела ей убираться из кухни. Когда Граса пожаловалась, что ей надоело есть на десерт одно и то же, Нена перевернула кухню вверх дном в поисках банки сгущенного молока.

– Скажи своей подружке, чтобы ее папаша не разбазаривал последние деньги сеньоры на ерунду! – рычала Нена.

Конечно, она не рассчитывала, что я и правда скажу Грасе что-то подобное, а я и не говорила. Хозяева мало знают о слугах, а вот слуги о хозяевах... Когда работаешь в доме, то видишь и грязные простыни, и наволочки в засохших после ночных рыданий соплях, и оставшиеся несъеденными куски, и таблетки в шкафчике с лекарствами, и каждую книгу, оставленную открытой. И по этим знакам узнаешь, где хозяин перестал соблюдать заведенный порядок и какими новыми привычками он обзавелся.

Сеньор Пиментел перестал бриться, а ботинки его больше не чистились. За каждой трапезой он выпивал полбутылки тростникового рома, а потом, шатаясь, брел в свой кабинет при заводе. Или в часовенку, откуда возвращался с красными глазами и накидывался на горничных, которым не повезло попасться ему на глаза. Некоторых служанок он неустанно преследовал, пока они не капитулировали перед ним; жены, способной умерить его аппетиты, больше не было, и сеньор чувствовал себя ничем не связанным. Иногда он уводил кого-нибудь из служанок в каморку, где хранилось постельное белье, или к себе. Большинству служанок уже исполнилось восемнадцать, а то и больше. Но были и четырнадцатилетние, как мы с Грасой. В доме завелось новое негласное правило – стучаться, прежде чем войти куда-нибудь, хоть в кладовую, хоть в чулан для метел.

Безопаснее всего компания сеньора была по утрам: вчерашний хмель еще не выветрился, нового рома пока не выпито ни капли. В такие минуты сеньор Пиментел бывал с дочерью терпеливым и даже добрым. За завтраком он просил Грасу рассказать что-нибудь и с интересом слушал ее истории. Восхищался ее красотой, называл своим сокровищем. К вечеру сеньор становился непредсказуемым. В сумерки он приказывал Грасе явиться в гостиную и велел ей петь.

Меня в гостиную не звали, но я подглядывала, затаившись в каком-нибудь укромном месте. Втискивалась, пригнувшись, между граммофоном и стеной, от неудобной позы затекали ноги. Граса пела, а сеньор, оставив стакан в сторону, сидел с закрытыми глазами. Иногда он засыпал, и Граса на цыпочках удалялась. Но если он просыпался, то резкие слова срывались у него с языка так быстро, словно они только что приснились ему.

– Я под твоё пение уснул со скуки. Не понимаю, почему мать потворствовала тебе.

В такие вечера Граса запиралась у себя и плакала, пока я ждала по другую сторону двери. Потом Граса открывала дверь, вытирала глаза, брала меня за руки, наши пальцы переплетались, и мы крадучись уходили слушать песни рабочих. Но бывали вечера, когда сеньор расточал дочери похвалы, и Граса покидала гостиную, разругавшись от восторга. В такие вечера она уносилась по грязной тропинке к баракам, не дожидаясь меня.

– Твоя мать была права, – сказал однажды сеньор Пиментел. – У тебя прекрасный голос. Мне будет его не хватать.

Граса замерла.

– Куда ты уезжаешь, *Papai*?

– Никуда не уезжаю, *querida*. Ты выходишь замуж.

Замужество со всей неотвратимостью нависло над Грасой, не имея ни точной даты, ни срока, словно смерть. Мы и прежде знали, что Грасе суждено выйти замуж, но убеждали себя, что когда-нибудь, не скоро.

Через год после похорон жены сеньор Пиментел уехал в Ресифи и оставался там неделю. Вернулся он без бороды, с волосами, тщательно уложенными на пробор. Во вторую поездку он заказал дюжину новых модных костюмов. А однажды вернулся в Риашу-Доси за рулем новенького автомобиля с откидным верхом.

– Петух удалился из курятника, – говорила Нена каждый раз, когда машина сеньора Пиментела с ревом выезжала из ворот.

Посудомойки шепотом передавали друг другу сплетни насчет финансов хозяина. После Депрессии цена на сахар так и осталась низкой, и даже лучшим плантаторам приходилось биться изо всех сил, многие увязли в долгах. Некоторые сжигали урожай, пытаясь вздуть

цены. Кое-кто из служанок размышлял, не покинуть ли Риашу-Доси и не перебраться ли в Ресифи, пока хозяин не прогорел окончательно или пока здесь не объявилась новая – скупая – хозяйка. Ходили слухи, что сеньор разнюхивает насчет богатой невесты.

Мы с Грасой не обращали внимания на отлучки сеньора Пиментела, а он, возвращаясь из Ресифи, меньше пил и настроен был бодрее. Однако новая хозяйка означала проблемы – какая женщина обрадуется угрюмой падчерице, брюзгливой гувернантке и чересчур образованной кухонной девчонке? Новая сеньора наверняка пожелает населить Риашу-Доси собственными детьми и проверенными слугами, а всех, кто напоминает о прежней хозяйке, – изгнать. Но сеньор Пиментел все катался в Ресифи, а предполагаемая жена все не появлялась. Зато сеньор Пиментел принялся изливать свое внимание (и то, что осталось от денег) на Грасу. Он возвращался из поездок с шелковыми перчатками, золотыми подвесками и дорогими платьями. Однажды в ворота усадьбы влетел большой грузовик. Двое рабочих с мельницы выгрузили из него какой-то аппарат. Аппарат был завернут в ткань и привязан к доске, будто зверь. Потом его развернули; он оказался деревянным, с изогнутым, как дверной проем, верхом. Сеньор Пиментел похлопал бок аппарата, словно проверял стати животного. Потом взглянул на Грасу и сказал:

– В Ресифи такое есть в каждом уважающем себя доме. Мы должны показать нашим гостям, что идем в ногу со временем.

Мы с Грасой пришли в такой восторг от этой штуки, что забыли спросить, каких гостей сеньор Пиментел собрался впечатлять. Я много раз слышала слово «радио» – кузены Пиментелов, наезжавшие из Ресифи, хвалились, что состоят в Радиоклубе Ресифи, ежемесячно платят за возможность слушать передачи и музыку. То, что голоса летят по воздуху и в конце концов оказываются в деревянном ящике, казалось библейским чудом из тех, о которых толковал Старый Эуклидиш. Только происходило оно каждый день и рядом с нами.

После того как радио заняло свое место в гостиной, прислуге разрешили собраться и посмотреть, как сеньор Пиментел включает аппарат в первый раз. Из динамика вырвалось жужжание, словно там ожил рой рассерженных пчел. Позже я узнала, что это белый шум. Потом сеньор Пиментел повернул круглую ручку, и далекий женский голос запел из сетчатого динамика:

Ах, пекарь на углу,
Ты с тестом постарайся,
И хлеб ты мне пеки
Лишь из муки «Браганса»!

Исчезли люди, собравшиеся в гостиной. Я закрыла глаза, и для меня остались лишь радиоженщина, ее голос и мои вопросы: что это за поразительное место, где муку называют не просто «мука», а «мука Браганса»? Где эта разница настолько важна, что люди слагают о муке песни? Граса схватила меня за руку. Я открыла глаза и увидела ее рядом с собой: рот открыт, щеки пылают, дыхание такое, будто она только что раз десять пробежалась вверх-вниз по лестнице, хотя с тех пор, как с приемника сняли чехол, Граса не сдвинулась ни на шаг.

Теперь вместо пластинок мы слушали радиопередачи, которые начинались в пять часов дня. После уроков мы с Грасой мчались в гостиную (Карга у нас за спиной зудела, чтобы мы не неслись сломя голову) и со щелчком включали радио.

Пятичасовая программа состояла из блока новостей, нескольких коротких драматических постановок, позывных Радиоклуба и музыкальных заставок. По-настоящему мне из всего этого нравилась только музыка, но Граса с увлечением слушала все подряд. Каждый раз, когда мы с ней усаживались перед радиоприемником, Граса хватала меня за руку и крепко зажмуривалась, словно хотела унести из Риашу-Доси и оказаться в Рио-де-Жанейро, на радиостанции «Майринк». Как будто здесь ее удерживала только моя ладонь. И я крепко сжимала ее пальцы.

Я отправлялась спать, думая о музыке из радио, а просыпалась, полная предвкушений, еще до пяти утра. Все, кроме радио, сделалось для меня неважным. Даже уроки Карги, которые я когда-то любила, казались теперь смертной тоской. Но, в отличие от Грасы, я старательно скрывала нетерпение и скуку. Граса, погруженная в мечты, выполняла домашнее задание спустя рукава, лишь бы скорее отделаться, и даже не пыталась что-то выучить. Карга называла Грасу испорченной нахалкой и крепко щелкала ее по лбу каждый раз, когда Граса не заботилась о правильности ответа. А однажды Карга надрала ей уши.

Граса кинулась в контору, там она расплакалась и показала отцу налившимся кровью уши. Сеньор Пиментел покачал головой:

– Пора тебе научиться уважать свою учительницу, Мария даш Граса. Очень скоро тебе придется уважать мужа, и если ты не станешь его слушаться, то он может обойтись с тобой еще хуже.

Граса вышла из конторы спотыкаясь – бледное лицо, глаза блестят. Мы спустились к реке и сели у воды.

– Ненавижу это место! – выкрикнула Граса.

– Я тоже, – сказала я, хотя мне не с чем было сравнивать Риашу-Доси.

Не было у меня и надежды когда-нибудь покинуть его. Сбежать я могла только в музыку, которую мы слушали в гостиной господского дома днем и возле рабочих бараков – по ночам.

Однажды ночью мы с Грасой подобрались так близко к костру, что почти ощутили его жар. Внезапно рядом с нами возник Старый Эуклидиш. Он грубо схватил меня за локоть и вытащил из укрытия.

– Уведи ее домой, Ослица, – велел он мне, кивая на Грасу. – Ей сюда нельзя.

– Тебе тоже, – огрызнулась я.

Эуклидиш занес иссохшую руку. Я зажмурилась, приготовившись к удару. Но, прежде чем Эуклидиш успел ударить меня, Граса приказала:

– Уходи! Ты портишь музыку.

Рабочие оборвали песню и уставились на нас. Кое-кто из служанок уже бежал к своим комнатушкам на задах господского дома, опасаясь, что Граса донесет на них.

Эуклидиш отпустил меня и улыбнулся Грасе:

– Простите, барышня! Вам помешал шум? Мы станем играть потише, спите спокойно.

– Я не хочу спать, – заявила Граса. – Я хочу слушать. – Она поправила шаль и вышла к костру. – Продолжайте, – сказала она. – Как будто меня здесь нет.

Рабочие повиновались. Зазвучали скучные песни, восхвалявшие работу и Господа. Пели принужденно, как в церкви, и разошлись раньше обычного. Мы побрели к дому, Граса зябко куталась в шаль.

– Ненавижу этого дурака Эуклидиша. Заведут теперь псалмы. И никогда больше не будут петь как раньше.

– Может, нам просто не стоит ходить туда?

– Теперь точно надо ходить, Дор. Решат, что я испугалась этого старого осла.

Я покачала головой и сказала:

– Да, будем ходить как ходили. Но, может быть, не сидеть там втихаря? Может, нам тоже петь?

Граса остановилась.

– Они каждую ночь поют разное. Я не запомню слова, не смогу петь вместе с ними.

– Мы и не будем петь с ними, – согласилась я. – Они будут петь для нас, давать нам то, чего нам хочется. Но им тоже кое-чего хочется, и мы им это дадим.

– Например?

– Радио, – ответила я.

Прислуге не разрешалось ходить в хозяйскую гостиную слушать вечерние радиопередачи. Кое-кто прятался под дверь, надеясь что-нибудь уловить. На кухне служанки приставали ко мне, выпрашивая последние новости: *А правда, что женщинам скоро разрешат голосовать? Сколько народу погибло из-за оползней на юге? Неужели в Сан-Паулу действительно построят метро?* Рабочие жили еще дальше от радио, но они знали о его существовании и тоже интересовались миром за пределами Риашу-Доси.

На следующий день мы с Грасой слушали радио внимательнее, чем обычно. А потом отправились к рабочим и воспроизвели все, что смогли запомнить: рекламу «Витаминов доктора Росса», новости, которые мы повторяли, как заправские дикторы, и музыкальные заставки. Во время этих песенок наши с Грасой голоса звучали странным сочетанием жесткого и мягкого, легкости и натуги. Я закрывала глаза и представляла себе, что сеньора Пиментел здесь, сидит у костра, собирается с силами, чтобы в конце нашей песни встать и прокричать: «Браво!»

Через несколько недель другие обитатели господского дома – горничные, лакеи, кухарки из тех, кто не бывал раньше на этих собраниях, – начали появляться у костра. Я не знала точно, почему они приходят, ради невиданного зрелища – хозяйская дочка выступает на

пару с Ослицей – или чтобы послушать «радио». Но мне было все равно. Они нам хлопали. Задавали нам вопросы. Не смеялись надо мной за то, что я пела с хозяйской дочкой. Перед этой толпой мы с Грасой были равны. Жар от костра ложился на мое лицо, как жар сценических ламп. Мне не хотелось уходить оттуда.

В то лето мы с Грасой находили убежище у рабочих вечерами и в заброшенной комнате сеньоры Пиментел – днем. Сеньор не стал утруждать себя тем, чтобы разобрать или спрятать вещи жены, и мы с Грасой могли без помех вертеться перед зеркалом в шляпках с вуалью, шелковых перчатках и с расшитыми бисером сумочками. Однажды Граса вытащила из кармашка маленькую жестянку с красной краской для губ.

– Повернись ко мне, – велела она.

– Где ты это взяла?!

– Заплатила одной служанке, и она мне принесла. Дор, вытяни губы.

Я замотала головой:

– Губы красят только неприличные женщины.

– Не будь занудой, – вздохнула Граса. – В настоящих городах красятся все дамы. Особенно если хотят быть радиозвездами, как мы.

Граса стянула с себя материнские перчатки, повозила пальцем в помаде и поставила мне на губы красную точку. Ее теплое дыхание пахло кофе. Она втерла немного помады сначала мне в щеки, потом себе. Сидели мы спиной к двери и, когда она скрипнула, решили, что это служанка пришла смахнуть пыль.

Граса крикнула:

– Не сейчас! Мы заняты.

Дверь не закрылась. По плитам пола простучали каблук.

– Ваш отец просил меня одеть вас к обеду, – объявила Карга. Мы обернулись, и Карга разинула рот. – Вытрите лица! Вы похожи на самых обычных потаскух.

– А бывают необычные потаскухи? – рассмеялась Граса.

Карга схватила ее за руку и рывком поставила на ноги.

– У вас сегодня важный гость!

Глаза у Грасы расширились. Я вскочила. Неужели явился претендент на руку Грасы?

– Дориш, отправляйся на кухню, – распорядилась Карга. – И даже не думай где-нибудь спрятаться и подсматривать.

Любопытство сделало нас послушными. Мы смыли румяна и помаду, Карга порылась в шкафу и заставила Грасу примерить несколько нарядных платьев, которые сеньор купил дочери в Ресифи. Я помогала Грассе застегнуть пуговицы сзади, но Карга лишь качала головой.

– Слишком тесно, – объявила она после пятого платья. – С такой фигурой ты и в монашеской рясе будешь выглядеть вульгарно. Где самое большое платье?

В глубине, у стенки гардероба я отыскала свободного кроя платье, пыльно-голубое. Грасса с отвращением натянула его, Карга одобрила. Завязав Грассе волосы лентой и сбрызнув ее лавандовой водой, Карга отправила меня на кухню, а Грасу повела вниз по лестнице.

Выждав несколько минут, я прокралась через заднюю дверь и припала к той стене особняка, что была ближе всего к воротам. Сеньор Пиментел, стоя на крыльце, махал рукой приближавшемуся автомобилю. Едва мотор затих, с водительского сиденья, стягивая шоферские перчатки, вылез молодой человек. На животе поблескивала цепочка. Волосы, зализанные назад, были сдобрены таким количеством бриллиантина, что хватило бы смазать все машины на милю вокруг. Мне он показался красивым – не выглядел ни больным, ни заплывшим жиром, ни склонным к выпивке. Грасса стояла на крыльце рядом с отцом, целомудренно сцепив на животе руки в перчатках. Она покраснелась, и какой-нибудь дурак мог бы по ошибке решить, что это румянец стыдливости. Но я знала, что щеки у нее красные из-за того, что я терла их жестким полотенцем, удаляя румяна.

На мое плечо легла рука. Боли я не ощутила и поняла, что это не Нена.

– Я же велела тебе не подглядывать, – услышала я голос Карги. Она щурилась от полуденного солнца, над верхней губой капельки пота.

– Вы велели мне идти на кухню, а не оставаться там, – огрызнулась я.

За такие речи Карга могла бы надрать мне уши. Но она приказала мне вернуться в дом, помочь ей привести в порядок классную комнату.

– Сегодня занятий не будет, – сказала она, поправляя книги на своем столе. – Тебя это огорчает?

Прежде Карга никогда не задавала мне вопросов напрямую.

– Я не люблю пропускать уроки.

Карга кивнула.

– На кухне твоя жизнь прошла бы даром. Я так и сказала сеньору Пиментелу.

Карга покраснелась, глаза блестели; она казалась почти взволнованной.

– Ты очень одаренная девочка. Настоящий самородок. В последние годы учить тебя было для меня наградой. Я думала, что не нужно позволять тебе учиться, чтобы не обнадеживать тебя зря. Мне казалось, что сеньора поступает жестоко. Но она, должно быть, уловила, что ты сообразительнее большинства. И уж точно одареннее, чем дочка хозяев, избалованная сверх всякой меры. Мне жаль ее будущего мужа. Хотя ему, наверное, нужна жена хорошенькая, а не умная. Так обстояли дела и в мое время: хорошеньким девушкам, какими бы порочными они ни были, везде была дорога. Нам – остальным – нужно было иметь какие-нибудь способности, талант.

– У Грасы есть талант, – сказала я. – Она поет. Мы обе поем.

– Петь – полезное умение, когда надо развлечь гостей. Если муж разрешит ей брать уроки, она, я уверена, произведет фурор в салонах Ресифи.

– Она не хочет замуж. – Мой голос прозвучал так громко, что у Карги округлились глаза.

– А кто хочет? – фыркнула учительница. – Хозяйскую дочку баловали всю жизнь, но на этот раз выбрать не ей. А у тебя выбор есть. Ты выросла на кухне, и это дает тебе преимущества, которых нет у Грасы. Никто не ждет, что *ты* выйдешь замуж и создашь семью. Надеюсь, ты и сама этого не ждешь.

Я помотала головой.

Карга позволила себе улыбнуться.

– Сейчас многие способные молодые женщины становятся служащими или машинистками. В Ресифи есть курсы машинисток. Если сеньор заплатит за твое обучение, ты сможешь работать в заводской конторе, пока не отработаешь долг. У тебя будет профессия.

Захочешь – уедешь потом в Ресифи. Тебе необязательно следовать за барышней, когда она покинет Риашу-Доси.

– Покинет?..

– Ей четырнадцать. Она могла бы оставаться дома еще какое-то время, но сеньор... Ты, конечно, знаешь, что цена на сахар не та, что раньше. Сеньору надо думать о сотнях рабочих. Я... Что ж, я собираюсь в Ресифи, работать в другой семье, где мне будут платить достойно. Неразумно оставлять Грасу без дела. Юные девушки вроде нее легко попадают в беду, если за ними не присматривать. Если ее отец прождет еще, она может и не найти достойной пары вроде этого молодого человека.

В желудке у меня образовалась пустота, словно все внутренности вычерпали заостренной ложкой, какой Нена выскребала кокосовые орехи. Дверь в игровую была открыта, и мне захотелось протиснуться мимо Карги, броситься вниз по ступенькам, ворваться в гостиную и крикнуть Грасе: «Беги!»

Когда мы с Грасой были девочками, безнадежно сидевшими в ловушке тростниковых полей на северо-востоке Бразилии, замужество было для богатых способом удержать капиталы в пределах узкого круга. Любовь же была чем-то, о чем поется в песнях, не более.

Детство, проведенное вдали от большого города, имело свои преимущества, претенденты на руку Грасы могли верить, что их невеста не знает соблазнов и не испорчена современными взглядами. К тому же Граса была довольно хорошенькой. Думаю, именно так сеньор Пиментел и рекламировал Грасу соискателям: невинная девушка, готовый зацвести бутон. Старался он ради нее или ради себя самого, мы так и не узнали. Если бы Граса удачно вышла замуж, сеньор Пиментел наверняка извлек бы из этого выгоду – заняв ли денег у богатого зятя или получив возможность самому стать женихом, на этот раз – с пустым домом и новенькими семейными связями. Или, как стала думать Граса через несколько лет, когда простила сеньора Пиментела, ее отец заботился о ней единственным известным ему способом – стремясь пристроить ее в какой-нибудь богатый дом. Но даже лучшие намерения могут быть продиктованы эгоизмом. Мои – были.

Какая-то часть меня всегда верила в страдание – что страдание есть долг, что мы благодаря ему делаемся сильнее, закаляемся, как глина в огне. Но уступить Грасе мужу – такой удар я не хотела принимать. Граса не могла покинуть Риашу-Доси. Не могла стать чьей-то женой – тогда я потеряла бы ее навсегда. Даже если разговоры о нашем совместном бегстве, о нашем звездном будущем на радио казались мне сродни мечтам выстроить лестницу до луны, я не была готова отречься от нашей общей мечты, от нашей общей жизни.

В тот день, когда Граса обедала с первым претендентом на ее руку, я замешкалась наверху, в классной комнате. Я расставляла книги и до бесконечности точила карандаши. Мне хотелось услышать шум с нижнего этажа: вот разбилось стекло, опрокинулся стул, вот вопит сеньор Пиментел, а Граса отвечает ему, протестуя против своей судьбы по образцу героини какой-нибудь радиопостановки. Но внизу стояла тишина, от которой мне становилось худо.

Настало время слушать радио, молодой человек уехал, посуду после обеда убрали, а Граса все не появлялась. Я нашла ее в материнской спальне, с голубым бархатным мешочком в руках.

– Вот что он мне подарил. – Граса распустила кулиску мешочка, достала нитку жемчуга и принялась изучать каждый сливочный шарик.

– А ты и взяла, – буркнула я.

– Конечно. Оно же красивое. – Граса удивленно взглянула на меня.

– Значит, он тебе понравился? – Я чувствовала, что мне не хватает воздуха.

Граса снова перевела взгляд на жемчужины.

– У него руки как лягушачьи лапки, влажные и холодные. Но он сказал, что я очень красивая. Он вернется через неделю.

– Ты хочешь, чтобы он вернулся?

Граса подняла на меня глаза:

– А как еще я могу вырваться отсюда? *Papai* думает, что только для замужества я и существую. Ты тоже так думаешь, Дор?

Мы смотрели друг на друга долго, и мне стало казаться, будто и комната, и особняк, и поля Риашу-Доси погрузились в туман, растаяли, и остались только мы с Грасой – в бесконечном мгновении, которое длилось в моей памяти десятилетия, и теперь, когда я

закрываю глаза, я снова вижу Грасу четырнадцатилетней: круглое лицо, густые, не знающие пинцета брови, взгляд наэлектризован бешенством.

– Нет, – прошептала я.

Граса уронила ожерелье в мешочек и туго затянула шнурок.

Через неделю претендент вернулся в Риашу-Доси с чемоданом. Он намеревался остаться на ночь. Граса в его присутствии была серьезной и не улыбочивой. Я засела в своем тайнике в гостиной. Когда претендент удалился в гостевую комнату, сеньор придержал Грасу за локоть.

– Больше очарования, – уговаривал он. – Улыбнись же ему! На следующей неделе позовем еще одного, пусть сражаются за тебя. Так дай ему понять, *querida*, что ему есть за что сражаться.

Граса кивнула, потом извинилась и ушла. Когда дом погрузился во тьму и от реки донесся стук барабанов, я уже ждала ее на нашем обычном месте. Граса явилась в старом «автомобильном» пальто сеньоры Пиментел.

– Хочешь покататься на машине? – встревоженно шепнула я.

– Это наверняка нетрудно, знай жми на педали. – Граса покачала головой, заметив на моем лице легкую панику. – Ворота заперты, а ключи у Эуклидиша. Если бы даже я умела водить машину, мы не смогли бы прорваться. Пошли.

Она взяла меня за руку, и мы зашагали к кострам. Но в этот раз Граса направилась не к сидевшим в кружок рабочим, а свернула на другую тропинку, уводя меня от музыки.

– Куда мы идем?

– К реке. – Граса дернула меня за руку и потащила за собой в темноту.

И вот перед нами протянулась серебряная лунная дорога, широкая блестящая лента реки. На берегу Граса, выпустив мою руку, принялась собирать большие камни и набивать ими карманы пальто. За спиной у нас гудели барабаны.

– Из таких больших камней «блинчиков» не выйдет, – заметила я. – Они тут же утонут.

– Мне это и нужно.

Лягушки переквакивались с одного берега на другой, пронзительно и яростно. Граса выпрямилась, посмотрела на меня, потом – на воду.

– Помнишь, ты рассказывала про призрак? Про женщину, которая живет в воде? Она настоящая. Жила здесь, как мы. Люди до сих пор ее помнят. Она – история, и я тоже стану историей.

– Какой еще историей?

Граса улыбнулась, ее зубы в темноте казались серыми.

– Молодая девушка из хорошей семьи, нервная, как и ее мать, вошла в реку, и карманы ее пальто были набиты камнями.

– Ты утонешь!

– Не утону, – ответила Граса. – Ты спасешь меня.

Я замотала головой. Граса вздохнула – раздраженно, словно мы уже десять раз все обсудили.

– Ты пошла за мной, потому что тревожилась за меня. Увидела, что происходит, и бросилась в воду. Вытащила меня на берег и спасла! Дор, постарайся кричать погромче и вообще поднять бучу, чтобы рабочие услышали. Я тоже буду кричать. Надо перебудить всех в доме.

– Зачем?

Граса скрестила руки:

– Ты вроде такая умная, но сейчас просто идиотка. Не заметила, что ли, один тип под меня клинья подбивал?

Идиотка. Тип. Подбивал клинья. Эти слова мы слышали по радио, их произносили не в меру самоуверенные героини, у которых отваги было больше, чем здравого смысла.

– Я вовсе не дура. Я все продумала, – продолжала Граса. – Никто не захочет покупать яблоко с гнилым бочком. И сейчас мы сделаем таким яблоком меня. Если мы и правда хотим удавить в зародыше все это дело с замужеством, мне надо стать или сумасшедшей, или шлюхой. А я уж точно не хочу раздвигать ноги перед каким-нибудь конюхом или рабочим с плантации. Так что вот, Дор. Это наш шанс. Ни один мужчина не захочет жениться на безумной девице, какой бы красавицей она ни была. Слухи дойдут до самого Ресифи – и вот я старая дева.

– А ты не можешь просто пошлепать руками по воде и покричать? – спросила я. – Без пальто. Без камней.

Граса покачала головой:

– Никто на это не купится. Да я не зайду слишком глубоко. А ты сильная как бык.

– А вдруг нет?

– Тогда мы обе утонем. И о нас еще долго будут говорить в Риашу-Доси.

– Не могу. – Я отступила от воды.

– Придется. – Голос у Грасы стал жестким. – Я все равно выберусь из этой дыры, и мне все равно как – на руках какого-нибудь придурка-мужа или своими ногами. А ты – нет. Тебе, чтобы выбраться отсюда, нужна я. Ты спасешь меня сейчас, а я спасу тебя потом.

Так я обнаружила себя бредущей по пояс в водах Риашу-Доси, рука об руку с Грасой. Если я медлила, Граса тянула меня вперед.

– Еще немножко, – уговаривала она, борясь с набрякшим пальто. – А потом кричи и тащи меня на берег.

Граса оглядывалась на меня и улыбалась. Я улыбалась ей в ответ, так сильно сжимая ее ладонь, что пальцы болели. Вдруг дно ушло у нее из-под ног, вода захлестнула шею, волосы. Глаза у Грасы расширились от страха. Течение оказалось сильнее, чем я ожидала. Я крепче вцепилась в Грасу, но от ее тяжести колени у меня подогнулись, и меня тоже потянуло на дно. Граса цеплялась за мою ночную сорочку, шею, руки. Я изловчилась поднять ее вверх, она схватила воздуха широко открытым ртом, попыталась сорвать пальто – и ушла под воду. Я снова подняла ее голову над поверхностью и потащила к берегу, но у меня мало что получалось, вода казалась жидким бетоном. Скрежеща зубами, я сделала один шаг, потом другой; я уже двигалась на цыпочках, едва касаясь дна, но Грасу я держала крепко. Она судорожно, словно захлебываясь, дышала. Берег был недалеко, но в темноте мы забрели глубже, чем нам казалось. Нога моя соскользнула с камня. Вода хлестнула в лицо. Я перестала понимать, где верх, где низ. Ухватив Грасу под мышки, я барахталась изо всех сил и тянула, тянула... Наконец глоток воздуха. До меня донеслись звуки барабанов. Я подумала о певице фаду, которую видела тогда в Ресифи, – как она стояла на сцене и ее песня летела так далеко, так свободно. Я вдохнула поглубже и закричала, и голос мой наполнил темноту.

Всплеск, стон, кто-то захлебывается. Меня больше не обременяло ни мое тело, ни тело Грасы. Меня никто не держал, я ни с чем не боролась. Я стала невесомой. Неужели я возношусь? Поднимаюсь прямо в небеса, как святая или херувим? Я открыла глаза, надо мной темнело лицо рабочего. Потом я обнаружила себя на берегу стоящей на четвереньках в топкой грязи, меня рвало речной водой и желчью.

Ночная рубашка прилипла к груди, как мокрый платок. Желудок болел. Как долго я пробыла на берегу? Вспомнив про Грасу, я отчаянно завертела головой.

– Ее унесли, – сказал рабочий.

На косогоре, по грязной тропинке рабочие – их тела казались темным комом – несли Грасу к господскому дому. Множество рук поддерживало ее, словно статую святой на шествии или гроб.

Я заковыляла по тропинке следом, меня подпирал работник. Вдруг перед нами с рычанием ожил автомобиль. Его фары заставили меня остановиться у самых ворот особняка. Претендент на руку Грасы, в одной пижаме, вцепился в руль так, словно только учился водить. Старый Эуклидиш сидел рядом с ним – он указывал дорогу, будто нервный учитель. За машиной бежала Нена – в ночной рубахе, в шали и тряпице, туго обхватившей ее волосы. Нена кинулась ко мне.

– Ну что, доигралась? – спросила она, принимая меня из рук рабочего, словно надзиратель – заключенного.

Господский дом был освещен до последнего окна, точно Пиментелы давали бал. Нена потащила меня в обход, к дверям кухни.

– В машине был Эуклидиш. С тем мужчиной. – У меня саднило горло.

Нена шагала вперед.

– Они поехали к врачу. Этот городской мальчишка устроил черт знает что, и сеньор выставил его из дома. Эуклидиш показывает ему дорогу.

– К врачу? – Я остановилась. Нена вцепилась в меня еще крепче.

– Ничего с ней не сделалось. Но ни ее, ни твоей заслуги в этом нет. Она хотела внимания – она его получила.

Конюхи топтались у колоды для рубки мяса. Возле кухонных дверей горничные и посудомойки выстроились плечом к плечу, босые, в ночных рубахах, они перешептывались. Как только вошла Нена, толкая меня, все затихли. Мокрая рубаха прилипла к телу. Прикрыв

грудь свободной рукой, я уставилась перед собой, уверенная, что Нена отведет меня в наш чулан и там отлупит. Никто не смотрел на меня как на героиню, спасительницу хозяйской дочки, отважную кухонную девчонку, которая предотвратила трагедию, потому что я ее не предотвратила – это сделали рабочие. Неудачница. Служанки столпятся у дверей чулана и станут подслушивать, как меня наказывают. Я твердо решила не издать ни звука.

Когда Нена выволокла меня из кухни и потащила в холл, под яркий свет, я смутилась. Ночную рубашку покрывали бурые полосы. Грязь на локтях и ладонях засохла в корку, и кожа зудела. У закрытых дверей гостиной Нена набросила на меня свою шаль.

– Если у тебя осталась хоть капля мозгов – молчи, – прошептала она. – Всем известно, что ты таскаешься за ней, как ягненок.

Потом Нена сжала кулак и постучала в дверь. Ей открыл сеньор Пиментел.

Волосы у него были нечесаны, верхние три пуговицы рубашки расстегнуты, а сама рубашка выбилась из штанов, словно он одевался второпях. Увидев нас с Неной, он развернулся и прошагал в дальний угол гостиной, к радиоприемнику, на котором стояла полупустая бутылка тростникового рома.

Граса сидела в старом кресле сеньоры Пиментел, подтянув колени к подбородку и завернувшись в шерстяное одеяло так, что торчала только голова. Мокрые волосы спутались, отчего ее лицо и глаза казались неправдоподобно большими, как у кошки, которая свалилась в ванну. Возле ее кресла стоял ночной горшок, почти до краев полный водянистой рвотой.

Сеньор Пиментел закрыл глаза и помассировал веки кончиками пальцев.

– Чья это была идея? – спросил он.

Мы с Грасой смотрели друг на друга.

Сеньор Пиментел открыл глаза:

– Отвечайте!

Руки у меня тряслись, хотя мне не было холодно. Гостиная пульсировала красками: голубое одеяло Грасы, зеленый бархат скамеечки для ног, ослепительно белая рубашка сеньора Пиментела, шоколадное дерево радиоприемника. Каждый угол казался острее, каждый изгиб – выпуклее обычного. И ощущение трескучей,

беспокойной энергии, отчего трудно было сосредоточиться. Много лет спустя я снова испытала это чувство, только причиной ему был не адреналин, а таблетка амфетамина, которые мы глотали, чтобы взбодриться во время долгих съемок. Я переступила с ноги на ногу. Сеньор глядел на меня.

– Так-то ты оплатила за все, что я для тебя сделал? – спросил он. – Действовала с ней заодно, вместо того чтобы исполнить свой долг и остановить ее или позвать кого-нибудь?

– Дор спасла меня, – подала голос Граса.

– Тебя спасли рабочие, – фыркнул сеньор Пиментел. – Старый Эуклидиш видел, как вы входили в воду. Держась за руки.

Щеки у него пылали. Сеньор тяжело уставился на Грасу:

– Итак, ты опозорила себя. Этого ты добивалась? Все до единого рабочие видели тебя в мокрой рубашке, практически голой. Все считают тебя полоумной, которая даже утопиться не может.

– Мне все равно, что они думают. – Граса еще глубже ушла в одеяло. – Я здесь не останусь.

– Не останешься, – согласился сеньор. – Ресифи – не единственный город на земле, а этот мужчина, – он указал на потолок, словно претендент все еще спал в гостевой над нами, – не последний муж на земле. Но для тебя он был лучшей партией. Все то время, что я провел в Ресифи, я обхаживал его, убеждая приехать сюда и познакомиться с моей чаровницей-дочерью. А ты повела себя как полоумная. Ты сильно усложнила себе жизнь – вот все, чего ты добилась своей выходкой.

– Не пойду я за это тупое бревно! – закричала Граса. – Я буду певицей на радио.

Сеньор захохотал.

Артисты в то время пользовались меньшим уважением, чем сейчас. Певцы, циркачи, танцовщицы, артистки кабаре считались людьми одного сорта – бродягами и пройдохами. То, что такой жизни пожелала себе девушка из приличной семьи, было настолько невообразимо, что даже смешно. Смех сеньора Пиментела заполнил гостиную и осел на нас липким речным илом.

– Ты слышала, Нена? – задыхаясь, выговорил сеньор. – Мое единственное дитя желает исполнять рекламные песенки о масле и пудре для лица.

Щеки Грасы были мокрыми, верхняя губа скользкой от соплей.

– *Матӕе* говорила, что у меня чарующий голос.

– Все матери говорят своим детям, что те не как все, даже если это не так. – Сеньор вздохнул.

Упомянув сеньору, он словно вернул ее. Словно она снова здесь, сидит там, где сейчас Граса, ждет, когда мы запоем.

– Она не как все. – Я испугалась, услышав свой голос. – Мы с ней не как все.

Сеньор оценивающе поглядел на меня, как будто увидел в первый раз. Если до этой самой ночи я была просто гадким подкидышем, который всюду следовал за его дочерью, то теперь стала для сеньора чем-то бóльшим. Нена сжала мой локоть, словно щипцами, так что у меня даже закололо пальцы.

– Ослица, – цыкнула она, – молчи.

Сеньор поднял руку с раскрытой ладонью, словно принося клятву, и двинулся к нам.

Нена стояла вплотную, почти наступая мне на пятки, готовая прикрыть меня от удара, откуда бы он ни прилетел. Сеньор занес руку и топнул каблуком. Я зажмурилась, ожидая, когда он меня ударит. Я была стволем дерева, толстым, ушедшим корнями в землю, моя кожа была корой, она нарастала на мне кольцами. Я была носком башмака, окованным железом. Я была Ослицей, многожды битой до этого.

Я ждала, когда меня обожжет его ладонь, – ждала торжествуя, словно я уже победила. Но не было ни удара, ни шлепка, ни подзатыльника. Я открыла глаза.

Сеньор снова смеялся, на этот раз – еще громче.

– Думаешь, я какой-то мужлан? – спросил он. – Наказывать кухонную прислугу – дело Нены, и я уверен, она исполнит свои обязанности. Как обычно. Кстати, твоя мать тоже была прилипалой.

Я дернулась. Нена крепко держала меня.

– Она работала на кухне, Нена тебе не говорила? Мы с кузенами приезжали сюда на лето, и она вечно хотела, чтобы мы приняли ее в нашу компанию. Ужасно она была приставучая, все таскалась за нами. Когда мы стали постарше, то стали давать ей дешевые безделушки – перчатки, стеклянные шарики, подвеску от ожерелья, да всякую ненужную мелочь – за то, чтобы она ходила с нами за курятник. А

потом Нена выгнала ее, ей не место было в приличном доме. Я сто раз говорил жене, что яблоко от яблони недалеко падает. И был прав.

Я могла бы снести тысячу ударов любого кулака, но слова? Слова всегда сбивали меня с ног.

Тоненькие рыдания-скулеж предательски забулькали у меня в горле, прорываясь наружу. Граса посмотрела на меня, размотала одеяло и встала. И, стоя за спиной у отца, подмигнула мне, словно шалунья, задумавшая чудеснейшую проказу. Словно все это было частью нашего плана. Словно мы с ней самозабвенно играли написанные роли и это был не конец нашей истории, а только начало.

Нас разлучили. Меня засунули в чулан Нены, а Граса оставалась наверху, в своей огромной спальне, дверь заперли снаружи во избежание дальнейших эскапад.

Когда мы покидали гостиную, глаза у меня были сухими. В ногах, руках, шее еще пульсировало, мое тело стало одним большим вибрирующим органом. «Речная лихорадка», – объявила Нена, вливая чай в мои потрескавшиеся губы.

Когда врач Пиментелов наконец прибыл, чтобы осмотреть Грасу, он забежал и вниз, проверить меня. Я притворялась спящей, чтобы подслушать, о чем судачат доктор и Нена. Так я узнала, что Грасу скоро отправят в монастырскую школу в Петрополисе, в двухстах километрах к югу.

– Слава Господу, сеньоре не довелось увидеть, как ее дочь лезет в реку, – сказала Нена.

– Ее мать страдала нервическим расстройством. – Доктор Аурелиу понизил голос: – Мне не хочется говорить так, но они сшиты из одной ткани.

– Барышня желает выступать в театре, – прошептала Нена. – Певицей хочет быть.

– Душевная нестабильность. – Доктор вздохнул. – Я говорил сеньору, что она нуждается в наставнице. Монахини приведут ее в порядок.

Подушка странно намочла у меня под щекой. Что пропитало ее – пот или слезы? Я вздрогнула.

– Смотрите-ка, кто проснулся, – сказала Нена.

Доктор Аурелиу погладил меня по голове:

– Ослица, девочка моя. С возвращением.

Школа «Сион» была местом, куда богатые ссылали своих сбившихся с пути истинного дочерей – если не навсегда, то хотя бы пока их подмоченная репутация не просохнет. В те дни даже лучшие пансионы требовали, чтобы родные обеспечивали воспитанниц всем, за исключением провизии, и сеньор Пиментел ворчал по поводу цен на ткань. Грасу следовало снабдить постельными принадлежностями, полотенцами, формой и бельем. Каждая ученица этой престижной школы должна была также привезти с собой служанку, которая стирала бы ее одежду и готовила еду. Эти служанки назывались «помощницы», обитали в школе, под недремлющим оком монахинь, и получали еду, постель и религиозные наставления. Большинство помощниц потом сами становились монахинями. Все были уверены, что сеньор Пиментел пошлет с Грасой в Петрополис кого-нибудь из горничных, и девушки тревожно шептались на задах дома, пытаясь угадать, на кого падет жребий. Я к тому времени уже выздоровела и бродила по кухне – Нена запретила мне болтаться у крыльца, запретила даже выходить из кухни, боясь, что я попаду на глаза сеньору и он вышвырнет меня вон. Служанки, которые прежде дразнили меня, теперь бросали на меня ледяные взгляды, наверняка считая причиной своих бед. Даже девушки, яростно желавшие покинуть Риашу-Доси, меньше всего хотели угодить в монастырь, на милость монахинь, которые в те дни славились особой злобностью.

Через три дня после визита доктора сеньор Пиментел снова призвал нас с Неной в гостиную. Я не могла взглянуть ему в лицо и поэтому таращилась на его туфли, начищенные до зеркального блеска. Наверное, сеньор Пиментел принял мое молчание за покорность, но Нена знала меня лучше. Она положила свою ручищу мне на плечо и сжала как тисками, чтобы я наверняка не приблизилась к сеньору, пока он говорит.

– Нена служила в этом доме, еще когда я был мальчишкой, и я питаю к ней глубочайшее уважение, – начал сеньор Пиментел. – Она часть этого дома, вот как входная дверь или колонны. Дом без нее не устоит. Ради нее и ее привязанности к тебе, Ослица, я даю тебе великолепную возможность устроиться в жизни. Сионские сестры излечат тебя от непокорности так, как мне никогда бы не удалось. Ты

будешь там на своем месте. А когда Граса закончит обучение и вернется, чтобы выйти замуж, ты останешься в монастыре.

Нена еще сильнее сжала мне плечо. Я помнила, что в «Сион» отправляют не в награду, а в наказание. Глядя в пол, я пробормотала «спасибо». Потом мы вернулись в чулан, и Нена наконец отпустила меня.

– Надо было запретить вам ходить слушать песни.

– Ты знала, что мы туда ходим?

– Да все знали. Кроме сеньора. Я думала, тебе не повредит немного попеть. Пусть хозяйская дочка и мечтает сделаться радиозвездой, но я думала – у тебя достаточно ума, чтобы не витать в облаках.

– Я не витаю в облаках, – сказала я. – Я тоже пою.

– Да ты рехнулась, Ослица? Мозги-то у тебя переболтало, как яичницу. Не будь Эуклидиш таким любителем совать нос не в свои дела, ты бы утонула. И ради чего? Ради хозяйской дочки?

– Я не утонула бы. Я бы спасла ее. Мне рабочие помешали.

– Ах, рабочие помешали! – сказала Нена. – Уж простите, ваша светлость. – Она скрестила на груди могучие руки. – Ты уже не в том возрасте, чтобы держаться за ручки с этой девочкой.

Мена охватил озноб, словно лихорадка вернулась.

Нена разгладила передник.

– Я тебя не для того растила, чтобы ты стала мечтательницей вроде сеньоры – упокой, Господи, ее душу – или какой-нибудь пропащей вроде твоей матери. Карга говорила, что у тебя острый ум. Жаль будет растратить его впустую. Я сказала сеньору: или он отправит тебя в школу к монахиням – или я покину этот дом. Вот прямо выйду в ворота, и пусть Риашу-Доси хоть на куски развалится. Это его напугало так, что он согласился дать тебе шанс. Монахини в Петрополисе тоже едят, кухня у них имеется. Ты видела, что и как я делаю, ты умеешь готовить лучше многих. Покажи им, на что ты способна, Ослица. Забудь про барышню. Не бери ее беды на себя. Надумаешь спасти ее на этот раз – будешь потом спасать всю жизнь.

– Я не хочу быть кухаркой, – сказала я. – И не хочу быть монахиней.

– Кто тебе сказал, что мы можем выбирать, кем нам быть?

– Я сама себе сказала.

Не успела я поднять руки, чтобы защититься, как Нена рванулась ко мне, стиснула мое лицо мясистыми ладонями и потянула к себе. Ничего более похожего на объятие я от нее не видела.

– Думаешь, ты знаешь мир? – спросила она, качая головой. – Мир сожрет тебя с костями, Ослица.

На следующий день я прошмыгнула в библиотеку господского дома и нашла Петрополис на карте, это оказался город к югу от Рио-де-Жанейро. Мы должны были отправиться туда на пароходе – на одном из громадных пассажирских лайнеров, которые каждый день отплывали из порта Ресифи. Все это казалось мне ужасно странным и будоражило воображение – я с таким же успехом могла бы сесть в ракету и улететь на Юпитер. Граса тоже была взвинчена, но не из-за путешествия.

За день до отъезда мне удалось подкупить горничную и получить ключ от комнаты Грасы.

Граса сидела на кровати; постельное белье было расшвыряно и спутано так, словно Граса всю ночь билась с ним не на жизнь, а на смерть. Лицо у нее было бледным. Увидев меня, она слезла с кровати и поцеловала меня в щеку.

– Целыми днями сидишь взаперти? – спросила я. Щека там, где ее поцеловала Граса, запульсировала.

Граса кивнула.

– Мне так скучно, что я даже за книгу взялась. Не знаю, что ты в них находишь. – Она погладила меня по щеке. – Хочешь, я отдам тебе все свои книжки?

Я покачала головой:

– Решат, что я их украла.

– То есть *Papai* решит. – Граса сжала губы. – Ну мы ему покажем.

– Что мы ему покажем?

– Сбежим, как только окажемся в Рио, – прошептала она, как будто мы были в комнате не одни. – Я обязательно попаду на радио.

Наше путешествие в сионскую школу осталось в моей памяти чем-то вроде альбома, где многие треки забылись, а иные продолжают настойчиво звучать. Помню громаду пассажирского лайнера в порту Ресифи и как меня поразило, что такая махина не тонет. Помню, как

крепко я сжимала свою записную книжечку со словами – единственное имущество, которое я взяла с собой из Риашу-Доси, не считая форменного платья помощницы, – пока шла за Грасой и сеньором Пиментелом по сходням. Помню, как у меня саднило горло, когда во время приступов морской болезни меня рвало в ведро. Помню, как вцепилась в руку Грасы, когда перед нами встал Рио-де-Жанейро. Мы увидели, как поднимаются из воды горы, увидели город, уложенный в изгибы пейзажа, словно покоящийся на холмах-грудах. (Вот почему Рио посвящают столько любовных песен.) Я вспоминаю странные деревья по дороге в Петрополис – треугольные, с миллионом зеленых палочек вместо листьев. Потом я узнала, что это сосны, что в не слишком жарких местах они обычны, но в тот день вид этих деревьев поразил меня. Если в Петрополисе такие странные деревья, то и все остальное окажется странным. Но самое удивительное – это воспоминание остается ярким даже в тумане возраста – произошло еще до того, как мы оказались в Рио. Наш корабль остановился в Салвадоре, в Баие. Граса пробралась в мою каюту третьего класса и вытащила меня из койки, чуть не опрокинув ведро, в которое меня рвало.

– Ты должна это видеть, – объявила она и выволокла меня на палубу, а потом и с корабля.

В салвадорском порту пассажиры первого класса проходили мимо людных, дурно пахнущих мест по специальным мосткам. Мостки оканчивались чистенькой площадкой со скамейками, пальмами в кадках, билетной кассой и шеренгой носильщиков, готовых подхватить багаж пассажиров. А за носильщиками сидели байянас.

Их волосы скрывали белые тюрбаны. Сборчатые белые блузы спадали с плеч. Пышные белые нижние юбки топырились, пряча табуреты, на которых сидели байянас, отчего казалось, что женщин держат юбки. Их одежду густо покрывала паутина белых ажурных кружев, столь плотных, будто платья покрыты глазурью, как свадебный торт. Шеи и запястья обвивали десятки нитей, унизанных разноцветными бусинами, и золотые цепочки.

Большинство женщин были темнокожими, как Старый Эуклидиш. Они продавали еду – перед каждой женщиной стоял стол, заваленный продуктами, а с краю булькал на небольшом огне горшок с кипящим пальмовым маслом. Женщины жарили пышки для любопытных

пассажиров с корабля, и браслеты их позванивали и переливались. Мы с Грасой замерли, открыв рты; нас толкали, но мы не в силах были пошевелиться.

– Надо же, – выдохнула я.

Граса потянулась взять меня за руку.

Мы слышали про байянас, но никогда их не видели. Для богатых светлокожих бразильцев байянас ассоциировались с прошлым, с окончанием рабства, с уличной жизнью, с вуду и тайнами, с самой самбой. В Риашу-Доси самым ценным сахаром был белый, цвета девушки из рекламы рисовой пудры «Камелия», улыбающихся мальчиков из рекламы порошковых витаминов или статуэток святых на подставках в церкви. Большинство бразильцев не соответствовали столь строгим критериям – даже промышленные магнаты, политики, плантаторы вроде сеньора Пиментела и барышни вроде Грасы. Считалось, что если ты носишь хорошую одежду или производишь из хорошей семьи, тебе простят более темный оттенок кожи или курчавые волосы. Но если у тебя белая, как сахар, кожа и при этом северный акцент, а ты оказался на юге Бразилии, тебя сочтут сбродом. А вот когда ты темный, как Нена, Старый Эуклидиш или эти байянас, тебя не станут гнать из дорогих магазинов, театров или кабин первого класса, если ты, конечно, можешь себе их позволить. Но тебе просто не позволят настолько возвыситься.

Чтобы понять масштабы нашего с Грасой изумления при виде байянас, надо не забывать, что воображение наше было очень ограниченным. Цветной фотографии еще не существовало. Мы никогда не видели изображений, движущихся по экрану. Модные журналы вроде «Шимми!» считались в кругу Грасы вульгарными, а в моем – слишком дорогими. Мы чуть не молились на старые каталоги мод, забытые в комнате сеньоры Пиментел, но женщины на их пожелтевших страницах были нарисованными. А каких женщин мы видели в реальной жизни? В Риашу-Доси обитали служанки, кухарки и унылая Карга. Да, во время единственной своей поездки в Ресифи я видела женщин в театре Санта-Исабел, но их элегантность была ограничена правилами приличия. Даже в жарком Ресифи женщины носили перчатки, чулки и белье, которое стискивало талию и сдавливало грудь. Кружево нашивали только на свадебные платья или оставляли для узкой полоски воротничка. Украшения допускались

умеренно: уши не прокалывали, браслеты считались неудобными, на ожерельях висели кресты, подвески были уместны только на балах и в театре. Для этих женщин быть элегантной означало оставаться в рамках приличий. Не таких женщин мы с Грасой рисовали себе, слушая радиопостановки. Не они были героинями, на которых мы хотели равняться. Но мы не знали, *кого* рисовать в воображении. У нас не было живого примера той женщины, какой мы надеялись стать. Мы знали одно: мы не хотим слиться с другими. Мы хотим выделиться.

В тот день портовые байянас поразили меня не одеждой, а уверенностью в себе. Кольца на каждом пальце! Браслеты до локтей! Эти женщины не прикрывали рты, когда смеялись! Их ненакрашенные лица блестели от пота! Их спины были прямы, а взгляды – еще прямей! Мне казалось, что мы с Грасой сбежали из страны престарелых аристократок и вдруг оказались в стране, где все сплошь королевы.

Однако вскоре мы попали в окружение совсем других женщин.

Едва ли не у каждой богатой бразильянки моего возраста имеется своя история о монахинях. Монахини были в то время самым обычным делом. Монастырские школы – престижными. Плату, взимаемую за обучение богатых девочек, церкви пускали на то, чтобы дать образование менее удачливым девочкам, вроде меня. Самые бедные ученицы и сами становились монахинями, богатых же готовили к замужеству. Наша история ничем не отличалась от историй тысяч других девочек, оставленных родителями у ворот монастырской школы. Мы с Грасой ничем не отличались от других, и это открытие оказалось для нее болезненным.

Раньше Граса была хозяйской дочкой, единственной наследницей; лучшие платья, лучшие игрушки. В «Сионе» никто не считал, что дышащая на ладан сахарная плантация на северо-востоке Бразилии говорит о благородном происхождении. Здесь учились наследницы состояний, по сравнению с которыми состояние Пиментелов было мизерным. Соседки Грасы по дортуару спали на тонких простынях и носили кружевное белье, у них имелись серебряные расчески и золотые четки. Их пуховые одеяла, привезенные из Германии, заставляли меня стыдиться тонких царапучих шерстяных покрывал, которые Тита сунула в чемодан Грасы. Однако больше всего Грасу

угнетали бесконечные речи монахинь про скромность и простоту. В Гресе ни скромности, ни простоты не было.

Как помощница Грасы, я отвечала за стирку и глажку ее платьев, простыней, белья, нижних юбок, чулок и школьных фартуков. Я не возражала. Каждый раз, оттирая желтые круги под рукавами ее школьных блузок или вдыхая сладкий запах пота, пропитавшего ее ночные сорочки, я чувствовала жаркий трепет от осознания, что руки и ноги Грасы касались этой одежды. Однажды спесивая помощница другой ученицы вздумала посмеяться над форменным платьем Грасы: «Ну и грубый же хлопок! Да, вы обе, видать, голь перекатная!» – и я от души отмутила ее, отхлестала по рукам и ногам своим фартуком, а под глазом оставила синяк на память. Сестра Эдвижиш, коренастая монахиня, надзиравшая за помощницами, отделала меня тростью и оставила без ужина на два вечера. Зато потом никто не смел разевать на меня пасть.

Если не считать отдельных спален, условия, в которых жили ученицы, мало чем отличались от условий жизни помощниц. Дортуары делились по возрасту, чтобы старшие девочки не развращали младших. В Петрополисе было холодно, в школе гуляли сквозняки. Все наше имущество помещалось в небольших сундуках, стоявших в изножье кроватей, и раз в неделю кто-нибудь из монахинь проверял их содержимое. Если сестра находила небрежно сложенный фартук или непарное белье, она переворачивала сундук вверх дном, и все его содержимое – одежда, рисунки, контрабанда вроде резинок для волос или губной помады – кучей валилось на пол. Владелице сундука приказывали устранить беспорядок, а потом ее оставляли без обеда или ужина. В первую же сионскую неделю сестра Эдвижиш обыскала мой сундучок и нашла блокнот, запрятанный в белье. Сестра быстро пролиставла страницы, пробежала глазами список португальских слов и остановилась на английских словах. Ее белесые брови сошлись над переносицей.

– Что это, Мариа даш Дориш? – спросила она.

– Английские слова, сестра. – Я боялась, что она отнимет блокнот, но в то же время мне льстило, что я знаю что-то, чего не знает монахиня. – Моя хозяйка говорила по-английски. И меня учила.

Голубые глаза монахини изучали меня, и я не могла разобрать, что в ее взгляде – подозрительность или некоторое уважение.

– Любишь учить языки? – спросила Эдвижиш.

– Да, сестра.

– Мы преподаем ученицам латынь. В каждом семестре уроки разрешено посещать и кому-нибудь из помощниц, если у девушек хорошие способности и в будущем они смогут принять обет.

Я кивнула. Если я и выглядела воодушевленной, то не только из опасения, что сестра конфискует мой блокнот, но и потому, что немногие латинские слова, которые я успела услышать в первую неделю, казались мне странно прекрасными. Сестра бросила книжку в мой сундук и повернулась к следующему.

Каждое утро сестра Эдвижиш свистела в свисток, шагая по узким рядам между кроватями.

– *Salvator mundi*, – говорила она, а нам полагалось отвечать:

– *Salva nos*.

Те, кто отвечал недостаточно быстро, оставались без завтрака. Так нас наказывали в «Сионе» – лишали еды за небольшие проступки и били тростью за прегрешения посерьезнее.

Мне нравились строгие порядки, форменные платья, наши утренние молитвы и обыкновение склонять голову при появлении матери-настоятельницы. Мне нравилась предсказуемость здешней жизни. Один день не отличался от другого. Мессы были скучными, но псалмы на латыни! От нашего пения, казалось, подрагивали стены часовни, и я чувствовала себя птицей, поющей в стае.

Чего я не могла простить «Сиону», так это того, что я редко видела Грасу. Я подносила к носу ее юбки, белье и блузы, надеясь уловить ее запах. По засохшей корочке соплей на рукавах ее ночной сорочки я понимала, что Граса плакала. Многие сионские помощницы плакали в подушки. Наши кровати стояли близко, и девочки иногда дотягивались одна до другой и держались за руки. В иные ночи я слышала скрип пружин и влажное чмоканье. В такие минуты я болезненно тосковала по Грасе и гадала, тоскует ли она по мне. Я представляла себе, как она спит в дортуаре для учениц, а потом представляла себе, как она не спит, как идет через всю спальню к кровати другой девочки. Всякий раз внутри у меня завязывался тугой узел и я не могла сдержать слез.

Мы переодевались под одеялом и мылись в ночных рубашках, засовывая руку под мокрую ткань, чтобы намылиться. Краны

плевались холодной водой. Лишь потом, когда мы вытирались, я обращала внимание, что сквозь прилипшие к телам ночные сорочки можно различить темные заплатки волос и точки сосков. Многие девочки в моем дортуаре любили поговорить о том, как они умеют «таять», как могут помочь «растаять» другим. Довольно скоро я поняла, что это за таяние, и попробовала как-то ночью сотворить такое с собой, под одеялом, в темной интимности. Какое чудо – наши тела! Как я гордилась, что умею доставлять себе подобные ощущения. И какую странную неловкость чувствовала по утрам, уверенная, что девочки на соседних с моей кроватях знали, что я творю под одеялом. Своим открытием мне хотелось поделиться только с Грасой. Знает ли она, что значит растаять? А может, она тоже делает это?

Всю свою жизнь Граса заставляла людей не замечать, какого она маленького роста и какой у нее вздернутый нос, не обращать внимания на отсутствие музыкального и танцевального образования, на ее акцент, вспышки гнева и дурные привычки. В «Сионе» она каким-то образом сумела заставить этих снобок закрыть глаза на ее происхождение, заставила их искать ее дружбы. Однажды я шла через вестибюль школы и увидела Грасу во внутреннем дворике – вокруг нее собралась группа девочек. Граса говорила, а они слушали. Она смеялась – и они смеялись. Ближе всего к ней сидела – и громче всех смеялась – блондинка с толстыми ногами. Мне захотелось ворваться во дворик и оттащить девчонку за желтые лохмы.

По воскресеньям помощницы и ученицы ходили на общие мессы. Мы сидели в разных местах церковного зала, но входили и выходили вместе, ровными рядами. В одно сентябрьское воскресенье, когда мы уже выходили из церкви, белокурая подружка Грасы поравнялась со мной. Я хотела ускорить шаги, но она схватила меня за руку. Если бы сестры поймали нас, нас обеих отколотили бы тростью. Крепко держа меня пальцами влажными и жесткими, как очищенные морковки, девочка сунула мне в ладонь клочок бумаги. Через полчаса, уединившись в кабинке туалета, где никто не мог меня видеть, я развернула записку и узнала округлый, в завитушках почерк Грасы. *Молитва в пять*, гласила записка – по-английски.

Я чуть не потеряла сознание прямо там, в деревянной кабинке туалета. Граса не только ищет встречи со мной – она делает это на языке, который большинство сионских девочек, да и монахинь, не

сможет расшифровать. С того дня ходульный английский стал нашим кодом. И до самого нашего приезда в Лос-Анджелес мы думали, что никто не сумеет его разгадать.

Единственной общей зоной в «Сионе» была часовня – предполагалось, что ученицы и помощницы ежедневно уединяются здесь на полчаса, чтобы помолиться. В пять часов пополудни мы с Грасой встретились там. Ее карие глаза опухли, а щеки запали. Ее явно за что-то наказали, лишив еды, но за что?

– Мы уезжаем, – объявила она.

– Кто – «мы»? – спросила я, во рту у меня вдруг пересохло. *Граса хочет сбежать с той белокурой девочкой и решила сказать об этом мне, чтобы я не удивлялась, когда они исчезнут.*

– Мы с тобой. – Граса сплела свои пальцы с моими. От стирки ее вещей руки у меня стали как апельсиновая корка. – Ты не прислуга, Дор! А я не монахиня. Я артистка. Я умру, если тут останусь!

Я кивнула. Неужели я и вправду думала, что мы с Грасой сумеем пробраться мимо всех бдительных монахинь, перелезть через кирпичную ограду, сориентироваться в сосновом лесу и каким-нибудь чудом добраться до Рио невредимыми? Как сказала бы Нена, битой собаке поводок не нужен. «Сион» как будто связал меня по рукам и ногам, но я не видела ничего страшного в том, чтобы каждый день встречаться с Грасой в часовне и обсуждать план побега. Даже если бы сестры застали нас не за молитвой, а за шушуканьем, даже если бы меня лишили еды на весь следующий год, мне было наплевать. Главное – Граса из всех выбрала меня.

С того дня мы ежедневно вместе преклоняли колени в часовне и говорили в сложенные лодочкой ладони, делая вид, будто молимся. Чем дальше, тем больше наш предполагаемый побег обретал реальные черты и тем отчетливее я понимала, в какую беду мы попадем, если нас поймают. Хотя по-настоящему в беде оказалась бы только я. Барышню из хорошей семьи лишат еды или отхлещут палкой по рукам, а вот строптивую помощницу выкинут на улицу, не слушая протестов сеньора Пиментела. А Граса меж тем рассуждала, как добраться до Рио и найти радиостанцию «Майринк», а также какие песни мы будем петь, когда доберемся. Владелец радиостанции услышит наши голоса и немедленно пригласит нас исполнять

рекламные песенки, утверждала Граса. Стоит нам попасть туда, и дело в шляпе. И скоро наши голоса будут звучать в эфире каждый день.

Именно я возвращала нас из страны грез в «Сион», я говорила о кухонной двери и о продуктах, которые привозят каждый день. Сможем ли мы спрятаться в сундуке? Хватит ли присылаемых сеньором Пиментелом карманных денег, чтобы подкупить молочника, который мог бы увезти нас в своей запряженной ослом тележке? Сумеем ли мы украсть у садовника лестницу и перелезть через ограду? Получится ли оставлять хлеб от обеда и прятать его в пальто, чтобы взять в дорогу? Я снова и снова повторяла это, а Граса зевала в сложенные руки.

– Что будем петь – танго или фаду? – спрашивала она. – Фаду, наверное, скучновато. Надо что-нибудь поживее.

– Ты меня слушаешь?

– Да, но я хочу обсудить кое-что поважнее.

– А то, как мы выберемся отсюда – это не важно?

– Ты как одна из этих девиц, которые только и думают, больно ли рожать. А я думаю о том, что будет после. Я думаю, как позаботиться о малыше, Малышка.

– Очень смешно.

– А я не смеюсь. Мы можем сколько угодно переливать из пустого в порожнее насчет замков, взяток и заборов, но нам нужно быть готовыми, вот что по-настоящему важно. В один прекрасный день кто-нибудь из сестер приляжет вздремнуть в неурочное время, или дверь останется открытой, или садовник забудет запереть ворота, и тут нам придется действовать быстро. Если шанс постучится к нам в дверь, он не будет долго ждать ответа.

– А если не постучится? Если нам придется создавать его самим?

Граса покосилась на монахиню у задней стены церкви, потом слегка нагнулась ко мне и поцеловала костяшки моих пальцев.

– Нам здесь не место. Нас ждут большие дела. – Граса коротко глянула на Иисуса, висящего на кресте перед нами: – Даже он это знает.

Прошло несколько недель, и вот однажды Граса почти бегом влетела в часовню. Опускаясь на колени, она уперлась локтем мне в локоть и толкнула мою руку со спинки скамьи.

– Ты слышала, Дор? – шепнула она.

– Что слышала?

Граса трижды тихонько пристукнула ногой по плиткам пола.

– Шанс стучится в дверь. Святые сестры везут нас на экскурсию.

Сестры собирались везти нас в Рио, показать знаменитую статую Христа Искупителя. Еще когда мы с Грасой слушали песни рабочих в Риашу-Доси, власть в стране взял новый президент. Мы были слишком юны, чтобы думать об этом, но взрослые выглядели обеспокоенными. Президента звали Жетулиу Варгас, он проиграл выборы, но сумел собрать вокруг себя друзей-военных, заручился поддержкой среди бразильцев и сместил законно избранного президента. Это была революция, хотя Риашу-Доси, которая находилась слишком далеко от столиц, никак не всколыхнулась. Революция продолжалась всего четыре дня; когда новости добралась до нас, бои в столичных городах уже прекратились, а Жетулиу прочно сидел в президентском кресле.

Все, даже сионские сестры, называли самозваного президента его первым именем, словно он был потерянным в детстве братом или кузенком. Утвердившись в президентском дворце, Жетулиу, чтобы успокоить людей, развернул работы по гражданскому строительству. Одним из его проектов (начатых задолго до того, как Жетулиу пришел к власти, но которые он мудро выдавал за свои) была статуя Христа в тридцать восемь метров высотой, установленная на горе Корковаду возле Рио, в сердце леса Тижука.

Поездку на Корковаду монахини считали очень важной. На такие экскурсии брали только девочек постарше, но и помощницам разрешалось присоединиться к группе. Полюбоваться на Христа Искупителя предстояло семидесяти пяти девочкам, а сопровождать их будут лишь пять монахинь.

– Это наш шанс, – объявила Граса, чуть не подвизгивая. – Мы попадем в Рио. Нас туда отвезут.

– Нас отвезут в лес, на вершину горы. До Рио оттуда далеко, – напомнила я.

– Но ближе, чем отсюда.

– И как мы оттуда спустимся? Пешком? Это же не один день идти. И что мы есть будем?

– Ну хватит, – зашипела Граса. – Ты все усложняешь. Мы поедем с монахинями, а потом удерем от них. И все.

Я рассмеялась.

Граса подняла взгляд на Христа и так сжала руки, что костяшки побелели.

– Думаешь, ты очень умная? – сказала она. – Ну-ну. Тебе не хватило ума выбраться даже из Риашу-Доси. Чтобы вытащить нас оттуда, мне пришлось чуть не утопить нас обеих. Так что кончай смотреть на меня как на безмозглую и цепляться к мелочам. Твое дело – выполнять приказы, и я нас отсюда вытащу.

– Мое дело – выполнять приказы? – уточнила я.

– Вот именно.

– Я здесь благодаря Нене, а не тебе, – сказала я. – Я сейчас в этой церкви только потому, что Нена пообещала уйти от сеньора Пиментела, если меня не отправят в школу вместе с тобой. Твоему *Papai* наплевать, что ты уехала за две тысячи километров. Он и не заметил, что тебя больше нет в доме. Но повариху он терять не захотел.

Граса, оцепенев, смотрела на меня. Потом встала, демонстративно перекрестилась и вышла из церкви.

На следующий день она не появилась на пятичасовой молитве, и на следующий тоже, и на следующий. Я в одиночестве преклоняла колени, голова у меня кружилась от бессонных ночей, проходивших в мыслях о Грасе: правда ли она затеяла бежать, а если да, то возьмет ли меня с собой? В день поездки к Искупителю я едва могла донести ложку жидкой овсянки до рта, так сильно у меня тряслись руки. Перед отъездом из «Сиона» я прихватила из сундука свою записную книжку и сунула в карман юбки – единственная вещь, которую я ни за что бы не бросила.

По горе Корковаду пролежала электрическая железная дорога, поезда доставляли посетителей вверх и вниз по крутому склону. Мы ехали в разных вагонах: ученицы и сестры в первых, помощницы – в конце. Поезд, кренясь, тащился по спирали через густые заросли леса Тижука. Здесь каждый год терялись туристы. Многие умирали.

Поднявшись наверх, мы увидели далеко внизу Рио. Полукруг залива Гуанабара, белые точки пассажирских кораблей, вползающих в

порт, округлость купола Сената, посверкивание бронзы на дворца Катете. Вспотевшие ладони скользили по поручням. Я ехала в последнем вагоне и, когда поезд делал особо крутой вираж, видела кондуктора. Рядом с ним, безмятежно глядя на горы, сидела Граса.

У постамента статуи сестры заставили нас преклонить колени. Искупитель, из белого мыльного камня, был такой невероятной высоты, что у меня кружилась голова, когда я смотрела ему в лицо. В его такое спокойное лицо. После молитвы нам дали полчаса – побродить вокруг статуи.

Я видела, что возле Грасы вертится Роза, та блондинка. Они о чем-то разговаривали. Граса кивала с серьезным выражением на лице. Внутри у меня все окаменело. *Они сейчас сбегут без меня.* Ни минуты не колеблясь, я заозиралась в поисках кого-нибудь из сестер.

Я готова была донести. Пусть лучше Граса сидит в «Сионе» со мной, чем разгуливает по Рио без меня. Не успела я найти кого-нибудь из монахинь, как откуда-то сбоку вывернула Граса.

– Готова? – спросила она по-английски.

Еще в «Сионе» Граса сторговалась со своей блондинистой подружкой: за три шелковые сорочки та спрячет в своей школьной сумке пузырек касторки и перед посадкой в поезд выпьет половину. И тут блондинка, подвывая, согнулась пополам. Ее вырвало прямо у подножия статуи. Все пять сестер, отчаянно вереща в свистки, бросились к ней.

– Давай! – Граса схватила меня за руку.

И мы вместе побежали к пустому поезду.

К электрическим проводам было подсоединено хитроумное устройство, которое уравнивало поднимающиеся и опускающиеся вагоны. И пока одни вагоны поднимались на гору, другие ползли вниз, с пассажирами или пустые. Кондуктор нас не заметил; мы прошмыгнули в последний вагон и скорчились за деревянными скамейками.

Небольшой запас карманных денег из тех, что присылал отец, Граса сунула в лифчик. А под форменной рубашкой с эмблемой Сионской школы у нее оказалась еще одна блуза. На полпути с горы Граса расстегнула школьную блузку и выбросила в лес. Мне она велела надеть форменную рубашку наизнанку, чтобы труднее было опознать воспитанницу «Сиона».

Я неуклюже возилась с пуговицами – пальцы тряслись, дыхание перехватывало, ноги уже горели от сидения на корточках.

– Дай-ка, – вздохнула Граса и начала расстегивать мою рубашку.

Поезд застонал. Нас мотнуло назад, потом вперед. Быстрые пальцы Грасы уверенно делали свое дело. Она сосредоточенно прикусила нижнюю губу. Когда она закончила, блуза на мне распахнулась. Граса мягко потянула ее с моих плеч. И улыбнулась.

В ту минуту существовали только Граса и я. Мы были первыми и последними во всей вселенной. Конечно, Граса станет звездой. Конечно, она отыщет свой путь в Рио. Конечно, она сделает невозможное возможным. И почему меня не захватила эта безудержная вера в себя?

Я вывернула блузку наизнанку, надела. Поезд громыхал, съезжая по крутому склону. Мы с Грасой сидели, крепко обнявшись. По обе стороны от нас расстилались джунгли. Впереди раскинулся Рио-де-Жанейро, столица всей Бразилии. Нам было пятнадцать лет – беглянки, которые никогда не жили в большом городе. Мы никогда не оставались без защиты взрослых. Боялась ли я? Сомневалась ли? Не помню. Помню только тепло Грасы рядом, помню, что думала о Риашу-Доси, о тростнике, о коршунах, описывающих круги над горящими полями, выжидающих, когда мыши, змеи или еще кто живой выскочит из зарослей, спасаясь от огня. Птицы камнем бросались вниз и уносились с добычей. Они не убивали свою жертву сразу, сначала взмывали в вышину. Последние мгновения жизни бедных зверьков проходили в воздухе, и такая знакомая земля вдруг открывалась перед ними с высоты. Как это, наверное, было страшно! Как чудесно! Тогда, в поезде, я чувствовала себя таким зверьком: меня схватило нечто большее, более мудрое и сильное, чем я сама, и понесло навстречу судьбе, – да, эта судьба пугала, но теперь, когда я увидела мир с высоты, неужели я смогла бы вернуться вниз и снова зажить в грязи?

Воздух, которым ты дышишь

Здесь я, любовь моя.
Рядом с тобой всегда.
Ужин тебе добуду,
Постель тебе постелю.
Вот и подушку тебе
Под голову положу.

Но я тебе безразлична.
Ты меня и не видишь.
Мало кто замечает
Воздух, которым дышит.

Зачем тебе мои чувства?
Все двери тебе открыты,
На ножке чулок шелковистый,
В ванну душистая пена налита.

Но если уйду я, ты
Шагов моих не услышишь.
Мало кто замечает
Воздух, которым дышит.

Мы часто не замечаем
Того, что даром дается.
А я не смогу отпустить тебя,
Мне без тебя не живется.

И я даю тебе клятву,
Слово мое ты услышишь:
Ты меня не заметишь.
Я – воздух, которым ты дышишь.

* * *

Ее наряды занимают в моем доме целую комнату. Меня все еще удивляет тяжесть этих платьев, я теперь слаба, и мне больше не по силам извлекать их из чехлов. Все эти блески и бусины весят – какие шесть, а какие и двенадцать килограммов. Поразительно, как Граса умудрялась танцевать в них, а уж каково ей было часами стоять во всем этом на съемочной площадке. Сзади ее подпирала гладильная доска, чтобы не было соблазна присесть и не дай бог испортить костюм.

Но удивительны не сами костюмы, а то, что они не поглотили Грасу. Любая другая женщина потерялась бы среди всех этих блесков и камней, но на Софии Салвадор они выглядели естественными, даже необходимыми – сияющий панцирь, который защищает все то ранимое, что находится под ним.

Быть женщиной означает всегда играть спектакль. Лишь очень старым и очень молодым позволено уклоняться от него, все остальные должны исполнять свою роль энергично, однако без видимых усилий. Наши тела должны соответствовать требованиям времени: мы вынуждены искривлять их, затягивать, подкрашивать или не подкрашивать лица, закрывать, открывать, брызгать духами, красить волосы, одно ужимать, другое выпячивать, срезать ножницами, отшелушивать кожу, увлажнять кожу, кормить или не кормить себя и так далее и так далее – до тех пор, пока одежда не станет выглядеть частью нас. Всегда и везде на тебя смотрят, тебя оценивают – идешь ли ты по улице, едешь ли в автобусе, сидишь ли за рулем машины, ешь ли что-нибудь в кафе. Улыбайся, но не слишком широко. Будь любезной, но не переусердствуй. Уступай и льсти, но не навязывайся и никогда ничего не делай для своего собственного удовольствия. Удовольствия – только тайком.

Любое отклонение от роли чревато катастрофой: откажись играть – и ты уже пытаешься быть мужчиной; ты сука; ты стерва; ты жалкая; ты лесбиянка или, как это называлось в мое время, «кобелиха». Исполняй свою роль слишком увлеченно – и вот ты уже шлюха, как моя мать. Обе крайности ведут к побоям, испорченной репутации, а то тебя и вовсе убьют и бросят в сточную канаву. Если вы считаете, что я

преувеличиваю или застряла в прошлом, а времена изменились, то слушайте меня внимательно: если ты никто в этом мире, надо создать свой собственный, надо адаптироваться к окружающей среде и научиться отражать бесчисленные угрозы. И то, насколько женщина приятна, – ее улыбка, грация, жизнерадостность, ее любезность, надушенное тело и тщательно подкрашенное лицо – не глупое следствие моды или вкусов, это тактика выживания. Роли меняют нас, даже уродуют, но благодаря им мы живы.

Когда я вспоминаю свои первые месяцы в Рио, в районе Лапа, то поражаюсь, как мы с Грасой не угодили, бездыханные, в лагуну Родригу-ди-Фрейташ. Вы можете сказать, что нам просто повезло, но я предпочитаю думать, что нас уберегло то, что таких, как мы, были тьмы и тьмы. Когда цикады каждые семнадцать лет покидают безопасные укрытия в земле и выползают на свет, у них нет ни жал, ни шипов, ни яда, чтобы защититься от хищников. Их единственное спасение – многочисленность. Так обстояли дела и в Лапе в 1935 году: девушки были везде. Продавщицы, проститутки, уборщицы, девочки на посылках, разносчицы папирос и леденцов, танцовщицы в ревю, девушки-бабочки и девушки вроде нас с Грасой, которые отказывались быть кем-то, кроме самих себя. Последнее было, конечно, самым опасным.

Исчезнуть оказалось легко. В те дни телефонная связь была роскошью. Даже автомобили встречались нечасто. Чтобы уведомить полицию об исчезновении человека, кто-нибудь должен был сбегать в участок и все рассказать. Вероятно, сионские сестры далеко не сразу обнаружили наше с Грасой бегство, а потом еще тряслись вниз по Корковаду на поезде, чтобы уведомить власти. Сеньору Пиментелу об исчезновении Грасы сообщили, думается, на следующий день телеграммой.

До Риашу-Доси было две тысячи триста километров на север – считай, другая страна. А что знал владелец отдаленной сахарной плантации о прихотливом устройстве столицы, о десятках жилых районов, о ленивой полиции, старательной лишь на взятки? К тому же президента Жетулиу любили далеко не все бразильцы: в Сан-Паулу разворачивался кровавый мятеж, коммунисты пытались поднять восстание в четырех главных городах страны. У полицейских, верных Жетулиу, не было ни людских ресурсов, ни желания искать дочку

мелкого плантатора. А если не искали Грасу, то меня – и подавно. Я-то не была ничьей дочкой. Ничьей наследницей. Как исчезнуть, если тебя и так нет?

Потом нас все-таки нашли, но к тому времени мы с Грасой уже изменились. Точнее, нас изменила Лапа. Милая, декадентская, прогнившая Лапа! Район музыкантов и гангстеров, туристов, карманников и девушек, здесь были целые толпы девушек, большинство – как мы с Грасой, которых до боли внутри переполняли надежды и наивные иллюзии. Девушек вроде нас Лапа или убивала, или спасала, другого было не дано.

Туристические проспекты рекламировали Рио-де-Жанейро как «столицу роскоши». Лапа в этих рекламах не упоминалась, но множество приезжих – особенно мужчин – быстро протапывали сюда дорожку. В лабиринтах кабаре и дешевых дансингов можно было увидеть сенаторов, желавших послушать иностранные джаз-бэнды; красивых молодых самцов, мимолетно распахивавших пиджаки, чтобы показать склянки с кокаином – «Сахарная пудра!» – проходим; юных мятежниц из лучших семей Рио – вцепившись в руку спутника, девушки громко смеялись, стараясь скрыть страх под маской легкомыслия. В Лапе можно было снять комнатушку на час в клоповнике, соседнюю дверь с которым, сияющую точно зеркало, открывал швейцар в белых перчатках; там рестораны, где подавали говядину «веллингтон», соседствовали с забегаловками с липкими столами и пятнами крови на полу; там рядом с жалкими пансионатами-муравейниками располагались отели с электрическим освещением, лифтами и решетками – в таких апартаментах, как в роскошной тюрьме, обитал сонм содержанок. Женщины сидели в номерах и ждали, пока их богатые патроны – и мужчины, и женщины – не навестят их, с деликатесами и дарами из универмагов.

В Лапе гремела самба, под ритм которой подстраивалось сердце, гудели гулкие барабаны кандомбле^[18]. Если хочешь продолжать дышать, даже не пытайся сопротивляться им, ибо ритмы эти были религией. По ночам рядом с разодетой элитой Рио по переулкам Лапы шатались пугливые иностранцы, желавшие хоть на время сбежать из своей привилегированной жизни, делать что захочется и как захочется, и всегда расплачиваясь за это. В Лапе не было ничего бесплатного, за исключением музыки, но в конце концов и музыка стала другой.

Мы с Грасой тоже изменились. В Лапе мы, можно сказать, лишились невинности. Под невинностью я понимаю не какое-нибудь глупое представление о чистоте – расставание с подобной невинностью, в зависимости от того, что вы вкладываете в это понятие, стремительно, как пощечина. Гораздо болезненнее расставание с иной невинностью – с верой, что питавшие тебя в детстве мечты достижимы, с верой в то, что труд способен компенсировать недостаток таланта, с верой, что жизнь распределяет награды и испытания по справедливости. В конце концов, что есть справедливость, как не иллюзия?

Иллюзией, мой друг, поет Винисиус в одной из наших песен, нам стоит дорожить. Изгнание и любовь она поможет пережить.

Воздух, которым ты дышишь

Наш первый день в Лапе завершился в пансионе, которым заправляла матрона с квадратной челюстью, она походила на одну из суровых сионских монахинь, только без облачения. Наверное, поэтому мы и выбрали ее заведение: оно показалось нам самым безопасным.

– Платить вовремя, или я сдам вашу комнату кому-нибудь еще, – рывкнула хозяйка. – И чтоб никаких мужчин! У меня приличное заведение.

Граса кивнула, и я взяла латунный ключ. Я понятия не имела, как и чем мы будем платить хозяйке в конце недели, но молча последовала за Грасой вверх по лестнице. В нашей комнате имелись продавленная кровать, ржавый умывальник и темное, цвета несчастья, пятно на полу. Граса осторожно присела на кровать, словно боясь, что та тут же обрушится. Она понюхала воздух, покрывало и вскочила:

– От простыней пахнет людьми!

– Ну хоть не собаками, – сказала я, пытаюсь приободрить ее.

Граса закрыла лицо руками.

Я молчала, понимая, что лезть с утешениями не стоит. Мы обе вымотались. Доехав на туристском такси от Корковаду до «Майринка» – единственной в городе радиостанции, – мы остаток дня провели на ногах, у дверей студии. Мы пели всем входящим и выходящим. Служащие «Майринка» улыбались нам. Гладили нас по волосам. Один мужчина дал нам монетку, которую Граса, разозлившись, швырнула в решетку уличного стока – поступок, о котором я вечером пожалела. С косами, в простых белых блузках и сионских юбках – у меня коричневая, у Грасы синяя – мы казались теми, кем и были (во всяком случае, до побега), обычными школьницами. Никто не принимал нас всерьез, но, как я поняла позже, мужчины опасались делать нам предложения, потому что мы выглядели домашними девочками. К вечеру мы с Грасой уже умирали от голода. В горле саднило, ноги ныли. Я была втайне благодарна сторожу, который в конце концов шуганул нас от дверей.

На остатки денег (за такси, как потом обнаружилось, мы сильно переплатили) я купила нам бутылку кока-колы и жареный пирог с

мясом – ни в «Сионе», ни в Риашу-Доси нам такое есть не позволяли. Газировка была теплой и приторно-сладкой. Пирог истекал маслом.

– Может, вернемся в школу? – спросила я, мечтая о чистой сионской постели.

– Ни за что. – Граса скривилась.

И мы начали нашу жизнь в Лапе.

Проснувшись на следующее утро, я увидела, что Граса сидит на кровати согнувшись. Я подумала, что ее тошнит или она, может быть, плачет, как вдруг услышала треск. На коленях у Грасы лежала ее школьная юбка. Металлическим концом крестика Граса отпарывала от юбки эмблему сионской школы.

– Нас будут искать, – объяснила она. – Чем скорее мы избавимся от всего школьного, тем лучше.

Закончив, она полюбовалась на плоды своего труда, после чего зажгла спичку и подпалила эмблему, а почерневшие останки, а заодно и крест, выбросила в проулок под окном. Потом поплескала водой в лицо, заплела блестящие каштановые волосы в косу и оделась.

– Я в туалет, – объявила она. – А потом к «Майринку».

Я с трудом продрала глаза. Желудок ныл. Даже сионский завтрак – жидкая овсянка и сваренные вкрутую яйца – казался мне теперь божественным. Выходя, Граса громко хлопнула дверью. Я услышала, как она целеустремленно направляется к туалету, и поняла, что ждать меня она не намерена. Если я не потороплюсь, она отправится к «Майринку» одна. Я вылезла из кровати и умылась, вытершись вместо полотенца подолом юбки.

В «Майринк» мы пошли вчерашним путем, чтобы не заблудиться. Внезапно Граса остановилась:

– Есть хочу.

– Я тоже.

– Мне надо позавтракать. – Граса нетерпеливо посмотрела на меня. – Я же не могу весь день петь на пустой желудок.

– Мы все наши мильрейсы потратили вчера, на такси и ужин, – сказала я; Граса в замешательстве смотрела на меня. – Чтобы купить еды, нужны деньги, – прибавила я.

Люди проталкивались мимо, шагая по кривому тротуару. С резким скрежетом металла о металл парикмахер и владелец кафе поднимали ставни своих заведений. Какая-то старуха замывала блевотину на

ступенях. Она глянула на нас и перевернула ведро. Вода ударилась о камень и плеснула нам на ноги. Граса отпрыгнула и схватила меня за руку, словно боясь, что ее унесет потоком.

– Но я умираю от голода, Дор, – сказала она, как будто это могло что-то изменить, как будто я должна была раздобыть еду.

– Нам надо найти работу, – сказала я.

– На радио?

Я покачала головой.

– Когда-нибудь – да, может, и скоро. Но прямо сейчас надо найти любую работу. Чтобы было на что жить.

– Чтобы было на что жить, – повторила Граса. – А когда нам будет на что жить, я стану петь.

– Мы станем, – поправила я.

Выпрашивая работу в эти первые, жалкие, дни, мы с Грасой обнаружили, что акцент моментально выдает в нас уроженок северо-востока, что в глазах местных делало нас – даже Грасу с ее светлой кожей и миловидностью – людьми второго сорта. Еще мы обнаружили, что Лапа – это не один, а два района, каждый со своими обитателями, обычаями и законами. Была дневная Лапа, с бесчисленными пекарнями, аптеками, парикмахерскими, торговцами, цветочницами, мойщиками окон, мальчишками-чистильщиками обуви и множеством мелких мастерских, производивших дешевые безделушки, которые потом сбывали в порту туристам-иностранцам. Это была Лапа жуликоватых деляг. Везде куда ни глянь – сделки, торговля и сплетни. И все они обитали в Лапе. А ночью приходили чужаки. Сапожные мастерские превращались в бары, кафе – в дансинги. На улицах снова появлялись газетчики, но теперь они продавали папиросы или эфир в стеклянных трубочках. Девушки с покрашенными губами слонялись у дверей. На перекрестках кучковались опасного вида типы.

В сумерки нашего второго дня скитаний, как раз когда дневная Лапа уступала место Лапе ночной, мы с Грасой возвращались в пансион; работы мы не нашли и едва не падали в обморок от голода.

– О, бэби, верни мое сердце! – крикнул Грасе какой-то хлыщ с галстуком-шнурком.

Граса упорно смотрела в тротуар. Приятель наглеца коснулся шляпы и послал воздушный поцелуй. Мы были не в Риашу-Доси, где

мужчинам запрещалось глазеть на хозяйскую дочку под страхом увольнения.

– Эй, дылда! – позвал второй. Я оглянулась. – Да, ты! – не унимался он. – Ни хрена ж у тебя ляжки длинные! Ну и *lapas*!

На мне была все та же юбка, в которой я приехала в монастырскую школу год назад и которая ко дню нашего побега едва прикрывала мои колени. А у Грасы юбка подчеркивала тонкую талию и полные бедра. Под белой блузкой отчетливо виднелась кружевная нижняя сорочкой, натянувшаяся на налитой груди.

– Есть хотите, девчонки? – спросил мужчина в шляпе. – Купить вам подхарчиться?

Граса глянула на меня. Я взяла ее под руку и зашагала быстрее, почти волоча ее за собой. Эти парни не безобидны, мы обе это понимали, и если не сумеем заплатить за комнатушку, то окажемся на улице, на съедение таким.

Напротив нашего пансиона какой-то мужчина жарил на решетке кукурузу и продавал ее по пять тостао. Граса долго смотрела на огонь, потом зажмурилась, словно вид еды причинял ей боль.

– Я возвращаюсь, – сказала она, не открывая глаз.

– В «Сион»?

Граса нетерпеливо мотнула головой:

– К этим *malandros*^[19]. Скажу, чтобы купили нам поужинать.

– Но они от нас кое-чего захотят.

– Ну и что. – Граса села на ступеньки пансиона. – Я на все согласна.

Граса всегда жила одной минутой – когда она чего-то хотела, то не задумывалась, чем придется заплатить. Я тяжело села рядом с ней.

– Завтра кто-нибудь над нами сжалится. И мы накупим всего-всего. Захочешь – и сможешь съесть хоть целый кусок мяса.

– Хватит, Дор! Мясо у нас будет, только если мы стащим его с лотка, как дворняжки.

Она свесила голову между колен и тихонько завывала. Запахи кукурузы и сливочного масла были все сильнее, у меня скрутило живот. Я прижала ладони к глазам, пытаюсь придумать какой-нибудь план. И тут кто-то пнул мою туфлю.

Перед нами стоял мальчишка. Одежда у него была без прорех, хотя и выглядела не стиранной несколько недель. Кожа на голых,

серых от грязи коленках выглядела словно дубленой. Под мышкой он сжимал ящик для чистки обуви. В другой руке – ногти с траурной каймой – парень держал кукурузный початок.

– Бери, – велел он.

Я поколебалась. Граса подняла глаза, лицо у нее пошло розовыми пятнами, и она выхватила початок у парня. Она быстро обглаживала кукурузу мелкими зубами, и вот уже от половины ничего не осталось. Не дожидаясь, пока она съест все, я вырвала у нее початок и закончила его.

Голод обостряет память. Я все еще помню дымный вкус той кукурузы, помню, какими скользкими от масла стали губы, как крошки застряли между зубов! Граса забрала у меня початок и высосала остатки масла.

– Мы не можем тебе заплатить, – сказала я, вытирая рот рукой.

– Могли бы – сами бы купили, – ответил мальчик. – Я чищу ботинки на углу. Видел сегодня утром, как вы уходили. Новичкам в Лапе нелегко. Особенно богатым.

– Мы не богатые, – сказала я.

Мальчик оглядел нас с головы до ног.

– Тут недавно пропала одна девчонка из хорошей школы. Потерялась в Тижукке несколько дней назад. Отстала от школьной группы. Ее все еще ищут в горах.

– Где ты это слышал? – Граса даже про кукурузу забыла.

– В газетах писали. Я-то сам читать не умею, но ботинки чищу тем, кто умеет.

У меня сдавило грудь, словно кто-то зашил мне легкие. Воздух не мог ни войти, ни выйти.

– Но вас двое, а в газетах пишут только про одну. – Мальчик снова слегка пнул мою туфлю: – Хорошие. Патентованная кожа. Могу их продать, наверняка дадут хорошую цену.

– Мы же не может ходить босиком, – сказала Граса.

Мальчик улыбнулся, обнажив желтоватые зубы. Из кармана рубашки у него высовывалась пачка папирос.

– Купите какие-нибудь сандалии, подешевле. Вам ведь надо платить хозяйке, да? Она у вас добрая, как бешеная собака.

Граса рассмеялась.

– И вот еще что. – Мальчик понизил голос: – Эта одежда ваша. Вы похожи на девиц, которых мама и папа будут искать с полицией, а полицию никто не любит. Поняли намек? Барахло свое тоже продайте. Тут есть места, где девчонкам платят за то, чтобы они наряжались с вывертом. – Он пошевелил бровями. – Туда ночью ходят богатые извращенцы. Я знаю один дом, где могут купить школьные шмотки. Хотите – отведу вас туда завтра утром.

– Зачем тебе это? – спросила я.

Мальчик удивился:

– Вы мне дадите процент. И за кукурузу расплатитесь.

– Да ты делец, – заметила я.

Мальчик улыбнулся:

– В Лапе, *querida*, по-другому не проживешь. Ну что, по рукам?

Мы с Грасой переглянулись. Это было единственное за весь день предложение. Граса кивнула мне, я – ей, словно мы заключали сделку друг с другом. На следующее утро мы встретились с мальчиком и пошли продавать свое последнее имущество.

В дешевых сандалиях и поношенных платьях мы с Грасой смешались с дневной Лапой и начали изучать ее. Мы брались за случайную работу – подметали ступеньки, лущили кукурузу для продавца, который сидел на нашей улице, таскали воду от колонки для нашей хозяйки, ощипывали кур в маленькой забегаловке, мыли посуду, драили окна. Точнее, делала все это я, а Граса топталась у меня за спиной, ноя, что метла тяжелая, куры воняют, вода в лохани слишком горячая, а ведра не поднять. И все же каждое утро мы пускались исследовать Лапу – ее улицы, проулки, ее ритмы.

На Беку-дос-Кармелита обитали и работали высокомерные француженки. (В те дни все французское считалось первоклассным.) На rua Жоаким Силва можно было встретить полек – светловолосых, бледных, вечно надутых. (Я бы, наверное, тоже дулась, если бы меня считали вторым сортом по сравнению с француженками.) Местные девицы легкого поведения работали на rua Мораис-и-Вали. На границах Лапы, возле Сената, дворца Катете и Палаты представителей, улицы были широкими, тротуары ровными, а магазины получше. Там же располагались и лучшие кабаре Лапы, с навесами, электрическими гирляндами и кассами, из окошечек которых выглядывали надменные девицы. В кабаре давали второразрядные водевили, привезенные из

США, и играли иностранные бэнды, потому что все, что делалось вне Бразилии, считалось шикарным. За настоящей музыкой надо было рискнуть и углубиться в Лапу.

До Лапы мы с Грасой не знали, что такое самба. В то время танго было так популярно, что бразильские певцы выдавали публике собственные версии известных мелодий, хотя их испанский и звучал с диковатым акцентом. В музыке Лапы не было напряжения и резких тонов, свойственных танго. В окно нашего пансиона вливались звуки гитар, металлический перезвон колокольчиков агого, стоны куики. Были и самодельные инструменты: бобы в консервной банке, пустые тыквы; кто-то возил вилкой по терке, кто-то встряхивал спичечные коробки. Это называлось батукада – когда звуки, сами по себе обычные, собирают в ансамбль и они становятся особыми. Батукада двигалась, как стая рыб – ее участники скользили по мелодии синхронно: то вместе совершали рывок вперед, то, замедляясь, выстраивались вереницей.

Швейцары, посыльные, официанты, продавцы кокаина, уличные оборванцы, парикмахеры и бог знает кто еще собирались в конце дня и играли друг перед другом, а вся Лапа слушала. Это были не бездумные глупые *marchinhas*, которые потом «Одеон» и «Виктор» штамповали каждый год во время карнавала. Самба никогда не была вся только о счастье.

Пою, чтоб отыскать тебя.
И пусть мой голос прилетит
Через твое окно
К твоей постели,
Мои слова тебя коснутся там, где мне коснуться не дано.

Каждую ночь я лежала, вымотанная до предела, рядом с Грасой, чувствуя ее дыхание на своей шее, и слушала эти мужские жалобы. Я слушала, и у меня внутри рождалось скользко-неустойчивое чувство, словно во мне что-то пролилось.

Первые месяцы в Лапе прошли для меня как в раю. Каждую ночь мы с Грасой сворачивались на продавленной кровати и смеялись,

вспоминая дневные приключения. Мы научились распределять наш нищенский заработок, торговаться, узнали, как можно вымыться, не имея ванны. Мы научились сквернословить. *Porra, boceta, piroca*^[20], *мудак, жопа* и другие, куда более сочные словечки мы произносили с наслаждением. Мы изучали язык Лапы. Ноготряс – танцор, копыта – обувь, бататас – лучше не сыщешь. Мы говорили не «до свидания», а «ну, покеда». Друзей и товарищей по работе мы называли *nêgo* или *nêga*^[21]. К владельцу лавочки на углу, к мяснику, к вагоновожатому мы обращались *querido* и всякий раз хихикали – нас приводило в восторг, что мы называем совершенно незнакомых мужчин ласковым словом, каким жене должно называть мужа. И все эти слова я записывала в книжечку – ту самую, что когда-то подарила мне сеньора, я составляла списки новых слов, чувств и запахов, заполняя ими страницу за страницей.

В эти недели мы с Грасой были, как говорится, одним целым. Мы больше не были Хозяйской Дочкой и Ослицей. Не были Ученицей Сионской Школы и Помощницей. Мы наконец стали просто Грасой и Дориш.

Много лет спустя Граса говорила об этом времени как о самом тяжелом в своей жизни. Каждый раз я удивлялась ее словам. Да, мы были бедны как церковные мыши и учились выживать в новом месте, но мы были вместе и нас окружала музыка. Напрасно я думала, что Граса удовольствуется этим.

Однажды вечером, когда мы с Грасой закончили сметать волосы в мужской парикмахерской, Граса отказалась от денег, которые предложил нам хозяин.

– Мы возьмем плату стрижкой, – заявила она, плюхаясь в кресло и откидывая косу. – Отрежьте ее. Мне – как у Марлен Дитрих. И ей тоже.

Мы не могли позволить себе ходить в кино, но мы обожали Марлен Дитрих, смотревшую на нас с киноафиш, расклеенных по всей Лапе. Девушки нашего района копировали дерзкую прическу Дитрих: волосы чуть ниже подбородка, шея открыта чужим взглядам. Граса, конечно, не могла остаться в стороне. С короткой стрижкой она стала выглядеть старше и в то же время озорно, точно девочка, задумавшая шалость.

Я в жизни никогда не стриглась. Когда пришла моя очередь садиться в кресло, я вцепилась в свою длинную тяжелую косу и подумала про сеньору Пиментел – как она несколько лет назад расчесывала и укладывала мои «индейские волосы», словно о моих волосах можно заботиться, словно ими можно восхищаться.

– Я не буду стричься.

– Почему? – спросила Граса.

– Не хочу.

Глаза у Грасы сузились:

– Ты выглядишь как коровница. Убожество. Чтобы двигаться дальше, нам надо выглядеть по-другому.

– Куда двигаться?

– Я не собираюсь всю жизнь работать черт знает кем за гроши. Острижем волосы, найдем нормальную работку в каком-нибудь магазине для туристов. При первом же случае купим новые платья – хватит с меня этих мешков из-под картошки – и вернемся в «Майринк». Я сюда приехала не полы мести, я приехала сюда петь. А ты?

Я снова села в кресло. Парикмахер, тихий пожилой человек, не привык к женским волосам. Он несмело взялся за мою косу, достал самые большие ножницы, прохладные лезвия коснулись моей шеи, и с усилием свел лезвия. Коса упала на пол к ногам Грасы – темная обмякшая змея. Я посмотрела в зеркало, откуда на меня таращились черные глаза. Резко очерченный подбородок; скулы, заострившиеся от сидения на хлебе и кофе; шея, длинная и почти прекрасная в своей наготе.

Самыми популярными у туристов безделушками были чайные подносы, конфетные коробки и карандашницы с переливчатыми видами Рио и горы Сахарная Голова. Картинки эти не были нарисованными. Их делали из крыльев бабочек, крылышки приклеивали так, чтобы воспроизвести линию горизонта Рио. Желтые и оранжевые крылышки изображали закаты, голубые – небо, черные – Сахарную Голову, коричневые – песчаные пляжи. Наклеивали их девушки вроде меня и Грасы. Через несколько дней после дебюта наших новых причесок нас приняли в сувенирный магазин в нескольких кварталах от Сената.

В магазине господина Соузы было двадцать девушек, каждой платили сдельно. Некоторым девушкам удавалось наклеивать крылышки удачнее, их работы продавали подороже. Платили здесь гораздо лучше, чем на наших прежних случайных подработках, но работа была скучная. От клея тошнило и кружилась голова. В мастерской было сыро и тесно. Крылышки в моих руках легко рвались. (А за каждое испорченное крылышко полагалось заплатить один винтем!) У Грасы дела шли еще хуже. Крылья были красивыми, и Граса зачарованно рассматривала их в тусклом свете мастерской.

– Посмотри, какой цвет, Дор! – говорила она. – Я даже не знала, что такие бывают.

Граса работала медленно, отчего господин Соуза, владелец магазинчика, раздражался. Он часто наклонялся над нами, когда мы наклеивали крылышки, и делал вид, что проверяет, как мы работаем, но на самом деле щупал нас. В первый раз, почувствовав его пальцы у себя на груди, я чуть не опрокинула клееварку. Вскоре господин Соуза понял, что трогать у меня особо нечего, и переключился на девушек, которых природа одарила щедрее. Граса за работой пела, девушкам ее пение пришлось по душе. В наш первый день Соуза ничего не сказал по этому поводу, но когда на третий день он подошел к Грасе и его жирные пальцы попытались накрыть ее грудь, Граса замолчала. Наступила тишина, все головы повернулись к ним. Соуза отступил.

– Хватит, – объявил он. – Ты пришла сюда работать, а не песни распевать.

В конце рабочего дня мы с Грасой вскакивали, надеясь успеть к «Майринку» до шести вечера, в это время появлялись дикторы вечерних передач. Мы с Грасой пели, встречая их у входа радиостудии. Там подвизались и прочие уличные артисты – комики, другие певцы, был даже чревовещатель, и все надеялись попасть на радио, так что нам с Грасой приходилось спешить, чтобы занять место на углу. Но, прежде чем убежать из магазинчика, надо было дожидаться, пока господин Соуза расплатится: пересчитывает законченные вещицы, а потом опустит монеты в подставленные ладони.

Выплачивая нам жалованье, господин Соуза не соблюдал очередности, но ни одна из нас не хотела оказаться последней. Иногда последней в очереди девушке платили, как всем, и разрешали покинуть бабочковый магазин, но часто на Соузу находило, он

подзывал последнюю девушку и разыгрывал целый спектакль: шарил по карманам в поисках мелочи, а потом объявлял, что денег при нем больше нет. И девушке приходилось тащиться за оплатой в контору. Соуза не выбирал самых хорошеньких – он выбирал самых бессловесных. Я не позволяла себе задумываться, почему господин Соуза, чтобы выдать жалованье, уводит какую-нибудь девушку к себе в контору и закрывает дверь. Я полагала, что ни меня, ни Грасу это не касается. Те девушки были не мы, а мы – не они.

После месяца работы у Соузы мы с Грасой смогли регулярно платить за комнату, покупать нормальную еду и даже сделали первый взнос за два новых платья – с пояском на талии и с рукавами-крылышками, по последней моде. Каждый день после работы, по дороге к «Майринку», мы проходили мимо ателье и любовались на платья в витрине, зная, что скоро мы их наденем.

Однажды вечером господин Соуза расплачивался с девушками, прохаживаясь вдоль столов и проверяя поделки. Мы с Грасой ждали, нетерпеливо ерзая на стульях. И неожиданно без оплаты остались только мы с ней. Другие девушки медлили, делая вид, что пересчитывают деньги или охорашиваются. Им хотелось посмотреть, кому из нас выпадет быть последней.

Господин Соуза пересчитал наши поделки. Повернулся и уронил несколько монет в подставленные ладони Грасы. Меня затошнило. Соуза сунул толстые руки в карманы.

– Ну-ка, ну-ка, – он покачал головой, – как там тебя?

– Дориш.

Соуза кивком указал на дверь конторы. Я глянула на Грасу. Она сжала губы и выпучила глаза, пытаясь предупредить меня. Но у меня выдался особенно урожайный день – я закончила почти двадцать безделушек, а без моего жалованья мы не смогли бы ни расплатиться с квартирной хозяйкой за неделю, ни забрать платья.

Ладонь Соузы легла мне на плечо, подталкивая к конторе. Я спиной чувствовала взгляды девушек – они смотрели на меня так же, как смотрела я, когда Соуза уводил кого-нибудь из них в темную комнатушку, за кривоватую дверь.

Не успели мы дойти до порога, как раздался громкий лязг. Я обернулась. Обернулся и Соуза. Граса бегала от верстака к верстаку, подбрасывая в воздух клееварки и жестянки с крылышками. Клееварки

раскалывались, падая на пол. Некоторые жестянки открывались, не долетев до пола, и из них вырывались облака синих, оранжевых, красных и черных крыльев. Припозднившиеся девицы с визгом и воплями кинулись ловить в подставленные ладони кружившиеся в воздухе крылышки.

– Ты что творишь? – заорал Соуза.

Отпихнув меня, он бросился к Грасе. Раздался перестук каблуков. Девочки-бабочки, жившие в Лапе давно и знавшие, когда пора уносить ноги, торопливо выскакивали за дверь. Соуза схватил Грасу за руку. Граса швырнула жестянку ему в лицо. Соуза выкручивал Грасе запястье, ее качнуло к нему, и Соуза прижал ее спиной к себе. Граса завопила.

Мне казалось, что меня с головой сунули в воду. Звуки долетали откуда-то издалека, искаженные. В глазах все плыло. Мои движения замедлились, словно воздух сгустился и стал жидкостью. Один шаг, потом другой, хватаясь за что попало, двигаться к Соузе, поднять деревянный табурет, занести над головой...

Когда табурет опустился, звуки вернулись. Раздался сытный треск. Соуза рухнул на колени, потом повалился лицом вперед, подмяв под себя Грасу, та завизжала. Я бросила табуретку и помогла Грасе встать.

Соуза лежал перед нами неподвижно, на затылке у него наливалась дуля размером со сливу. Чтобы не упасть, я схватилась за верстак; меня так трясло, что стол под моими руками ходил ходуном.

Граса запустила руку в задний карман Соузы и вытащила ком мятых банкнот, потом выпрямилась, схватила меня за руку и потащила по липкому полу к задней двери.

Мы неслись так, что в глазах все расплывалось. Проскакивали переулки, огибали лотки с фруктами и продавцов кокаина. Я не теряла Грасу из вида только благодаря крыльям бабочек – ее кудри были усыпаны переливчатым голубым и желтым.

Мне казалось, что бежать мы обречены вечно, но вот наконец мы нырнули в темный провал сапожной мастерской. Граса уперлась руками в колени, ловя ртом воздух. Легкие едва не разрывали мне грудную клетку. Бока сводило. В желудке горело, я испугалась, что меня вывернет. Граса смотрела на меня. Я ждала, что она станет

хвалиться, как ловко мы смылись или как быстро она сообразила насчет денег. Но Граса глубоко вдохнула и спросила:

– Ты рехнулась, что ли?

– Нет.

– А вела себя как дура. Ты правда не знаешь, чем он занимается у себя в конторе?

– Я бы ему не далась.

– Значит, ты собиралась отлупить его за закрытыми дверями, а не перед всеми?

Голова болела так, словно это мне врезали табуреткой. Зачем я позволила Соузе подвести себя к двери? Неужели я позволила бы ему хоть пальцем себя тронуть за несколько паршивых мильрейсов? Почему я заступилась за Грасу, а не за себя?

– Я хотела, чтобы он отдал мне мои деньги. За комнату надо платить.

Граса покачала головой:

– Ну, проламывать ему череп было необязательно.

– Думаешь, я проломила ему череп?

– Я тебе что, доктор? Могла бы просто наступить ему на ногу. Или поставить подножку. Или двинуть коленом в *pinto*^[22]. Вечно ты перегибаешь палку. То служаночка, которую любой может затащить в чулан, то через секунду уже психованная.

– Я никогда не была служаночкой, – буркнула я.

– А кем же ты была? – спросила Граса.

Слюна во рту сделалась едкой. Мне хотелось, чтобы Граса сама ответила на свой вопрос, чтобы она сказала, что я ее друг. Что я – Дор.

– А я, может, привыкла, что девушек водят в чулан, – сказала я. – Подумаешь, невидаль.

Граса молчала. Она побледнела как-то пятнами, и неровная белая линия протянулась от носа до подбородка и исчезла под волосами.

– *Rapai* после *Matãe* было одиноко. Он много пил. Ничего общего с этим извращенцем.

– Если ты так по нему скучаешь, езжай домой.

– Может, и поеду. Брошу тебя здесь, пускай тебя арестуют.

Мне представилось, как Соуза лежит на полу, а из головы у него медленно течет кровь. Я согнулась, и меня вырвало на ноги Грасы в сандалиях.

Граса беззвучно охнула и отшатнулась.

– Вот черт. Дор! – Она шагнула вперед, заправила мне за ухо упавшую прядь. – Все хорошо, – мягко сказала она. – Полиция гоняется только за коммуняками. И потом, он же не умер.

– Откуда ты знаешь?

– Потому что не умер, – фыркнула Граса.

– Нельзя же просто взять и решить, что он жив.

– Почему нельзя? Можешь, конечно, рыдать и стенать, если хочешь, но я тебе говорю: он не умер.

Граса схватила меня за плечи, точно намереваясь хорошенько встряхнуть, но только приблизила свое лицо к моему и заговорила очень медленно, словно с ребенком:

– Такого не может быть. Не может быть, чтобы это случилось с нами. Мы приехали сюда, чтобы прославиться. А тебе не нужно выполнять ничьи приказы. Больше не нужно.

Украденные деньги топорщились у нее под рубашкой. Граса погладила бугорок.

– А теперь пошли домой, заплатим хозяйке и примем настоящую ванну. С пузырьками. Я не могу вонять блевотиной, к тому же надо смыть с себя бабочек. На всякий случай.

Я часто спрашивала себя, как повернулись бы обстоятельства, будь у меня голос лучше, а у Грасы слабее. Стала бы я Софией Салвадор? Сумела бы выдержать испытание славой? Пережила бы Граса свой двадцать шестой день рождения, если бы Софией Салвадор стала не она, а я? Теперь я понимаю никчемность этих вопросов. Я никогда не стала бы звездой, настоящей звездой. Не потому что мне достался талант поскромнее, а потому что мечты мои были скромнее. Я умела работать, умела терпеть голод, умела выживать. Но чтобы заглянуть за горизонт, мне нужна была Граса.

Союза не умер. Вскоре у «Майринка» мы наткнулись на одну из «бабочек», и девушка сообщила нам эту новость, похвалив за то, что мы «дали ему по башке». Об украденных деньгах она не упомянула, но легче от этого не стало. В тот вечер я путалась в словах и пела не в лад с Грасой. Она сердито косилась на меня, но я никак не могла сосредоточиться. Каждый раз, когда я оглядывала собравшуюся вокруг нас небольшую толпу, мне мерещились поросычьи глазки Соузы или,

того хуже, темные волосы и крючковатый нос сеньора Пиментела, и внутри у меня все холодело.

Еще до истории с Союзой мы с Грасой завели привычку вытаскивать из урн газеты и читать заметки о пропавшей школьнице. Поначалу сообщали, что полиция нашла на ветках блузку Грасы с эмблемой «Сиона» (ту самую, что Граса выбросила из поезда) и сочла это дурным знаком. Компанию *hobos*^[23], которая обосновалась здесь же в лесу неподалеку, допросили и отпустили. Поиски застопорились из-за нехватки денег и людских ресурсов. Потом появилась статья о том, что после исчезновения школьницы сионская школа стала пользоваться дурной славой, а часть сестер перевели в дальние общины. Затем газеты напечатали петицию, призывающую принять меры, чтобы сделать лес Тижука более безопасным. Наконец, всплыло имя сеньора Пиментела, не терявшего надежды найти дочь.

Прочитав последнюю заметку, где говорилось, как горюет сеньор Пиментел, Граса скомкала газету и швырнула обратно в урну.

– Хоть бы награду какую объявил! – воскликнула она. – Он даже не приехал, чтобы искать меня в лесу со спасателями. Была бы я мальчиком, он бы день и ночь на брюхе ползал по всему лесу, лишь бы меня найти.

– А ты хочешь, чтобы тебя нашли? – спросила я.

Граса отвернулась. Подбородок у нее дрожал.

– Вот погоди, мы станем знаменитыми, – сказала она, – и он услышит меня по радио! Ох как он тогда пожалеет, что смеялся надо мной.

На рассвете, лежа в нашей продавленной кровати, Граса плела истории, как в один прекрасный день она прикатит в Риашу-Доси в собственном автомобиле, меха на плечах, пальцы в перстнях, и объявит, что мы выступаем в Рио! Мне легко было поддаться этим сочившимся жаждой мести фантазиям: я воображала, как кухонные девицы, от которых я когда-то вынесла столько насмешек и тычков, при виде меня остолбенеют с разинутыми ртами, а потом кинутся подавать мне кофе в тончайшем господском фарфоре. Я представляла себе, как поставлю перед Неной столбик мильрейсов, а она сдернет фартук и объявит, что покидает кухню навсегда. Фантазии Грасы были только об отце: как он заплачет, обнимет ее и примется умолять простить его. Но это были только фантазии – пока сеньор жив,

в Риашу-Доси возврата нам нет. Да и вообще нигде в Бразилии мы не сможем чувствовать себя в безопасности.

В тридцать пятом году девушка была не человеком, но собственностью. Сначала ты принадлежишь отцу, потом – мужу. И пока кто-то из них жив, ты на его попечении, как ребенок или умственно неполноценный. Свободу ты сможешь обрести после их смерти. Пока сеньор Пиментел топтал землю, а Граса оставалась не замужем, она принадлежала ему, сколько бы лет ей ни было и чего бы она ни достигла в жизни. Он мог, внезапно объявившись, потребовать и Грасу, и все ее имущество, а любой полицейский, любой адвокат, любой судья любого ранга встал бы на его сторону.

Союза был простым случаем. Опасаясь, как бы он не затребовал деньги назад, мы с Грасой пошли по пути, обычному в Лапе для тех, кто хотел избежать наказания за грехи – поменяли день и ночь местами. Отпев свое возле «Майринка», мы шли не домой, а работать. Нас наняли разносчицами. Повесив на шею деревянные лотки, мы отправлялись к лучшим кабае Лапы и продавали шикарной публике жвачку, папиросы, мятные леденцы, носовые платки и пробирки с эфиром. В пансион мы возвращались под утро, полуживые от усталости. Однажды утром у дверей нас поджидала хозяйка, лицо у нее было мрачное.

– Вчера вечером приходил какой-то мужчина, – начала она. – Задавал вопросы. Желал знать, живут ли у меня тут девушки. Показал фотографию малышки в нарядном платьице. Сказал, что девочка – дочь какого-то плантатора с севера. Хотел знать, не видела ли я похожую на нее.

Я схватилась за живот, который скрутился в тугой узел, и выговорила:

– Что вы ему сказали?

Матрона надменно выпятила грудь.

– Я не разговариваю с незнакомыми мужчинами, шастающими в поисках маленьких девочек. Вот, он оставил. – И вручила мне визитную карточку.

На карточке значились имя и адрес частного детектива из Ресифи. Граса схватила карточку и долго вглядывалась в нее. Глаза расширились, будто она нанюхалась эфира.

Я взяла ее за руку и повела наверх, в нашу комнату. Там я сдернула с вешалок наши немногочисленные платья и запихала их, вместе с комом нижних рубашек и белья, в холщовый мешок, куда мы собирали грязные вещи для прачки. Склоняясь над мешком, я рисовала в воображении сеньора Пиментела – как он смеется мне в лицо, и дыхание у него кислое и горячее. Я была вся в испарине.

– Ты что делаешь? – спросила Граса, все еще держа карточку в руках.

– Мы уезжаем.

– Почему?

Я перестала пихать вещи в мешок.

– Он вернется.

Граса продолжала смотреть на карточку.

– Детективы стоят кучу денег. Интересно, сколько времени *Papai* уже платит ему за поиски?

– Достаточно долго, – заметила я и потянула визитку у нее из рук. Граса дернула карточку к себе. – Он не тебя ищет, – сказала я. – Он ищет наследницу, которую можно выдать замуж. А она гниет в Тижукке. Нет больше Грасы Пиментел, нет больше Ослицы. Эти девочки умерли. Верно?

Глаза Грасы изучали нашу комнатушку: пожелтевший матрас, пол в пятнах, косое окно, выходящее в проулок. Подойдя к окну, Граса толчком распахнула его, а потом разорвала визитку детектива в мелкие клочья и стала один за другим пускать их по воздуху.

Лапа с ее паутиной проулков и как будто бесконечным притоком все новых девушек позволила нам с Грасой легко поверить, что мы можем затеряться и исчезнуть. Новый пансион оказался не лучше первого, но, сбежав из старого, мы уверовали, что одурачили и сеньора Пиментела, и Соузу. Однако быстро поняли, что Лапа меньше, чем казалось, а мы привлекаем к себе больше внимания, чем хотели бы.

Пение возле радиостанции «Майринк» вошло у нас в привычку. Каждый вечер мы занимали место на углу и до сумерек пели танго и фаду. Радиодикторы привыкли к нам, иногда даже улыбались, даря ложную надежду. Мы были слишком наивны и не знали, как устроено все на радио, которое только-только набирало силу, не знали, что дикторы ничего не решают, а исполнители джинглов и певцы готовы

на что угодно, лишь бы пробиться. Если везло, прохожие бросали нам несколько монеток. Этим денег хватало, чтобы купить кофе – смягчить натруженные связки. Я уверена, что рано или поздно мы сдались бы, покончили с «Майринком» и нашли иной способ обратить на себя внимание, но тут вмешалась судьба, объединившись с нашей непроходимой глупостью. Как оказалось, нас все же заметили, но совсем не те люди, на чье внимание мы надеялись.

Однажды, когда мы с Грасой уже собирались, отпев свое, уходить, к нам подошел парнишка, слушавший нас весь вечер. Накрахмаленная рубашка хрустела, короткие брюки были отутюжены. Парень с улыбкой заплодировал.

– Поете как птички! Неудивительно, что Мадам Люцифер хочет вас видеть!

– Кто это? – спросила Граса.

Парень удивился:

– Не знаете? Значит, скоро узнаете. – Он протянул руки, будто джентльмен, приглашающий нас на танец. – Готовы?

– Нам надо на работу, – ответила я.

– Пропустите один вечер.

– А за нашу комнату ты заплатишь? – спросила я.

Улыбка исчезла с лица парня.

– Меня отправили сюда, чтобы я привел вас, птички, такая моя работа. Если вас не приведу я, это сделает кто-нибудь другой. Кто-нибудь менее любезный. Вы тут новенькие, так что дам вам совет: когда приглашает Мадам Люцифер, отказываться нельзя.

Мы с Грасой переглянулись. Посоветаться, взвесить все «за» и «против» на глазах у парня мы не решились, но это и не понадобилось. Меня уже снедало любопытство, как и Грасу. Парень выглядел прилично, а эта загадочная Мадам сделала то, чего до сих пор не сделал никто, – выделила нас из толпы. Может, она владелица кабаре? Может, ей понравилось, как мы поем? В любом случае, если попытаемся сбежать от ее посланника, можем заработать проблемы, а этого добра у нас с Грасой и так хватало с достатком.

Парень повел нас по руа Мораис-и-Вали, в высоких домах уже открывали затворенные днем окна и зажигали свет. У дверей одного такого дома нас встретила старуха в шлепанцах и шелковом халате. Она велела нам не шуметь, потому что ее девочки спят. Несколько

месяцев назад я бы решила, что она имеет в виду своих дочек, но после недолгого проживания в Лапе я уже кое-что понимала.

Парень остался снаружи. Мы с Грасой пошли за старухой через череду гостиных с сетчатыми желтыми занавесями и истертыми бархатными диванами. Какая-то девушка, ссутулившись, подметала пол, усыпанный окурками и горелыми спичками. В ее совке поблескивали пуговицы, подрагивали перья, облаченная в халат старуха велела раздать их потом девушкам. Наконец она открыла двери со стеклянными вставками и жестом велела нам с Грасой войти. Мы повиновались, и старуха ушла, закрыв за нами обе двери. Я помню, как меня трясло – до той минуты, пока не увидела граммофон с большим медным раструбом. Мы с Грасой переглянулись, нам обоим захотелось узнать, что за пластинка лежит на вертушке. Мы медленно двинулись к граммофону, но не успели приблизиться к нему, как я уловила движение в дальнем углу комнаты.

В плюшевом кресле сидел какой-то мужчина, лицо скрывалось в тени, одна нога закинута на другую. Брюки у него были белые, сверкающие ботинки – черной патентованной кожи, носки нежно-сиреневые. Я никогда еще не видела, чтобы мужчина надевал что-то такого цвета. Ноги и руки у него были длинные, и казалось, что кресло ему тесно. Тонкие коричневые пальцы барабанили по подлокотникам.

– Видели когда-нибудь граммофон? – Голос роскошный, глубокий, как у радиодиктора.

– Конечно! – Граса приосанилась.

– Вот и хорошо. – Он все еще оставался в тени. – Вы тщедушнее, чем я себе представлял. Как раз чтобы продемонстрировать, что жалить могут даже самые маленькие пчелки. Знаете, девочки, кто я?

Мы с Грасой помотали головами.

– Я – Пчелиная Матка.

Мужчина рассмеялся, запрокинув голову, и мы рассмотрели его лицо. Губы его поблескивали розовым. Граса тихонько ахнула. Я ткнула ее локтем. Мне и в голову не могло прийти, что мужчины красятся, – зрелище было диковинное и впечатляло даже больше, чем грубая сила. Мужчина поднялся из кресла и направился к нам. Длинные ноги грациозно несли его через комнату, он будто не шел, а катился на колесиках.

– Вы слышали про человека по фамилии Соуза?

Глаза смотрели равнодушно, как у кошки. Брови выщипаны безупречными дугами, ресницы длинные, как у кинозвезды. Прежде чем мы с Грасой успели хоть что-то произнести, мужчина снова заговорил, словно наш ответ его и не интересовал.

– Соуза. Он держит магазин. Клепает уродливые безделушки и сбывает их грингос. Он платит мне, за покровительство. Лапа – такое место, где всем нужен друг вроде меня. Так вот, несколько недель назад Соуза не сумел заплатить мне положенное. По его словам, какие-то девчонки, которых он нанял, чуть не проломили ему голову, а потом обшарили карманы. Одна, говорит, уродина, вторая хорошенькая. Ну а украсть у него все равно что украсть у меня. Так что я поспрашивал, поговорил с девочками из магазина Соузы, и знаете что? Оказалось, две девушки, похожие на тех, что описал Соуза, поют каждый день возле «Майринка».

У меня в голове как будто кто-то тихонько завизжал. Сердце заколотилось. Мне стало жарко от злости.

– Он извращенец, – выдавила я. – Мы защищались.

Мужчина кивнул.

– И воспользовались возможностью ограбить его?

– Он не заплатил ей жалованье, – сказала Граса.

– Да что там за жалованье такое! – Мужчина усмехнулся. – Вы же запросто заработаете больше. И кто из вас его ударил?

Мы молчали. Мужчина вздохнул и вернулся в свое кресло.

– Мальчик, который привел вас сюда, к сегодняшнему дню отсмотрел уже несколько ваших маленьких концертов. Вроде вы неплохо поете. Так почему вы топчетесь у «Майринка», собирая мелочь, как побирушки?

– Мы хотим быть звездами, – сказала Граса.

Мужчина засмеялся.

– Как и все мы, малышка. А теперь окажите мне честь и спойте что-нибудь.

Мы уставились на него, потом – друг на друга.

– Нам велели не шуметь, – ответила я. – Та сеньора сказала не шуметь.

Мужчина махнул рукой с длинными пальцами:

– Здесь может пройти карнавальное шествие, а эти девицы наверху даже не проснутся. К тому же им пора вставать и приниматься

за работу. Ну же, пойте.

– Тогда давай танго, – прошептала Граса. – То, которое нам нравилось по радио.

Я кивнула: романтический дуэт, который мы разучили в Риашу-Доси; я всегда пела мужскую партию. Граса отбросила волосы назад и поднесла ко рту кулак, сжимавший невидимый микрофон.

Я вернулась из страны, где забывают,
Но увы, я там не прижилась.
О любви я, что ни день, вспоминаю,
Мука сладкая тоски мне дорога.

Затем была моя очередь. Я закрыла глаза и забыла и комнату, и мужчину с кошачьими глазами, и девушек, спящих над нами.

Я служил тебе самозабвенно,
Я рабом стал сердца твоего.
Но упала ты в объятия другого,
Отплатив мне за любовь изменой.

Пение в хоре не прошло даром. Хор научил Грасу слушать других, а мне помог не смущаться, не стесняться своего голоса, его несовершенства. И теперь, в этой темной комнате, наши голоса перетекали из одного куплета в другой, а в финальном припеве слились воедино. Когда мы пели вместе, звук был мягким и настойчивым одновременно. От наших наслаивающихся друг на друга голосов воздух сгустился, как перед вечерней грозой.

Мы закончили, и я открыла глаза. Мужчина сидел на краешке кресла, упершись локтями в колени и опустив подбородок в сплетенные пальцы. Старуха в халате, сопроводившая нас сюда, стояла в дверях, глядя на нас круглыми глазами. Мужчина поднялся, достал из кармана толстую пачку банкнот. Отсчитал несколько купюр – больше, чем мы могли бы заработать за три месяца наклеивания крылышек, – и протянул нам:

– Идите купите себе что-нибудь приличное. И нормальные туфли. В веревочных сандалиях вы похожи на беспризорниц.

Ни я, ни Граса не пошевелились, чтобы взять деньги. Мужчина приподнял безупречно изогнутые брови и потряс банкнотами у нас перед носом. Я посмотрела на матрону в халате – та все еще стояла в дверях, – потом снова на мужчину:

– За что вы нам платите?

– Я вам не плачу. Плата означает, что вы оказали мне услугу, а этого еще не произошло. Я даю вам в долг. И те деньги, что вы стащили у Соузы, я тоже считаю выданными займы – конечно, за исключением платы, которую он вам задолжал. Поздравляю вас, девочки. Вас приняли на работу.

– Что мы должны делать? – прошептала Граса.

– Я не собираюсь загубить вас, отправив на верхний этаж, не бойтесь. Но я скажу вам, чего вы делать не будете, – вы больше не будете петь на улицах. И не будете бить людей по голове, – добавил он со смешком. – Вы умеете читать и писать? Считать?

Мы с Грасой кивнули. Мужчина взял меня за руку и втиснул деньги мне в ладонь.

– Хорошо. А теперь отправляйтесь за одеждой в магазин на Конди-да-Лажис и не забудьте сказать там, что вас прислал я. Так вам намажут на хлеб побольше масла.

– О ком мы должны сказать в магазине? – спросила я. – Кто нас прислал?

– Мое имя Франсиску Марселину, – улыбнулся мужчина. – Но в этих краях меня называют Мадам Люцифер.

В модном магазине с нас сняли мерки для трех платьев. Услышав имя Мадам Люцифер, портниха буквально бросилась исполнять заказ, и первые платья были готовы уже на следующий день. В ближайшей закуской мы упомянули, что работаем у Мадам Люцифер, – и получили дополнительную порцию яиц и хлеба. Сияя от удовольствия, мы с Грасой набивали рты; так хорошо мы не ели со времен Риашу-Доси. А наша хозяйка, узнав, что мы работаем на Мадам Люцифер, отвела нам комнату с видом на улицу, а не в проулок, да еще с отдельной ванной.

Еще не успев приступить к новой работе, мы с Грасой узнали то, что было известно здесь каждому: Мадам Люцифер – деловой человек, он дает деньги взаем и обеспечивает защиту большинству торговцев

Лапы. Защиту от чего, мы точно не знали. Зато узнали, что у него за поясом всегда нож с золотой рукояткой, даже когда он спит. Пару лет назад он этим самым ножом в переполненном баре выпустил кишки какому-то портовому грузчику – тот назвал Мадам *bicha*^[24]. Каждый год во время буйных карнавалов в Лапе проходил конкурс костюмов. Франсиску Марселину всегда наряжался Мадам Люцифер – ведьмой-соблазнительницей в вычурных платьях и огромных париках. Он побеждал в этих конкурсах десять лет подряд, и имя в конце концов приклеилось к нему.

Читал и писал Мадам неважно, и мы стали его секретарями. Каждое утро Граса читала ему газеты (ее голос нравился ему больше), а я занималась корреспонденцией (почерк он предпочитал мой). Мадам каждый день писал письма в газеты, хотя их не печатали. Он слал депеши портным, требуя новых костюмов, и зашифрованные записки торговцам Лапы – их доставляли мы с Грасой. Записки выглядели довольно безобидно, когда Мадам диктовал их мне, но как только торговцы видели их, то бледнели и спешили вручить нам с Грасой толстые конверты. О содержимом конвертов мы могли только догадываться, открывать их нам запретили. Еще в наши обязанности входило каждый день отправляться к большому черному «студебеккеру» – он всегда послушно ожидал на улице, граничившей с районом Глория. Мы легонько стучали по стеклу, и водитель вез нас в «Ройял Бейкери», где нас уже ждали три килограмма багетов. Хлеб помещался в четырех огромных бумажных пакетах, которые мы с Грасой переносили – прижимая к груди, словно теплых младенцев, – в машину. Потом шофер принимался кружить по Лапе, и мы доставляли багеты туда, куда велел Мадам. Один багет мы всегда в конце поездки отдавали водителю. Однажды шофер разломил хлеб в нашем присутствии, внутри багета обнаружился белый порошок. Другой водитель как-то вырвал у меня из рук два багета. Я рассказала об этом Мадам, и он не наказал меня. Через неделю работавшие на Мадам девицы шептались, что труп того шофера всплыл в лагуне Родригу-ди-Фрейташ.

К счастью, с деньгами мы имели дело только в виде нашего жалованья, которого вполне хватало на оплату комнаты и стола. На Грасу продолжали засматриваться на улице, но непристойные предложения и шуточки прекратились. Роль посланниц Мадам

Люцифер давала ощущение свободы и богатства, доселе нам неизвестное. Увидев в «Шимми!» брюки с широкими штанинами, мы с Грасой отправились напрямиком к портному и выложили на прилавок стопку купюр.

– Брюки? – изумился старик-портной. – Брюки – это для стриженных кобелей. Девушкам вроде вас брюки ни к чему.

Кобелихами в Лапе называли женщин с короткими стрижками, они разгуливали в мужских костюмах и туфлях, а общество девиц легкого поведения любили не меньше, чем мужчины.

– Послушай, сынок, – сказала Граса старику, – это же последний писк моды. Так что приготовься шить, к тебе скоро набегут все девушки.

Мы едва ли не полностью выщипали себе брови и косметическим карандашом нарисовали черные трагические дуги – в точности как у Марлен Дитрих. Раз в неделю мы ходили в кино, нашим любимым фильмом был «Шанхайский экспресс». Не думаю, что нас так уж впечатляли сами фильмы, особенно немые, но от Дитрих, хохотавшей на громадном экране, надувавшей накрашенные губы, у меня замирало сердце.

– Посмотри на нее, Дор, – шептала Граса, вертясь и следя за зрителями в прокуренном кинозале. – Посмотри, как все глядят на нее!

Вместо того чтобы укладываться вечером в постель и читать перед сном (Граса – номера «Шимми!», я – грошовые романы, которые скупала десятками), мы завели привычку прогуливаться. Представления, где гвоздем программы были жонглеры или премерзкие собачонки, балансировавшие тарелками на носу, нам не нравились, зато джазовые клубы приводили меня в восторг. Увы, когда Граса начинала флиртовать, про музыку можно было забыть. В толпе всегда находился какой-нибудь парень – франтоватый студент, гребец с широкими плечами или чахоточного вида художник, – который привлекал внимание Грасы, и она соглашалась, чтобы он угостил ее выпивкой. У парней всегда имелись друзья, которые весь вечер липли ко мне. Пока Граса смеялась и обжималась со своими кавалерами, я со своими вела беседы. Кое с кем можно было поговорить интересно, другие же были тупы как пробки. Возвращаясь домой, мы от души потешались над нашими незадачливыми ухажерами.

– Как думаешь, у нас когда-нибудь будут настоящие парни? – спросила как-то Граса, когда мы лежали в постели, безуспешно пытаюсь заснуть.

– Мне они без надобности, – ответила я.

– Каждая девушка хочет, чтобы у нее был парень.

– Я не хочу, – сказала я и отвернулась.

– Бедная ты, Дор. Еще ни с одним мальчиком не целовалась.

– И не собираюсь, – досадливо буркнула я.

Я видела в кино, как целуются, как люди сплющивают носы, прижимаясь друг к дружке.

– Ты лучше поучись, – сказала Граса.

– Зачем?

– Затем! В наших краях надо уметь постоять за себя. Надо же знать, какие поцелуи тебе нравятся, а какие нет.

– Не хочу, – повторила я.

– Дор, целоваться все хотят.

– А ты?

– И я! Но я хочу нормальных поцелуев, а не с этими нашими баранами. Фу!

– А они плохо целуются?

Меня окатило счастьем: так все эти парни не нравятся Грасе!

– Ужасно! Сразу ясно, что они ни дня в своей жизни не тренировались.

– А надо?

Граса вздохнула, огорченная моим невежеством.

– Каждому киноартисту требуется поцелуйная практика, чтобы все было правильно. Я читала в «Шимми!». Они же не просто выходят на съемочную площадку и давай лизаться.

– Какая гадость.

– Ага. Но это если целоваться неправильно. Надо тренироваться, Дор. Так что не смущайся.

– Ладно.

Граса села в кровати. Желудок у меня ухнул куда-то вниз.

– Во-первых, надо смотреть друг другу в глаза.

Граса уставилась на меня, откинув голову. На ее лице расцвела мягкая улыбка. У меня сердце колотилось так, словно сейчас прорвет

кожу и проломит кости на груди. Улыбка Грасы быстро сменилась недовольным выражением.

– Нет, – разочарованно сказала она. – Так неправильно.

– Неправильно? – хрипло спросила я.

– Вам же предстоит жестокое сражение. Вы ненавидите друг друга.

– А зачем тогда целоваться?

– О господи, Дор! Соображай поживее! Вы же не *на самом деле* ненавидите друг друга. Давай я буду мужчиной. – Граса расправила плечи, скрестила руки на груди и сердито воззрилась на меня. – Глупая девчонка! – рывкнула она и добавила шепотом: – Ну же, Дор. Говори: «Ненавижу тебя!»

– Ненавижу тебя?

– Скажи, как будто правда ненавидишь.

– Ладно. – Я постаралась изобразить киноактрису из тех, которыми восхищалась Граса. – Ненавижу тебя!

Лицо Грасы надвинулось, превратилось в размытое пятно. Я почувствовала запах розового мыла, которым она мыла голову, кислотоватое дыхание. Ее рот прижался к моему. Я крепко сжала губы и не дышала, пока в груди не начало жечь, а глаза не заслезились. Граса отодвинулась.

– Это ужасно, – заявила она. – Добавь чувства, Дор. С тобой целоваться все равно что с фонарным столбом.

– Ты тоже не блистала. – Я потерла верхнюю губу. – Набросилась, будто собралась мне язык откусить.

Граса закатила глаза:

– Дор, это называется *эмоции*.

– А нельзя поменьше эмоций? Не хочу ходить с разбитой губой.

– Ладно. Давай по-твоему.

– Сейчас.

Я быстро прокрутила в голове кое-какие киноэпизоды, но ни один меня не устроил; разыгрывая подобные сцены, мы выглядели бы смешно. Жизнь – не кино. И тут я вспомнила свои дешевые романчики. Вспомнила прекрасную Капиту с длинными волнистыми волосами и то, что ощутил ее сердечный друг Бентинью, когда впервые коснулся их.

– Закрой глаза, – велела я, опасаясь, что Граса поднимет меня на смех.

Она повиновалась.

Я поднесла руку к волосам Грасы и провела – осторожно, чтобы не запутаться в кудрях. Пальцы скользнули по уху, потом по шее. Прежде чем Граса успела открыть глаза, я коснулась ее губ своими. Все получилось естественно – гораздо естественнее, чем я себе представляла. Капля слюны – и наши губы мягко, легко заскользили одна по другой. Потом мой язык легко, словно сам по себе, задвигался, и его кончик коснулся языка Грасы. Меня дернуло, как если бы я коснулась оголенного провода. Граса, наверное, почувствовала то же самое, потому что подалась назад. Глаза у нее расширились. Она смотрела на меня так, будто видела в первый раз. А потом отвела глаза.

– Вот это было правильно, – сказала она. – А теперь ты – девушка.

И мы стали практиковаться. После работы, перед вылазками в кабаре Лапы, я старалась завлечь Грасу в нашу комнатушку. Но Граса то хотела пройтись по магазинам, то застревала у лотка с журналами, пока я топталась рядом и вздыхала.

– Тебе что, в туалет надо? – спрашивала Граса, мрачновато поглядывая на меня.

Я научилась скрывать свое нетерпеливое желание начать практиковаться, я верила, что Граса тоже скрывает нетерпение, потому что стоило нам приступить к делу – и всю ее неохоту как ветром сдувало. Теперь-то я понимаю, что Граса не знала удержу – и в будущем не узнала бы, – когда дело касалось нужд плоти. Удовлетворить такую потребность было для нее сродни тому, чтобы съесть кусок хлеба, когда одолевает голод, глотнуть воды, если хочется пить. Насытившись, Граса остаток дня даже не вспоминала о произошедшем. Нацеловавшись, она засыпала рядом со мной, а я не могла сомкнуть глаз. Граса открыла во мне чувства глубокие и настойчивые, о существовании которых я не подозревала. Я разглядывала свои ступни, свои жесткие руки, плоский живот и еще более плоскую грудь. Прежде они были инструментами. Они работали, подчиняясь моему разуму, помешивали в кастрюле, корчились под ударами, несли меня по лабиринту переулков. Понадобились руки, зубы и язык Грасы, чтобы открыть мне саму себя, чтобы показать мне, что тело – не грубая шкура, цель которой – оберегать меня от побоев, и

не машина, призванная выполнять приказы рассудка. Тело не было телом, тело было мною.

Я хотела исследовать дальше, погрузиться глубже. Граса – нет. Мы могли целоваться, пока у нас не онемеют губы, но я то и дело напоминала себе: не обнимай ее слишком крепко, не позволяй рукам блуждать по ее животу и ниже. Если что-то подобное происходило, Граса отодвигалась и урок был окончен. Каждая ночь была даром, каждая ночь была борьбой.

Однажды утром, когда мы пили кофе в булочной на углу, Граса сказала что-то смешное, и, прежде чем я успела остановить себя, моя рука накрыла ее ладонь. Граса отдернула руку, словно я обожгла ее.

– Ты что, – прошептала она, – хочешь, чтобы нас приняли за кобелих?

Сказано, что Адам и Ева не знали стыда в райском саду. Лишь когда их изгнали, они увидели свою наготу и захотели прикрыть ее. Многие девушки предаются подобной «практике». Но какая же я тогда была глупая. Я не чувствовала стыда, ибо верила, что мы с Грасой изобрели друг друга. Я верила, что мы другие, что ни до нас, ни после нас никто не «практиковался». Конечно, мы *были* другими, мы отличались от девушек, которых содержали богатые покровительницы. Мы отличались от стриженных кобелих Лапы. Никто не хотел быть ни теми ни другими. Не хотела и я.

Но какими женщинами мы хотели стать? В моей памяти засели образы властной Нены и изящной сеньоры Пиментел. Я помнила царственных байянас, которых мы встретили в порту. Много раз я видела в кино блистательную, напряженно-энергичную Марлен Дитрих. Но все это были воспоминания и образы, а не люди из плоти и крови.

Танцовщицы Лапы в откровенных нарядах; хористки в одинаковых платьях; ассистентки, подававшие факиру платки и шляпы; шоу-герлз, развлекавшие публику перед главным представлением. Женщины не пели самбу, танго или джаз. Они не писали песен и не играли на музыкальных инструментах. Не играли в ансамблях. Да, в кандомбле жрицы на языке террейро пели своим богам. И в опере были женщины – сопрано, а еще были исполнительницы фаду, но в повседневности? В лучшем случае

женщине отводилась роль музы композитора, а в худшем ее запирали в месте навроде заведения Мадам Люцифер, где она и тянула ляжку, пока тело не приходило в негодность.

По вечерам мы старались держаться подальше от заведения Мадам Люцифер, но однажды тот элегантно одетый парень подстерег нас на улице и сообщил, что мы нужны. В гостиной играла музыка, а девушки в халатах расползлись по комнате: кто играл в шашки, кто листал «Шимми!», кто жадно поедал рис.

– О! Дневные красотки! – воскликнула одна. – Повышение получили?

Тащась вверх по лестнице, мы с Грасой слышали их смех. Контора Мадам Люцифер была на четвертом этаже. В комнате пахло цитрусовым одеколоном. Мадам сидел за письменным столом – костюм безукоризненно отутюжен, на запястьях поблескивают золотые запонки, а над блестящими губами нарисована аккуратная мушка. Хозяин не улыбнулся, не пригласил нас сесть.

– Ну что, канарейки, готовы начать выплачивать долг?

– Мы работаем на вас, – сказала я. – Разве это не в счет долга?

– Чтобы выплатить то, что вы мне должны, вам пришлось бы бегать по поручениям до конца жизни. Но, к счастью, вы здесь не для того, чтобы развозить записки и читать газеты. Вы когда-нибудь выступали на сцене?

– Мы столько пели! – сказала Граса.

– Я не об этом спрашиваю, – заметил Мадам. – Я не об уличных концертах на углу.

– На настоящей сцене – нет, – ответила я.

Мадам откинулся на спинку кресла.

– Рядом с «Гранд-отелем», номер пятьдесят два. Завтра отправитесь туда, как закончите с моими поручениями. Спросите Анаис. Скажите, что от меня.

«Гранд-отель» располагался в той части Лапы, где обитали богачи. Мы с Грасой целую ночь строили догадки, что это за шикарное кабаре под названием «Номер пятьдесят два». Но когда мы нашли нужную улицу, номер пятьдесят два оказался не названием, а адресом, и не кабаре, а магазина. Окна-витрины забраны щитами, стеклянная дверь заперта. Медная пластинка над дверью – «Дамский шик».

Граса постучала. Показалось женское лицо. Женщина походила на героиню немого кино: бледная, с длинной шеей, огромными темными глазами и пурпурной помадой, столь безупречно нанесенной, что рот казался нарисованным по трафарету.

– Что вам? – спросила женщина.

Я помнила указания Мадам Люцифер, но не могла заставить себя выговорить их. Анаис выгнула ниточки бровей.

– Нас прислал Мадам Люцифер, – нетерпеливо сказала Граса. – Я певица.

– Я тоже, – добавила я.

Женщина округлила красивые глаза и со странным акцентом промурлыкала:

– Лю-си-фэр. Ну конечно, прислал мне еще певиц.

Она открыла дверь ровно настолько, чтобы мы могли протиснуться внутрь. Что я ожидала найти в «Дамском шике»? В Лапе я быстро усвоила, что места и люди принимают разные формы: мужчины могут выглядеть как женщины, а женщины – как мужчины; сапожная мастерская могла стать баром; в куске хлеба мог прятаться кокаин; парень, бегавший днем по поручениям, ночью оказывался талантливым музыкантом. Когда мы стучали в дверь Анаис, я еще надеялась, что «номер пятьдесят два» – знаменитое подпольное кабаре, но в душе приготовилась к тому, что это очередной бордель. Как выяснилось, Лапа еще могла удивить меня. Мы с Грасой шагнули внутрь и замерли в изумлении.

Вокруг теснились десятки манекенов, а на них – подобно ярким экзотическим птицам, самые невероятные шляпки. Здесь были плоские «таблетки» с красными атласными вишенками. Были береты таких оттенков, о существовании которых я и не подозревала. Были шляпки «под Робин Гуда», на них сбоку торчали зеленые перья. Были шляпки с вуалью, усыпанной крошечными блестками, отчего казалось, будто шляпку обрызгали росой.

В те дни женщине из хорошего общества покинуть дом без шляпки было все равно что выйти босой. Даже я обожала шляпки, хоть и не могла их себе позволить. «Дамский шик», как выяснилось, был самым дорогим шляпным ателье в Рио, а Анаис – его хозяйкой.

Она оглядела наши платья с пояском и непокрытые головы. Потом, внезапно рассердившись, буркнула:

– Ну идемте, если это необходимо.

Анаис провела нас из салона с образцами в тесную и темную гостиную. Там она остановилась перед Грасой и прижала бледную руку к ее животу, я тотчас вспомнила Соузу и его заднюю комнату, но сейчас ощутила не страх, а ревность.

– Воздух – топливо певицы! – воскликнула Анаис.

Мы с Грасой дернулись.

Анаис снова приложила руку к животу Грасы.

– Расслабь вот здесь, – велела она. – Сделай вдох. Нет, нет! Не заглатывай воздух. Дело не в количестве, а в том, как воздух пойдет в легкие. Еще вдох. Еще. Еще...

Мы провели тот вечер – и множество других, – учась дышать. Давным-давно, до того, как стать модисткой, Анаис была певицей. Она брала уроки во Франции и даже пела в опере – в хоре.

– Голос – это загадка, – наставляла Анаис. – Он невидим, но окружает нас со всех сторон. Он должен окутывать. Он должен наполнять театр, концертный зал! Он должен передавать любую известную нам эмоцию. Он должен расширяться, а не сворачиваться! Разверните свой голос, девочки, и вы развернете душу!

На уроках Анаис пели мы мало. Она заставляла нас повторять упражнения на расслабление горла. Ставила нас перед зеркалом и велела произносить «ИИИИИ-ААААААА-ИИИИИ-ААААА», не двигая челюстью. Она учила нас расширять грудную клетку, объясняла, что такое диафрагма. Учила выходить на сцену, подняв подбородок и расправив плечи, учила улыбаться, кланяться, учила доносить голос до слушателей в задних рядах, учила, как продолжать петь, если забыл слова или сфальшивил. Анаис требовала, чтобы мы выпивали восемь стаканов воды в день и бросили курить. Мы беспрекословно слушались ее, потому что уважали не только ее науку, но и ее чувство стиля. Если Анаис говорила, что курить – дурной тон, что рукава-крылышки выглядят по-детски или что «боб» вышел из моды, ее слова были для нас непреложной истиной, как будто сообщали их нам прямиком с небес.

Эти дневные уроки подкармливали наши мечты о карьере певиц. Основное внимание Анаис уделяла Грасе, что той страшно нравилось, а я, вечная прилежная ученица, чувствовала, что любимое дело дается мне тяжким трудом. Анаис была первой в нашей жизни настоящей

певицей. Мы подозревали (правильно, как потом выяснилось), что она дает нам уроки, потому что, подобно многим в Лапе, задолжала Мадам Люцифер. Он и раньше отправлял к ней девушек, но, по ее словам, им не хватало дисциплины и таланта, чтобы добиться настоящего успеха. Когда мы спросили, что случилось с этими девушками, лицо Анаис потемнело. «Они научились увеселять публику по-другому, – ответила она. – Люцифер умеет пристроить людей к делу, хоть так, хоть эдак».

Но Анаис продолжала учить нас, и это внушало надежды, что в нас есть нечто такое, чего не хватало другим девушкам. Мы были не первыми артистками, кого Мадам Люцифер взял под крыло, но – во всяком случае, так считали мы с Грасой – мы были лучшими.

Как-то вечером после урока в «Дамском шике» появился Мадам и объявил, что повезет нас в кабаре. Мы ожидали увидеть красивое место, с козырьком над входом и шампанским в меню. Но он привел нас в крошечный зал в одном из переулков Лапы. Деревянный щит у входа извещал: «Гвоздь программы! Мисс Лусия и Два ее Чуда!»

Дым в зале висел, как туман. Несколько мужчин в спущенных подтяжках смотрели на сцену. На деревянном помосте топталась громадная женщина в видавших виды туфлях на высоких каблуках, фиолетовых чулках и корсете, неестественно ужимавшем ее талию. Через верх корсета вываливались обтянутые блестящей тканью груди, до того большие, что голова женщины казалась крошечной. Семена по сцене, толстуха пела и вяло поводила руками, при каждом шаге груди ее тряслись.

Позади женщины сидел высокий гитарист. Он склонился над гитарой, закрыв глаза, – похоже, пытался представить себе что-то иное. Сидел он совершенно неподвижно, только пальцы летали по гитарным струнам. Слушая его, я забыла и про облезлый бар, и про мисс Лусию с двумя ее чудами. Звуки гитары были хрусткими и бодрящими, словно ты вышел прогуляться прохладным утром.

У гитариста были темные брови, глаза бабника, а рот изогнулся в лукавой усмешке, отчего на правой щеке обозначилась ямочка. Большинство музыкантов Лапы в то время выглядели чахоточными и зализывали волосы назад. Этот не помадил прическу и носил бачки, хотя они еще не вошли в моду. На середине песни гитарист поднял глаза и взглянул прямо на меня. Мне показалось, что все в клубе

исчезли – все, кроме нас двоих; я не могла отвести взгляда. Он смотрел на меня, будто примеривался к противнику, с которым вот-вот затеет драку. Шее стало жарко. Жар стек в низ живота. Я никогда еще не смотрела на мужчин вот так и сейчас смутилась и испугалась. Помню, как я уговаривала себя не трусить – я же тоже умею драться.

– Закрой рот. – Мадам похлопал меня по руке. – Муха влетит.

Он повел нас с Грасой в бар. От дальней стены к нам направился какой-то недомерок в алом костюме.

– Эти, что ли? – спросил он.

– А зачем бы я еще их привел? – ответил Мадам.

Коротышка кивнул. Ручки у него были такие короткие, что он вряд ли сумел бы скрестить их на груди. Он протянул ладонь Грассе:

– Коротышка Тони. Люцифер рассказал, что ты неплохо поешь. Но я не ожидал, что ты такая хорошенькая. – Тони перевел взгляд на меня и нахмурился: – Ну и дылда! Неплохо бы твои кости прикрыть мясом. Ужинали, девчонки? Может, по стейку?

Позади бара оказалась кухонька, где бармен принялся готовить для нас. В запахе мяса потонули все остальные – папиросного дыма, спиртного, легкий душок рвоты. Голос Мадам Люцифер вывел меня из транса, хозяин говорил о деньгах.

– Эти девочки приведут к тебе толпы. Чем больше народу, тем больше ты продашь выпивки. Я хочу свою долю.

Тони скрежетнул зубами и кивнул.

На сцене мисс Лусия присела в низком реверансе. Мужчины, сидевшие рядом с нами, засвистели, заколотили по столу крепкими ладонями. Это были не забитые работники с плантаций Риашу-Доси. Здесь собрались маляры, каменщики, пьянчуги и подметальщики. Эти мужчины хотели зрелища. Они желали, чтобы на сцене подмигивали, смеялись и трясли грудями. Они хотели утонуть в спиртном, забыть про свою тяжелую работу, глядя, как девицы на сцене выделывают всякое. И если представление не нравилось им, они не молчали.

– Но мы просто певицы, – сказала я. – Мы не артистки кабаре.

Грасса сердито глянула на меня. Мадам в упор посмотрел на меня из-под тяжелых век.

– Если у вас есть способности, вы одолеете прайд голодных львов. Хотите стать артистками? Вот и попробуйте себя. В Рио тысячи хороших голосов, но не каждой певице дано очаровать толпу.

Принесли стейк, шипящий, сочащийся жиром, и к нему две запотевшие кружки пива. У меня аппетит пропал, зато Граса набивала рот, жевала и запивала все пивом. Она прикончила обе порции.

У каждого большого артиста в Рио было сценическое имя, и мы с Грасой уже давно решили, что не станем оригинальничать. Задолго до того, как мы шагнули в кабак Коротышки Тони, душными вечерами возвращаясь с урока в «Дамском шике» или по утрам, за чашкой кофе в пекарне, мы с Грасой представляли себя на сцене. Имена нам требовались элегантные – имена, что придадут нам уверенности в себе, стильные, как повторяла Граса, имена. Себе имя она подобрала первой.

Лучшей клиенткой Анаис в «Дамском шике» была женщина, которую звали София, – она покупала шляпки на каждый день года. Грасу впечатлило такое потакание капризу.

– София, – говорила она, когда мы подметали усыпанный булавками пол салона. – Как королева.

Была еще одна покупательница – женщина менее экстравагантная, но более изысканная, по моему мнению, чем София, звали ее Лорена. Мне нравилось это имя. Итак, первую часть наших псевдонимов мы позаимствовали у элегантных дам. А вторые части решили связать с местами, которые поразили нас. Граса выбрала портовый город, в котором мы остановились во время нашего первого путешествия на пароходе, а я – Лапу.

– София Салвадор, – вздыхала Граса. – Поет только в «Копакабана-Палас»!

– И Лорена Лапа, – прибавляла я.

Наш дебют состоялся вовсе не на прославленной сцене «Копы», но для нас грязный зальчик Коротышки Тони был ничуть не хуже самого роскошного театра Рио. В вечер нашего первого выступления афиша на щите у заведения Тони слегка поменялась.

Сегодня и ежедневно!
Мисс Лусия и ДВА ЕЕ ЧУДА!
А также нимфетки!

Граса схватила меня за руку:

– Это мы! Мы будем выступать в настоящем клубе!

За кулисами было темно, душно и кишели москиты. Мисс Лусия увела Грасу в крохотную уборную, а я отправилась искать гитариста. Коротышку Тони наша программа не интересовала, и мы с Грасой решили, что споем несколько популярных танго – одно жизнерадостно-приподнятое, второе медленное и грустное. Надо было сообщить о нашем выборе гитаристу, но я нигде не могла его найти.

Я нервно ходила взад-вперед. По другую сторону усеянного пятнами бархатного занавеса клиенты Коротышки Тони заказывали выпивку и подтаскивали стулья поближе к сцене. Был вечер выходного дня, и зал забился под завязку. Скоро развлекать публику выйдет Мисс Лусия, а я еще не переделалась.

Наконец появился гитарист. К губам его приклеилась папироса, волосы падали на темные глаза. Он быстро прошел мимо, задев меня по ноге гитарой в чехле.

– Простите! – пролепетала я.

– Извини, – буркнул гитарист, не останавливаясь.

Я заступила ему дорогу:

– Вы аккомпаниатор?

Свободной рукой гитарист отклеил от губы окурок и щелчком отбросил его.

– А на кого я похож? На сенатора? Ты кто?

Окурок приземлился у моих ног, втиснутых в неудобные шпильки с открытым носом; надеть их меня заставила Граса. Я неуклюже отступила от тлеющего окурка.

– Я нимфетка.

– Это еще что?

– Новое представление.

Гитарист вздохнул.

– Ты имеешь в виду – новая куколка?

– Нет, нимфетка.

– Это просто другое название. Куколки, Бунекаш, Ненес, Бебес. Всех приводил к Тони Мадам Люцифер. По-моему, Люцифер мечтает оказаться на сцене больше, чем девицы, которых он притаскивает. И кстати, готов биться об заклад, что поет он тоже лучше.

– Нет, лучше всех пою я.

– Поверю, когда услышу, *querida*. – Гитарист рассмеялся.

Я огрызнулась:

– Не знаю, кто твоя *querida*, но уж точно не я.

Я сообщила, что мы собираемся петь.

– Знаешь эти песни? Или тебе помочь?

Гитарист усмехнулся:

– Эти мелодии все знают. Не особо оригинальный выбор. Могу сыграть одной рукой и с завязанными глазами.

– Поверю, когда услышу, *querido*.

Гитарист расхохотался. За кулисы рысцой вкатился Коротышка Тони, и в темном закутке сделалось еще теснее. Гитарист вдруг оказался прижат ко мне.

– Винисиус, – сказал Тони, – давай на сцену. Побренчи немного, пока Лусия не вышла. Публика теряет терпение. Так, теперь ты. – Тони оглядел меня. – Быстро переоденься! Ты что, столы обслуживать собралась?

В уборной Граса уже преобразилась в нимфетку – волосы стянуты в два хвостика, нарумяненное лицо разрисовано веснушками. Вместо платья – полупрозрачное трико, которое мисс Лусия называла «костюм Евы». Я уже видела его, в гримерке имелось два таких наряда, розовых и бледных даже по сравнению с кожей Грасы. В трико Граса выглядела так, будто у нее нет ни рук ни ног. Я же словно натянула темные перчатки и носки, настолько моя кожа была темнее наряда. Спереди к трико было пришито по зеленому листу – вроде как прикрыть наш срам, как выразился Коротышка Тони. Трико лоснилось на локтях и коленях и оказалось не по размеру нам обоим. На фигуристой Грасе оно сидело в обтяжку, а у меня жалко обвисло там, где ему следовало натянуться. Зеленый листок у Грасы пришелся ниже, чем нужно, а у меня – выше. В этом наряде роскошное тело Грасы выглядело как грубо обтесанный обрубок.

Пока мы ждали своего выхода, на лице Грасы проступил пот, пробившись через густой грим.

– Мне надо проблежаться.

– Здесь?

– Естественно! – прошипела она, а потом кивнула на сцену, по которой болталась туда-сюда мисс Лусия: – Не там же!

– Ладно, – сказала я и схватила мусорную корзину. – Давай.

Граса взяла корзину и посмотрела на меня. Она ждала, что я подбодрю ее, но что я могла ей дать? Скажи я, что на сцене нас ждет оглушительный успех, она наверняка уловит в моем голосе сомнение. До сих пор нашей единственной публикой были работники с плантации ее отца, они аплодировали бы нам, даже начни мы безбожно фальшивить. Я вспомнила, что сказал гитарист Винисиус о наших предшественницах, – что певицами они не были. Я представила себе, как девушки, в этих же нарядах Евы, вскидывают ноги, хихикают и крутят задницами. Они не были артистками и наверняка даже не пытались ими стать. О чем же думал Мадам Люцифер, выставляя нас перед стаей мужиков из Лапы?

Я взяла липкую ладонь Грасы и сказала то единственное, в чем была уверена:

– Представь себе, что этих людей не существует. Они нам не нужны. Мы поем для себя.

– Но, Дор, они же нам *нужны*. Какой смысл петь, если тебя никто не слушает?

Мисс Лусия покинула сцену. Винисиус заиграл первые такты нашего танго. Не дожидаясь, когда нас представят, Граса выбежала на сцену. Я бросилась за ней.

Свист, пьяное улюлюканье. У меня онемели руки. Позади нас, на сцене, Винисиус продолжал вступление к нашему танго, но мы с Грасой молчали. В дальнем ряду, у стойки бара, я увидела Мадам Люцифер – он накручивал волосы на палец, не отрывая от нас взгляда. У меня зашевелились волосы, как будто кто-то схватил их у самых корней и потянул меня прочь со сцены. Сердце скакало. Я открыла рот, но звук не шел.

В толпе неодобрительно засвистели, затопали.

Ну давайте, девчонки! Заведите нас!

Кто-то схватил меня за руку. С силой, какой я от нее не ожидала, Граса притянула меня к себе, и мы оказались лицом к лицу.

Улюлю! Фью! Вот это дело!

Глаза Грасы были прикованы ко мне. Шея у нее удлинилась, грудь расширилась, Граса открыла рот, и ее голос – такой уверенный, такой нежный – пролился в меня, раздвинул мои губы, и мой рот открылся и запел ту же песню.

Я был твоим рабом, Любовь,
Склонялся пред капризами твоими!
С тобою я узнал
Ту сладкую отраву.
Но ты оставила меня, малютка.
И сердце усыхает понемногу.

Наши голоса лились в самые темные углы этого жалкого клуба. Смолкли свист, топот и болтовня – никто не издавал ни звука. И конечно, Винисиус играл. Мы пели, а его гитара словно качала нас. Переборами гитары он побуждал нас с Грасой петь живее там, где этого требовала мелодия, а потом тянул назад, чтобы мы звучали мягче и нежнее, когда мелодия становилась более чувственной. Мы снова и снова пели припев, но каждый раз он звучал иначе – и с каждым разом все лучше.

Нена говаривала: «Бог хранит пьяниц, дураков и собак». В тот вечер мы с Грасой были дураками. Мы вышли на тускло освещенную сцену, не отрепетировав наш номер, в грязных, дурно сидящих трико, к зрителям, ждавшим от нас того, чего мы не могли им дать. Или мы так думали. В тот вечер я кое-чему научилась (и запомнила урок навсегда): нельзя недооценивать зал. Эти безродные каменщики, мелкие чиновники, вагоновожатые и чистильщики обуви были плоть от плоти Лапы, а в Лапе музыка была религией и исцеляющим бальзамом, она была языком для общения с богами и возлюбленными, она была памятью об ушедшей любви и предчувствием новой, она была отчаянием твоих самых темных минут и радостью твоих лучших минут.

Эти люди ожидали увидеть двух глупых, непристойно вихляющих бедрами, безголосых девиц, но не возмутились, когда перед ними появились две девицы серьезные. Конечно, окажись мы бездарностями, нас забросали бы ломтиками лайма и бутылками. Но голос Грасы был совершенством, а мой – изъясном. Ее голос был триумфом, а мой – провалом. Вместе с гитарой Винисиуса мы сложились в нечто гармоничное.

В конце нашего выступления никто не свистел и не улюлюкал – только хлопали.

– Еще! – прокричал чей-то сиплый голос. Аплодисменты стали громче.

В Лапе ходило присловье, звучавшее примерно так: пока в тебе песня, ты не одинок. В тот вечер во мне выросло множество песен, и мне казалось, что они столь же привычны, как удары сердца. По одну сторону от меня стояла Граса, покрасневшая, излучавшая веру в успех. По другую – Винисиус, спокойный и мудрый. До того момента у меня не было ни дома, ни семьи. Я даже не знала, хочу ли я дом и семью. Но в тот вечер я нашла свое место в мире – здесь, на сцене, рядом с Винисиусом и Грасой. И поверила, что дни моего самого страшного одиночества позади.

Мы родом из самбы

Но сначала, милая девочка,
Я представлю тебе свою семью.
Я приглашаю тебя на роду.
Смотри, от кого я свой род веду.

Я не из Санта-Терезы и не из Лапы,
Кобакабаны или Тижуки,
Я не из Ботафогу
И даже не из Урки.

Я из самбы, любовь моя.
Она была мне матерью.
Говорят, мой отец – батакуда,
Но это необязательно.

В этом дворике – мои братья,
Да и сестры здесь тоже сидят.
Вот Худышка со своей кавакинью,
Он будет с тобой флиртовать.

Это красавчик Буниту с куикой.
А Ноэль с пандейру собой нехорош.
Вот агого – Кухня то теребит их,
То на реку-реку скрежещет; ну что ж!

Эта серьезная девушка – Дориш,
На любую мелодию стихи сочинит.
А та, что смеется, – Грасинья,
С ее голосом ты на луну улетишь.

Банан – вот этот щеголь,
Семиструнку свою тревожит.
А там сидит Профессор:
Он что угодно сыграть сможет!

Мы не из Санта-Терезы и не из Лапы,
Копаканы или Тижуки,
Мы не из Ботафогу
И даже не из Урки.

Мы родом из самбы,
Она нам мать.
Рода наша семья,
И другой – не бывать.

* * *

Все песни нашей жизни – и те, что мы слышали, и те, что нам предстоит услышать, – составлены из двенадцати простых нот. Сложность возникает, когда эти ноты начинают складываться в бесконечное множество комбинаций, когда их играют медленнее или быстрее, с повторами или без. Музыка – это сложно организованный звук. Это язык, который мы учим, не сознавая того. Вот мы впервые слушаем песню и расшифровываем ее: повторы, упорядоченность звучания. Песня сама подсказывает, чего и когда ожидать. Мы учимся соотносить тихие звуки с печалью, а звонкие – с радостью. Мы заранее ожидаем от новой песни того или другого. И даже если мы не знаем, как она повернет, интуиция подсказывает, куда может унести нас песня и какие воспоминания она извлечет на поверхность.

За год до того, как Винисиус исполнилось семьдесят шесть и болезнь приковала его к дому, мы совершили поездку в Гранд-Каньон. К тому времени мы жили в Майами, были женаты почти двенадцать лет и около сорока двух лет оплакивали Грасу.

В каньоне мы стояли у самого края обзорной площадки, огороженной каменным барьером, и смотрели в ущелье, на слоистую скалу и синие тени облаков. Просматривалась и противоположная сторона каньона, недоступная. Винисиус положил руку мне на плечо и сказал:

– Какой я здесь маленький. Незначительный на фоне истории Земли.

Я прикрыла его руку своей ладонью:

– Здесь я как дома.

Между нашей реальностью и нашими желаниями пролегает ущелье. Если нам повезет, мы беспечно живем на одной стороне и украдкой поглядываем на другую. Порой нам хочется перекинуть мост и перебраться через пустоту, но это желание быстро проходит. Когда мы с Винисиусом создавали музыку, когда мы забывали мир и терялись внутри наших песен, мы словно брались за руки и перепрыгивали это ущелье – вместе.

После смерти Грасы трещина разошлась слишком широко. Мы оба упали в ущелье, хотя Винисиус так этого и не признал. С его точки зрения, его бросили, но он попытался привести жизнь в порядок. А я? Я была воплощением беспорядка.

Я шла не по земле, я брела по колено в бетоне. Еда меня не интересовала. Увлечься другим человеческим существом не приходило мне в голову. К середине жизни я была ходячим скелетом, к тому же неряшливым. Много пила. Я испытывала терпение немногих преданных мне людей, которые, несмотря ни на что, не бросали меня. Одним из них был Винисиус. В те годы мы оба жили в Лас-Вегасе, но не вместе. Если меня выдворяли из одной квартиры, Винисиус находил мне новую. Платил за аренду. Навещал. Первое время Винисиус включал радио, чтобы я послушала модную музыку. Я просила выключить. Однажды он притащил старый проигрыватель. Я заявила, что мне это ни к чему. Винисиус заявил, что в таком случае пусть сама и волоку проигрыватель на помойку. Проигрыватель был тяжелым, и я никуда его не отволокла.

Заглядывая ко мне, Винисиус непременно приносил пластинки: бразильская босанова, «Мотаун», Арета^[25] Франклин, Пэтси Клайн, позднее – Долли Партон и Джеймс Браун. Сначала мы слушали их вместе – решали прокрутить песню-другую, а в результате слушали весь альбом. Потом обсуждали композиции, голоса, достоинства и недостатки песен. Винисиус завел обыкновение оставлять эти пластинки у меня, и вскоре рядом с проигрывателем образовалась целая стопка, и я, не удержавшись, порой ставила какую-нибудь пластинку и без Винисиуса. Как-то вечером он уломал меня вылезти из

моей убогой квартирке и пойти с ним в клуб – какую-то крысиную нору на Стрипе – слушать блюз. Мы сели подальше от сцены, на случай, если мне захочется сбежать. В заведении было темно и почти пусто – какое облегчение. Молоденький музыкант играл хорошо, но ничего выдающегося. Однако, как отметил Винисиус, за тот час, что мы сидели в зале, я даже не вспомнила про выпивку. После этого мы стали регулярно бывать в музыкальных клубах, и в такие дни я почти не притрагивалась к спиртному, а постепенно начала получать удовольствие от музыки.

А однажды Винисиус вытащил меня в студию.

– Хочу записать кое-что, – сказал он. – Будет еще пара ребят из Рио. Не сможешь с программой?

Он хотел, чтобы я чувствовала себя нужной, а не обузой, – его маленькая хитрость в годы моего пьянства, задолго до того, как мы поженились. Я подыграла ему. Шел 1972-й. Граса уже двадцать семь лет как умерла – прошло почти столько же, сколько она и прожила. Бразилией правил новый, еще более жестокий военный диктатор. Если к нам приезжали бразильские музыканты, это означало, что их просто выдавили из страны. Винисиус находил им пристанище, кормил и сводил с американскими музыкантами. Взамен он записывал пластинки с этими молодыми патлатыми типами неясного пола. Они называли свою музыку тропикалия.

В тот день в студии оказался молодой человек, киндер-версия одного нашего товарища по ансамблю, по прозвищу Кухня (к тому времени он уже давно умер). Мальчику было двадцать пять. Прическа «афро», штаны клеш и ботинки на каблуках. Мне было пятьдесят два, и рядом с ним я чувствовала себя древней старухой. Я забилась в дальний угол клетушки звукорежиссера, но парнишка отыскал меня.

– Вы ведь Дориш Пиментел? – сказал он. – Встретить вас – честь для меня!

– Это почему?

– Ну... вы из «Сал и Пимента». Ваши с Винисиусом песни – классика. Моя мать постоянно крутила «Без сожалений и добродетели», чуть пластинку до дыр не стерла. Она была на вашем первом выступлении в Ипанеме.

– На нашем единственном выступлении.

– Я бы так хотел записаться с вами и Профессором! О большем я и мечтать не могу.

– Это Винисиус вас надоумил? – спросила я.

Парень помотал головой.

Вот так мы втроем – Винисиус, юноша и я – оказались в темной студии, по ту сторону стекла. Я не пела лет двадцать, со времени нашего первого и последнего выступления в Ипанеме. С вечера накануне смерти Грасы. Винисиус и мальчик пообещали, что это просто проба, ничего серьезного. Они взяли гитары, и мы с парнем запели: один куплет я, другой – он. Мы пели «Родом из самбы». Мой голос, низкий и хриплый – сказались годы курения и пьянства, – звучал как тень чистого, молодого голоса юноши. Песня легко вернулась ко мне. На какое-то мгновение мне показалось, что мы снова в Лапе.

Винисиусу понравилось, как мы спели, и всю вторую половину дня мы одну за другой записывали старые песни. И я ни разу не вспомнила о выпивке. На следующий день мы продолжили.

Сейчас я понимаю, что все эти визиты, радио, проигрыватель и клубы были теми хлебными крошками, которые Винисиус рассыпал, стараясь вывести меня из ущелья – туда, где он ждал меня.

Тот мальчик теперь настоящая звезда. Каждый раз, бывая с концертами в Майами, он навещает меня. Теперь он стрижется коротко, поседел. Носит очки и сшитые на заказ костюмы, но для меня он по-прежнему тот патлатый мальчик. Наша пластинка до сих пор хорошо продается, она считается классикой слияния самбы и тропикалии. Каждый раз, слушая ее, я слышу не столько жанровые особенности, слова или даже мелодию, сколько себя, поющую из тьмы, – я выхожу из небытия, держась за песню.

Мы родом из самбы

В шестнадцать лет я верила, что я – музыкант. Я верила, что наши выступления у Коротышки Тони придадут нам с Грасой значительности в этом мире. Но каким маленьким был наш мир! Мы не заглядывали дальше Лапы, дальше нашего пансиона, наших выступлений на жалкой сцене в заведении Тони. Подобно многим девушкам нашего возраста, мы не замечали происходящих рядом с нами исторических событий. Что с того, что женщинам дали право голоса? Все равно выборы постоянно откладывают. Что с того, что Старик Жеже (так обитатели Лапы звали президента Жетулиу) прогнал всех законно избранных губернаторов, а на их место посадил своих людей, объявив их *interventores*?^[26] Что с того, что по новому Закону о государственной безопасности полиция арестовала столько диссидентов и предполагаемых коммунистов, что пришлось превратить в плавучие тюрьмы старые круизные корабли, стоящие в Гаванском заливе? Что с того, что с этими мужчинами и женщинами расправились безо всякого судебного процесса – их судьбу решил Высший трибунал безопасности, в котором заседали военные Жеже? Пусть об этом болит голова у университетской профессуры, редакторов газет и богатых интеллектуалов из особняков Санта-Терезы, а не у нас, жителей Лапы, на которых никто никогда не обращал внимания и которые плевать хотели на доктрины – хоть коммунистическую, хоть какую. Нашей единственной заботой были музыка и хлеб насущный.

К 1936 году – через шесть месяцев после нашего дебюта у Коротышки Тони – публика подседа на нас с Грасой не хуже, чем на тростниковый ром. Благодаря Нимфеткам продажи билетов выросли вдвое, потом – втрое. Мадам Люцифер был в восторге. Коротышка Тони вывесил у входа в свое заведение новую афишу, на которой гвоздем программы были указаны Нимфетки. Когда мы с Грасой вечером поднимались на сцену, в клубе становилось тихо, точно в церкви. Даже «помидорные головы» Жеже – особое полицейское подразделение, члены которого носили красные береты и были печально знамениты манерой вламываться в любое кабаре Лапы и срывать представление, – во время наших выступлений вели себя

прилично и сидели тихие и почтительные, ну вылитые алтарные мальчишки.

В Лапе происходило что-то важное. Никто не говорил об этом вслух, но что-то висело в воздухе, какой-то гул, отдававшийся в костях. Радиоприемники подешевели, и каждая булочная на углу вдруг взорвалась музыкой. Стало меньше танго и джаза и больше самбы – не той, настоящей, а дурацких карнавальных *marchinhas* про вечеринки да красоток. Песен, которые могли переварить только невежды за пределами Лапы, уверенные, что самба – это музыка вуду, музыка похоти и насилия. В центре Рио открыли студии три звукозаписывающие компании – «Коламбия», «Виктор» и «Одеон». Достаточно близко к Лапе, чтобы считаться «настоящими». По вечерам в переулках Лапы бродили уважаемые университетские юноши, они старательно пытались говорить на нашем сленге и искали, где послушать «настоящую музыку», что бы они под ней ни понимали.

Кто я была такая, чтобы судить? Господи, да что мы с Грасой знали о настоящей музыке? Благодаря занятиям у Анаис мы считали себя знатоками. Эти уроки, как и наши выступления в роли нимфеток, поглощали нас без остатка. Я никогда – ни до, ни после – не видела, чтобы Граса училась чему-нибудь настолько упорно, хотя молодой учительнице наше пение, кажется, доставляло мало удовольствия. Она разочарованно качала головой, но продолжала учить нас, что означало – у нас с Грасой есть талант. Что София Салвадор и Лорена Лапа вместе могут горы свернуть.

Понимаете, я думала о нас только как о дуэте.

Уроки стали длиннее, но мне Анаис уделяла все меньше времени. Она то и дело мяла живот Грасы, ругала ее дыхание и критиковала вокальный диапазон. Все чаще я просто сидела в углу гостиной, наблюдая, как Анаис работает с Грасой. Жестоко разочарованная, я грызла ногти, а однажды принялась постукивать по ножке стула; наконец Анаис волей-неволей обратила на меня внимание.

– Дориш, ты не на роде, – заметила она. – Нам не нужны твои импровизации.

– Должна же я чем-то заниматься, – ответила я. – Когда моя очередь работать над дыханием? Как я могу петь лучше, если совсем не упражняюсь?

Анаис пристально смотрела на меня, и обычное разочарованное выражение на ее лице сменилось чем-то похожим на озабоченность. Она велела Грасе отправляться в пустую шляпную мастерскую и спеть сто упражнений.

– И не пытайся обмануть меня, – предупредила ее Анаис. – Нам с Дориш здесь все слышно.

Граса повиновалась. Анаис села на стул напротив меня, ее ноги касались моих. Она была старше меня лет на десять, не больше; в отличие от большинства женщин ее возраста, Анаис не имела ни мужа, ни детей, и для меня она была идеалом. Она носила прямую юбку, которая туго обтягивала бедра и открывала ее длинные бледные лодыжки. Ладони у меня взмокли, пришлось приложить немалые усилия, чтобы усидеть на месте. *Наконец-то!* – подумала я. – *Со мной тоже будут заниматься!* Я высказалась, и Анаис поняла, что ее внимания заслуживает не только Граса. Озабоченность, мелькнувшая на ее лице, оказалась настоящей.

– Ты любишь музыку, да? – начала Анаис.

Я кивнула.

– Я тоже. Когда мне плохо, музыка – мое единственное утешение. Музыка, а не выступления. Музыка – это больше чем стоять на сцене. Понимаешь разницу, Дориш?

Я фыркнула.

– Конечно, понимаю.

– Певец – не композитор и не дирижер, он даже не оркестрант, – продолжала Анаис. – Певцы не могут повернуться спиной к слушателям. Не могут спрятаться за инструментом. Они стоят лицом к публике. Они должны предаться песне, прожить ее слова. Они должны впечатлять. Для слушателей песня и человек – единое целое. Я когда-то немного пела, но только в хоре. На сцене я никогда не была одна. Мой голос не поддерживал меня. Опасно, когда ты на сцене, такая уязвимая, – а твой голос не в состоянии тебя защитить. Я не стала певицей, и это оказалось к лучшему. Мне было горько осознать, что мне не хватает таланта. Но так было лучше. А вот у Грасы талант есть. И ее голос защитит ее, когда она стоит на сцене одна. Он выдержит.

– Почему одна? У нее есть я. Мы даем представления вместе.

– Представления дают в цирке, – бросила Анаис. – Настоящий голос заставляет людей забыть обо всем на свете. А мы все хотим

забыться, хотя бы пока звучит песня.

– Я могу заставить людей забыть обо всем, – перебила я Анаис. – Я могу работать упорнее. Могу больше упражняться. На что я сгожусь, если буду просто сидеть тут и слушать Грасу? Мне тоже нужно петь.

Большие влажные глаза Анаис встретились с моими. Вокруг рта и глаз у нее были тончайшие морщинки, словно трещинки в гладком песке. Анаис, очень молодая, в ту минуту казалась мне древней и опасно мудрой, как богиня, которой почитатели кандомбле приносят жертвы, – покрытое трещинами божество, способное быть корыстным и мстительным, если не получит положенных жертв. Я и злилась, и боялась того, что она скажет мне дальше.

– Никакие упражнения, никакой ум не сделают из человека певца, моя дорогая. Голос ничему не подчиняется. Не ищи справедливости. Голос или есть, или его нет. Не пытайся насильно извлечь из себя то, чего нет. Это самое ужасное растрачивание себя.

Я ковыряла ноготь до тех пор, пока не надорвала его. Потом нарочно оторвала под самое мясо, засочилась кровь.

Анаис коснулась моей щеки и прошептала:

– Прости, мой цветок.

Мне всегда хотелось, чтобы она положила руку мне на живот, чтобы ее пальцы поднимали мой подбородок. Но в этот момент прикосновения Анаис, ее жалость были мне невыносимы. Я стряхнула ее руку.

Граса всегда пела лучше меня, я этого не отрицала. Но ведь и мой голос достоин того, чтобы его слушали. Мы с Грасой всегда пели вместе, и до сего момента я верила, что восхищаться всегда будут нами обеими. Анаис больно ранила меня. И я, как животное, укусила ее в ответ.

– Вы любите Грасу, а не ее голос, – сказала я. – Я же вижу, как вы на нее смотрите.

– Ну что ты. – Анаис удивилась. – Она очень мила, но на ее пляже я не загораю, как говорите вы, бразильцы.

Мы уставились друг на друга. Анаис отвела глаза первой.

– Когда я приехала сюда, в Бразилию, – о-о, сколько у меня было надежд! Я была в твоём возрасте – почти дитя – и печальна, потому что не стала певицей во Франции. Я начала петь еще совсем крошкой. Моя семья возлагала на меня большие надежды. Но я сбежала от семьи

– и от своего провала. Многие любят музыку. Иные – творят музыку. А есть люди, которым дано особое счастье, они учат других творить музыку. Вы не первые, кого Люцифер прислал ко мне. Но Граса – лучшая. В один прекрасный день она взойдет на настоящую сцену. Люцифер это знает. Поэтому я должна сосредоточиться на Грасе. Люцифер умеет быть верным другом, но сердить этого человека не стоит.

– *На этом* пляже я не загораю, – сказала я. – Так правильно. Без «ее». И я понимаю, что ты имеешь в виду.

– Правда?

Шее стало жарко, жжение поднялось к ушам.

– Девушки... то есть женщины – не твой пляж.

Анаис покачала головой. Взяла меня за подбородок. А потом, очень мягко, провела большим пальцем по моим губам и водила, пока палец не стал влажным от слюны.

– Я не загораю на *ее* пляже, – повторила Анаис.

Граса закончила петь упражнения и влетела в комнату, готовая выслушать похвалы. Анаис встала. Я упорно рассматривала руки. Из пальца сочилась кровь, но пульсировали у меня губы.

Что мне было делать? Мне было шестнадцать лет, и взрослый сообщил мне болезненную правду. Конечно, я не сумела принять ее достойно.

По дороге домой с того ужасного урока Граса без умолку болтала о мальчиках, новых песнях и прочей чуши. У меня болела голова. Я не могла заставить себя передать Грасе, что сказала мне Анаис. Через несколько часов, когда Тони представил публике нимфеток, мы с Грасой, как всегда, взялись за руки и посмотрели друг на друга, но в глазах у меня все расплывалось от слез. Граса, нахмурившись, продолжала петь, ее голос парил над моим. Я пыталась подхватить, запеть громче, мощнее, изящнее, но добилась только, что сбилась с дыхания, щеки у меня пылали. После выступления я купила пачку сигарет и спички.

– Это кому? – спросила Граса.

– Мне.

– Ты что! – Граса выхватила у меня сигареты. – Анаис говорит – нельзя. У тебя от них как песок в глотке будет.

– Да плевать, что говорит эта французская фифа. – Я выкрутила пачку из пальцев Грасы.

– С каких это пор?

– С тех самых, как она сказала, что я недостаточно хороша для ее уроков. – У меня задрожал голос.

Граса нежно взяла меня за руку:

– Да что она вообще понимает?

– Все.

– Мы поем у Тони и еще много где будем петь, – сказала Граса. – Так что выброси эти проклятые сигареты или что там от них осталось.

Пачка, зажата в моем кулаке, превратилась в комок. Я засмеялась и вытерла глаза. Граса тоже засмеялась. Я вспомнила нашу «практику», теплый влажный рот Грасы, прижатый к моему, вспомнила, как мы обнимались с такой силой, словно хотели жить друг в друге. Мне захотелось пережить все это там, посреди улицы Лапы, вместе с Грасой. Я, не думая, обхватила ее за талию и притянула к себе. Граса застыла и бросила быстрый взгляд на темный проулок.

– Перестань, – прошептала она. – Я не хочу так.

Мне всегда казалось, что нам с Грасой хочется одного и того же – музыки, побега, превзойти чужие ожидания; что нам хочется этого жадно, и чтобы мы были вместе. Но вот я снова оказалась перед Анаис, слушая слова, которые мне невыносимо было слышать.

Я отступила, подняв руки, как преступница, и бросила:

– Не будь недотрогой. Я просто обняла тебя. Я не загораю на твоём пляже.

Граса отшатнулась, будто от удара, и мой стыд отступил.

До самого пансиона мы не сказали друг другу ни слова. В следующие несколько дней мы разговаривали только по необходимости и исключительно вежливо, как будто только вчера познакомились, чтобы снять одну комнату на двоих. Я тем временем нарушала все правила Анаис: пила, орала, курила столько, что по утрам заходила в кашле. Я поносила Анаис, называя ее снобкой и кобелихой. Я пропускала вечерние уроки, хотя Анаис твердила, что я могу узнать больше о музыке, слушая, как поет Граса. Зато я провела множество вечеров в книжных магазинах, где корчилась между дальними стеллажами, делая вид, что просматриваю романы, а сама плакала, утирая нос рукавом. Каждый раз, когда звонил колокольчик

над дверью, я поднимала глаза, надеясь увидеть, как Граса огибают стеллажи, ищет меня. Вот сейчас мы возьмемся за руки, попросим друг у друга прощения! И она скажет, что тоже бросила Анаис!

Лишь на сцене, в качестве нимфеток, мы были вместе по-настоящему, да и то лишь ради представления. Во время этой затянувшейся вежливой ссоры Граса ходила на свидания с университетскими хлыщами. Прогуляв до рассвета, она возвращалась, оставляя песок по всей комнате, и плюхалась в кровать, даже не умывшись. Я делала вид, что сплю. Граса поворачивалась ко мне спиной и засыпала. После проведенных бог знает где ночей от нее пахло дымом и дрожжами, соленой водой и ветром. Одна часть меня хотела прижаться губами к ее голому плечу, ощутить вкус соли на коже. Другая часть меня хотела стиснуть ей горло.

После выступления Граса стаскивала свой нимфеточный наряд и убегала на встречу с очередным хлыщом из тех, что вечно околачивались в баре. Я медлила в уборной, оттирая веснушки и румянец и укрепляясь духом, чтобы идти домой в одиночестве. Часто я задерживалась в баре с выпивкой, прежде чем кивнуть на прощанье Винисиусу, который всегда кивал в ответ. Как-то вечером он протолкался через бар и встал передо мной, задев по колену облезлым гитарным чехлом.

– Я собираюсь к Тетушке Сиате. Хочешь со мной?

Я встала, взяла Винисиуса под руку (сильно удивив и его, и себя) и сказала так уверенно, словно знала, кто такая Тетушка Сиата:

– С удовольствием.

Винисиус размашисто зашагал к выходу. Ему было под тридцать – ровесник Анаис, мне он казался глубоким стариком. Наверное, из-за своей манеры держаться. Видя его, я каждый раз вспоминала рассказы Карги о силе всемирного тяготения и задавалась вопросом, не тяготит ли Винисиуса эта невидимая сила больше, чем всех остальных.

Выйдя из заведения Тони, я выпустила его руку, но все же торжествовала, шагая рядом с ним по темным проулкам Лапы: я не буду сегодня ждать Грасу в жалком одиночестве.

– Подержишь? – Винисиус протянул мне чехол. Гитара была тяжелой. Винисиус вытащил из кармана пиджака металлический портсигар. – Хочешь?

– Да, – сказала я, не понимая, на что соглашаюсь.

В те дни Винисиус курил самокрутки с табаком «оникс», от которых у меня голова закружилась уже после второй затяжки. (Даже сейчас у меня сохранилась тяга к этим папироскам, к первым затяжкам, от которых жжет в легких и звенит в ушах.) Винисиус вытащил из портсигара две самокрутки, обе сунул себе в рот, после чего одну, уже зажженную, передал мне. Ее кончик был влажным от его губ, и я сунула папироску в рот с тайным трепетом. Винисиус убрал портсигар. Мы пошли дальше.

– Так как Люцифер поймал вас на крючок? – спросил он. – Что вы ему должны?

– С чего ты взял, что мы ему что-то должны?

Винисиус пожал плечами:

– У каждого есть долг, по которому надо расплатиться.

Я вспомнила про самокрутку и глубоко затянулась. Грудь обожгло как огнем.

– Мадам услышал, как мы поем, и ему понравилось, – объяснила я. – Все просто.

– Ничего тут не просто. За исключением вашего дурацкого танго. Вы хоть раз в жизни слышали настоящую самбу?

– Какую настоящую самбу? – спросила я. – Чем она лучше нашей музыки?

Винисиус засмеялся.

– Не обижайся, но те куплеты, что вы поете у Тони, – это дерьмо, а не музыка. Хотя у Грасы голос – с ума сойти. Многие хотят стать звездами кабаре, но чтобы стать хорошей певицей, одного голоса недостаточно. Надо иметь какую-то изюминку. У Грасы особый голос. Она поет, как будто хочет чего-то, что не может получить.

– Ты это слышишь? – спросила я, замедляя шаг.

– Конечно. У тебя голос другой – печальный, шероховатый, но он совсем не плох. Как будто ты в этом мире гораздо дольше семнадцати лет, или сколько тебе там. У разных певцов мы слышим разное. Когда поет по-настоящему талантливый человек, он поет как будто про тебя самого. Ну, ты понимаешь, о чем я.

Последнюю фразу он произнес утвердительно. Мне польстило, что Винисиус обо мне такого хорошего мнения – думает, что я понимаю.

Остаток пути мы прошли в молчании. Оно не тяготило, а ободряло, – словно мы знали друг о друге все и потому не нуждались в беседе.

Когда Винисиус прибыл к Сиате со мной на буксире, мужчины, сидевшие во дворе, обменялись улыбками.

Много лет спустя, когда заведение Тетушки Сиаты снесли, какие-то дураки объявили ее дом местом рождения самбы. Другие говорили, что это террейро – дом, где язычники проводили обряды кандомбле. А некоторые историки утверждали даже, что Тетушки Сиаты не существовало, что ее дом – это воплощение многих домов и многих байянас, стоявших у истоков самбы. Могу опровергнуть все эти теории: самба родилась не в доме Тетушки Сиаты, но Сиата существовала, и музыка для нее была религией.

Каждый вечер она садилась у своей двери в полном убранстве байяны: белый тюрбан, белая блуза, обшитая кружевами на рукавах и вороте, белая широкая юбка и столько бисерных украшений на шее и запястьях, что поразительно было, как она, столь тщедушная, выдерживает такой вес. Сиата процветала – жарила у себя на веранде акараже^[27] и продавала припозднившимся гулякам, которым хотелось соленого, а также туристам, жаждавшим опасных, как им казалось, приключений: ночь в Лапе и встреча с «настоящей» байяной. («Настоящая» байяна казалась невеждам опасной колдуньей. В попытке обмануть страх люди раз в год, во время карнавала, подвергали этих величественных женщин насмешкам. Богатые гуляки, наводнявшие Лапу во время четырехдневного карнавала, часто наряжались байянами, и сотни фальшивых байян – мужчин и женщин – пьяно плясали в тюрбанах и юбках на ободах.) И в дождь и в солнце Тетушка Сиата, тихая и наблюдательная, как старая черепаха, жарила пирожки для пьяных и туристов. Однако иные посетители являлись к Сиате не за пирожками из гороха. Они приносили музыкальные инструменты и выпивку, целовали старуху в ввалившиеся щеки и отправлялись на задний двор, где Сиата устроила подобие бара. После работы эти официанты, водители автобусов, рассыльные, артисты кабаре шли сюда, а не домой к семьям или в постель, даже если у них такое имелось.

– Припозднился ты, Профессор, – сказал здоровенный мужчина с глазами навывкате.

Винисиус положил гитару.

– С каких это пор ты беспокоишься о времени?

– Время есть фикция, – встрял парень с лицом так густо усеянным темными веснушками, что оно казалось кожурой подгнившего банана.

– Скажи это моему директору! – Здоровяк засмеялся, и все его тело заколыхалось.

– Это Дориш, – объявил Винисиус. – Решил, что ей надо послушать, как мы играем.

Меня удивили его слова. Мне *надо* послушать, как они играют, – словно из их музыки я могла извлечь пользу. Или музыка – из меня.

Кое-кто из мужчин кивнул, но никто не спешил добавить к стоявшим в круг стульям еще один.

– Мне казалось, ты говорил – никаких подружек, – заметил веснушчатый.

– Я не подружка, – сказала я.

– Ну тогда тащи стул, сестра. – Здоровяк с лягушачьими глазами улыбнулся.

Его звали Худышка. Выдающееся брюхо, властность и обыкновение появляться на людях исключительно в обнимку с какой-нибудь красоткой делали Худышку похожим на импресарио из подпольного казино. На самом же деле он приходился Тетушке Сиате племянником и играл на кабакиню – маленькой гитарке вроде укулеле. Несмотря на корпулентность, Худышка обладал тонкими проворными пальцами, которые просто порхали по струнам.

Братя, Банан и Буниту, были родом из штата Баия. Веснушчатый Банан играл на шестиструнной гитаре. Буниту, в соответствии с прозвищем, был сногшибательно красив. Кожа того же цвета, что Банановы веснушки, длинный царственный нос и темные ласковые, как у щенка, глаза. Буниту играл на куйке – странном ударном инструменте, который я впервые увидела у рабочих с плантации. Худышка называл Буниту «приманкой»: миловидность Буниту привлекала дам, но из-за его застенчивости дальше знакомства дело не шло. Тут-то и появлялся Худышка со своим обаянием и чувством юмора.

Долговязый мужчина в углу, с острыми скулами и суровым выражением лица, называл себя Кухня. Он играл на мелких ударных – агого, бубне, реку-реку и вообще на всем, что издавало неверные дребезжащие или скрежещущие звуки. Свое прозвище он получил, потому что говаривал: «Я парень из задних рядов, парю, жарю, придаю музыке аромат». Если Худышка был жизнерадостным шоуменом, Братья – застенчивыми принцами, то Кухня был воином. Воротнички его рубашек были всегда до хруста накрахмалены, ботинки сияли. Он любил тасовать длинными пальцами карты и носил на голени стилет, хотя я никогда не видела, чтобы он им воспользовался.

Последним участником ансамбля был Маленький Ноэль, самый младший из всех. Из-за врожденного дефекта у него была недоразвитая челюсть, отчего казалось, что у Маленького Ноэля нет подбородка, а сразу начинается шея. Жевать Маленькому Ноэлю было трудно, потому питался он в основном мягкими фруктами и овсянкой. Из-за такой диеты у Ноэля был бледный, чахоточный цвет лица, ассоциировавшийся со страдающим художником, что в те дни считалось шикарным. Маленький Ноэль иногда играл на банджо, но его истинной любовью был тамборим.

С годами все мы, музыканты «Голубой Луны», изменились – кто в лучшую сторону, кто в худшую. Но, думая о парнях, я всегда вижу их такими, какими они были в ту первую ночь у Тетушки Сиаты. У них не было программы. Они не репетировали, не одевались особо. У них не было слушателей, которых следовало ублаготворить, – только я. А про меня они забыли, едва взяли первую ноту.

С самого первого дня в Лапе самба вокруг меня звучала круглые сутки. Но ребята из «Голубой Луны» играли что-то свое. Их музыка была буйной и в то же время сдержанной. Она кувыркалась, взлетала, а потом плавно спускалась, как огромные птицы, что пролетали над Сахарной Головой, раскинув крылья и скользя по воздуху. «Лунная» музыка унесла меня далеко от Лапы, от Анаис и Грасы и даже от собственного тошнотворного страха, что мои таланты ничтожны и не стоят внимания, как и я сама. Поток музыки подхватил меня, ничто меня не ограничивало, ничто не обременяло. Я была все – и я была ничто. Позже я узнала, что таков эффект самбы де рода.

Рода была ритуалом. Событием, а не представлением. В чем разница? Представление для тех, кто смотрит. Рода – для тех, кто играет, поет, сочиняет музыку. Если ты не часть роды, тебя не существует. Рода была диалогом, вступить в который можно было только по приглашению. Каждую ночь в Лапе проходили сотни, а то и тысячи род. Но на каждой из них царили одни и те же правила.

К новичкам всегда относились с безразличием. Даже если ты лучший в мире гитарист, лучше всех играешь на куике, великий композитор или гений игры на кабакиню, тебе придется дожидаться приглашения. Даже не думай присоединиться и с места в карьер задать темп: новички всегда следуют за остальными. Батукада – та самая великолепная рода «с миру по нитке» – была подобна стае рыб, иногда мирно плывущих вместе, а иногда бешено бросающихся вперед, и право вести эту стаю надо заслужить. А песни? Не воображай, что здесь играют какие-нибудь веселенькие *marchinhas*, их время раз в году – на карнавале, для приезжих. На роде играли самбу живую, как жизнь, – но она не была вечеринкой, она была воплем сердечным. На роде ты смеешься над собственным ничтожеством. Рука об руку с собственным одиночеством, ты бредешь через музыку, восхищаясь тем, как ты жалок, как великолепен.

Даже после контрактов со звукозаписывающими компаниями, после успеха на радио, даже после того, как самбу провозгласили бразильской национальной музыкой, рода осталась священной. Кошунством было сказать, до чего же цепляющая песенка, назвать шлягером. Чтобы стать «настоящим самбиста», надо было сделать вид, что самба – не продукт. Конечно, сами песни можно записывать и продавать, но горе дерзнувшему запачкать самбу столь приземленными сделками. Верный своему искусству человек не искал успеха – успех сам находил его.

Каждый вечер меня допускали в объятия роды – но не в саму роду.

Мальчики приносили мне пиво, угощали сигаретами, ставили стул чуть позади стула Винисиуса – а потом исключали из круга. Они играли длинные вступления, сочиняя песню на ходу. Иногда они обыгрывали стихи той или иной известной самбы. Винисиус запевал первым, у него был простой чистый голос, он словно вызывал слушателей на откровенность.

Однажды вечером (я ходила к Сиате уже неделю), когда ребята играли, я стала постукивать ногтями по металлическому столику. Потом позванивать горлышком пивной бутылки о пустой стакан. Потряхивать коробок спичек. Каждый вечер я подтаскивала свой стул все ближе к кругу. Наконец однажды я оказалась сидящей не за Винисиусом, а рядом с ним, отстукивая ритм в такт с остальными. Никто не поднял на меня глаз. Музыка не прервалась, ребята не запротестовали. Чтобы скрыть свой восторг, я сосредоточилась на ритме.

Такую головокружительную радость я испытала до этого всего несколько раз: после нашего первого концерта в Санта-Исабел; на плантации, когда я подражала радиоголосам, а рабочие аплодировали мне; и во время нашего первого выступления в роли нимфеток. Все эти моменты делила со мной Граса, но рода принадлежала только мне. Мне и Винисиусу.

Однажды мы засиделись у Сиаты допоздна, и Лапа успела затихнуть. Во дворике нас осталось всего четверо: я, Винисиус, Худышка и Кухня. Спина у меня болела от сидения на складном стуле, в горле саднило от сигарет. Худышка уже похрапывал. Кухня скатал для всех толстый косячок, набитый тем, что он называл «своими травками». Винисиус наигрывал мелодию. В тишине подступающего утра звуки гитары звучали ломко и тревожно. Я закрыла глаза. В голове сложились слова:

Здесь я, любовь моя. Рядом с тобой всегда. Ужин тебе добуду, постель тебе постелю. Но я тебе безразлична. Ты меня и не видишь. Мало кто замечает воздух, которым дышит...

– Что? – спросил Винисиус. Он перестал щипать струны и положил мне на руку прохладную ладонь. Я открыла глаза. – Тебе не нравится? Мелодия так себе.

– Нет, мелодия красивая, – прошептала я, надеясь, что Кухня не слышит. – Просто... Я кое-что в ней услышала. – Я смутилась и покачала головой. – Так, ерунда. Продолжай.

– Нет, – жестко сказал Винисиус. – Говори, что ты услышала.

Я взглянула на Худышку, на Кухню, перевела взгляд на свои руки. Винисиус отложил гитару, встал и широким шагом направился к бару, где отыскал бумажку и карандаш.

– Запиши, – велел он.

Винисиус снова заиграл мелодию, а я записала слова, которые услышала в звуках его гитары. Ребята наблюдали. Я передала Винисиусу бумажку. Выпятив нижнюю губу, он проглядел написанное и резко качнул головой.

– Это может быть припев. *Мало кто замечает воздух, которым дышит.* Очень ничего, малыш.

Из всех немногих комплиментов, слышанных мной за всю жизнь, этот остается лучшим. Когда потом, много лет спустя, Винисиус выдавал ритм, от которого перехватывало дыхание, или дивную мелодию, я легонько толкала его локтем и шутила: *Очень ничего, малыш!* И мы оба смеялись. Но в ту минуту во дворике Сиаты никто не шутил. Худышка, Кухня, дом, улица, сама Лапа – все исчезло. Вселенная состояла из нас с Винисиусом. Я не отрываясь смотрела на него, зная: он видит не подростка, не прилипалу, не девчонку, от которой можно добиться своего нежными словами. Он видел меня. Он видел то, что сделала я и что мы могли сделать вместе.

Так родилась наша первая песня.

Поначалу мы сочиняли так: Винисиус играл первые такты, я слушала и искала чувства, скрытые в звуках, – некоторые мелодии злили, некоторые ранили, в тех слышалось ехидство, в этих – самодовольство, а иные старались в чем-то убедить. Я слушала, и ко мне приходили слова. Из этих слов я составляла рассказы. А рассказы мы с Винисиусом начинали преобразовывать в песни. Ни днем ни ночью я не расставалась с записной книжкой, которую подарила мне сеньора Пиментел; я заполняла ее образами, которые окружали меня в Лапе, словами, которыми ребята из «Голубой Луны» говорили о хорошеньких девушках, чувствами, которые были у меня, но о которых я никогда не сказала бы вслух. Все они попадали в наши песни.

Некоторые песни рождались легко: мы брали стихи и развешивали их по мелодии, словно украшая елку к Рождеству. Другие приводили в восторг и бешенство одновременно, как попытка раздеть роскошную даму, которая танцует и не хочет остановиться. Некоторые песни были сродни эфиру: капнул на платок и поднес к носу – восхитительный кайф, но слишком быстро проходит, не оставляя следа. А другие напоминали льющийся на тебя мед: сладко, но такая грязь.

После первой песни трудно было не поддаваться искушению написать еще одну. Да, искушению, потому что было что-то недозволенное и слегка опасное в том, что мы работали вместе, – девушкам не полагалось писать песни. Худышка и Кухня помалкивали о том утре во дворике Сиаты, когда Винисиус похвалил мои стихи. Возможно, думали (вначале, по крайней мере), что слова, которые я написала, – случайная удача, безделица, порожденная самокруткой Кухни. Если бы ребята из «Голубой Луны» или любые другие музыканты прослышали, что Винисиус пишет музыку на пару с женщиной, его подняли бы на смех.

Я бросила просиживать дни в темных книжных, страдая из-за своего несовершенного голоса и поздних возвращений Грасы. Теперь я встречалась с Винисиусом. Мы отправлялись в кафе и обсуждали вещи, которые не могли обсуждать у Сиаты, на глазах у ребят из «Голубой Луны». Винисиус расспрашивал меня о Грасе и о моей прежней жизни. Риашу-Доси – где это? Как пахнет воздух, когда на фабрике варят сахар? Какими были Пиментелы? А Граса в детстве? Всегда ли она хотела быть певицей?

Я тоже задавала Винисиусу вопросы. Он, как и я, был сиротой, рос на попечении своей тети Кармен. Тетка служила тапером в кинотеатре «Одеон». Винисиус провел детство в темном кинозале, разглядывая, как движутся на экране герои и героини с блестящими губами и подведенными глазами, пока тетка играла на пианино. Потом он сам стал играть на пианино, а суровая тетка надзирала за ним.

– Любить музыку я научился в темноте, – говорил Винисиус.

В конце концов он сбежал от строгой тетушки и прибился к другой – Тетушке Сиате.

– Там я впервые услышал настоящую самбу.

Самба, все всегда сводилось к самбе. В какой-то момент я непременно восклицала: «О! Вот мировая строчка!» Винисиус принимался насвистывать. Он очень красиво свистел, звуки были ровнее и насыщеннее, чем у птицы. Или принимался позвякивать ножом о стакан. Иногда он даже приносил кавакинью Худышки и перебирал струны, а я тихонько барабанила по столику. При этом мы старались не шуметь. Слова песен мы шептали, словно делились какой-то тайной.

До этого я делилась тайнами только с Грасой. Теперь она если и удивлялась, где это я пропадаю, то делала вид, что ей все равно. А я делала вид, что меня ее равнодушие не очень-то и трогает. У Грасы есть хлыщи-обожатели и уроки с Анаис, которые она отказывается бросить. Разве не справедливо, что у меня тоже появилось что-то, что принадлежит только мне? Такая независимость приводила меня в восторг, и когда я перед рассветом покидала домик Сиаты, мне казалось, что я парю, как будто внутри меня воздушный шарик. И все же, притащившись домой, я понимала, что не могу посмеяться с Грасой ни над заигрываниями Худышки, ни над суровостью Кухни, потому что она не знает о них. Я не могла рассказать ей ни о новых ругательствах, ни о самокрутках с травкой. И уж точно я не могла описать ей нашу новую музыку, потому что слова ничего бы не объяснили. Невозможность разделить музыку с Грасой делала эту музыку менее живой, и я бесилась при мысли, что Граса может притушить мою музыку одним тем, что не присутствует в ней. Измотанная, я открывала дверь нашей комнаты, и все же спать мне не хотелось. Я легла рядом с Грасой, слушала, как она легонько похрапывает, и представляла, как привожу ее к Сиате, как приглашаю ее сесть – не для того чтобы включить ее в круг роды, а чтобы она *видела* в кругу меня – и вернула бы моей жизни полноту.

Как-то вечером мы начали роду, и тут калитка Тетушки Сиаты скрипнула. Я, сидевшая в кругу, подняла взгляд. В калитку входила Граса, улыбающаяся, запыхавшаяся, держа на ладони – как официантка – какой-то сверток. На Грасе было красное платье. Нимфеточный грим она смыла кое-как, на носу виднелись размазанные карандашные веснушки.

Граса шумно опустила сверток – нечто завернутое в вощеную бумагу в брызгах жира – на стол и развязала бечевку. Внутри оказались три стейка, коричневые, блестящие и еще горячие.

– *Queridos*, жратва прибыла! – объявила Граса, словно мы весь вечер только и ждали этого свертка – и ее саму.

– Ты что здесь делаешь? – прошептала я.

– Принесла тебе поесть, – громко ответила Граса. – Ты же тощая как жердь, и теперь я знаю почему. Эти красавчики каждый вечер семь шкур с тебя спускают. Винисиус! Как тебе не стыдно не давать ей

поужинать после выступления! Дор же еще растет! Пусть какой-нибудь джентльмен позаботится о ней, она заслужила.

– Дор ни в чьей заботе не нуждается, – ответил Винисиус.

Граса улыбнулась во весь рот, сверкнув на Винисиуса зубами.

– Не рассказывай мне про Дор. Мы с ней еще девчонками были не разлей вода.

– А теперь вы кто? Умудренные жизнью старухи?

Ребята засмеялись.

– Если мы старухи, то ты вообще динозавр, – парировала Граса.

– О-о-о! – выдохнули ребята.

– Динозавр! – сказал Кухня. – Даже лучше, чем Профессор.

Звучит!

Худышка пожирал Грасу глазами.

– Сама мясо жарила, красавица?

– В жизни не подходила к плите и не собираюсь, – ответила Граса. – Сперла у Коротышки Тони. Ножи, к сожалению, не смогла.

– Да оно и лишнее, *querida*. – И Худышка ухмыльнулся. – Такая девушка и без ножей опасна. Ты вонзила нож мне в сердце, едва вошла сюда.

Граса расхохоталась. Худышка поднялся и предложил ей свой стул, прямо рядом со мной, в кругу.

– Разве мне можно? – спросила она.

– Можно-можно, – сказал Худышка. – Заставлять такие ножки стоять – сущее преступление.

– У Грасы свидание. – У меня пересохло во рту. – Она не может остаться.

Граса зыркнула в мою сторону:

– Очень даже могу.

Ребята из «Голубой Луны» не отрываясь смотрели, как Граса садится, закидывает ногу на ногу. Худышка проворно кинулся в дом – за вилками и ножами.

– Можно мне сигарету, *querido*? – Граса повернулась к Маленькому Ноэлю, который полез в карман рубашки за пачкой.

Вернулся Худышка и со звоном ссыпал ножи и вилки на металлический стол.

– Отлично. Давайте есть, пока не остыло. – Граса посмотрела на меня: – Я выбрала с кровью, как ты любишь.

В ее голосе была мягкость, во взгляде – ожидание. Чем были эти стейки – искупительной жертвой, принесенной мне, или способом пробраться в ансамбль? Какой-то части меня льстило, что Граса предприняла это усилие, да еще отправила в отставку очередного хлыща, надеявшегося на ее компанию. Другая часть меня бесилась из-за того, что Граса так легко вторглась в круг роды, тогда как мне пришлось ждать несколько недель.

Пока ребята уплетали мясо, Граса смеялась над сальными шуточками Худышки, шепталась о чем-то с Бананом и Буниту, а потом – с ее подначки – Маленький Ноэль стал рассуждать о ждущем нас великом успехе. Кухня просто терпел ее. Ноэль уже явно потерял голову и заливался краской всякий раз, когда Граса касалась его руки. Я же не могла заставить себя взять нож и вилку, руки будто свело. Глядя на Грасу, сидящую среди «лунных» мальчиков, я испытывала странную покорность. Какой смысл соперничать за их внимание? Разве может воробей состязаться с павлином? Или куст – с цветком?

Напротив меня сидел Винисиус, он тоже хранил суровое молчание, изучая Грасу, будто какой-то экзотический вид. Лишь когда ребята заиграли, он перевел взгляд на меня.

Ребята исполняли кое-какие местные песенки, играли с темпом, меняли строки припева. Зажав между колен бутылку, я позвякивала по ней вилкой, но не могла раствориться в музыке, как раньше. Граса, сидевшая рядом со мной, вздыхала. Она то закидывала ногу на ногу, то садилась ровно. Рассматривала ногти.

Одна песня перетекала в другую, пока они не начали казаться одинаковыми. Потом мы заиграли старую уличную самбу «Слуга любви» – песню, которую любой житель Лапы, и стар и млад, слышал в любой пекарне, на роде или на улице. Пел, как всегда, Винисиус.

Я буду мыть тебе окна.
Приду и начищу дверь.
Я перемою посуду.
Я отскребу полы.
Сотру все дурные чувства
С твоего чистого сердца.
Ты снова сможешь открыть его мне,

И мы начнем сначала.

Граса поглядывала на меня. Шевелила бровями. Я не обращала на нее внимания. Она пихнула меня локтем и наклонилась так близко, что ее губы почти коснулись моего уха.

– Он поет прямо будто библиотекарь справочник читает. Это что, колыбельная? И ты не можешь вставить ни словечка?

Я с беспокойством глянула на ребят.

– Тебе полагается молчать, – прошипела я. – Мне пока не разрешают петь.

– Что значит «не разрешают»? – прошептала Граса в ответ.

– Поет Винисиус. Он главный. Так устроена рода.

– У тебя голос лучше. Пусть они дадут тебе попробовать.

Музыка оборвалась. Винисиус, глядя на Грасу, произнес, едва не сорвавшись на крик:

– Тебе что-то не нравится?

Мне стало досадно, что Граса поучает меня, как вести себя на роде, будто она самбиста со стажем, но меня ободрила ее поддержка: она сказала, что мой голос лучше, что я заслуживаю петь. Даже после нескольких недель ссоры она была на моей стороне. Или, может, она была на своей стороне и теперь билась за собственный шанс. С Грасой всегда трудно было понять, что и как.

Граса прожгла Винисиуса испепеляющим взглядом, положила руки на подлокотники и выпрямилась, словно намереваясь встать и покинуть роду. Но она никуда не ушла, она подняла голову, и полился ее голос.

Я буду твоей служанкой,
Буду твоим лакеем,
Буду твоей кухаркой,
Твоим брадобреем,
Только бы ты остался
Еще на один день.

Ребята замерли. Я всем телом развернулась к Грасе. Кем она себя возомнила? Какая-то девчонка вздумала петь в кругу роды, перебив главного музыканта, в первый же вечер, без приглашения! Но Граса все пела. Потом Маленький Ноэль начал подстукивать на барабанчике, выделявая «ра-та-та», а Граса делала то же голосом, выделяя каждый ударный слог, так что ее голос тоже стал как бы инструментом. С каждым куплетом она погружалась в песню все глубже. Мало-помалу все взялись за инструменты и заиграли. С ней.

И у меня, и у «лунных» мальчиков со слухом все было в порядке. Все мы поняли правду в ту самую секунду, как Граса открыла рот и запела, – с ней рода стала лучше. Смех громче, шутки непринужденней, мы заиграли слаженнее, наши песни зазвучали по-новому. И неважно, что Граса – девушка, что она болтала без умолку, плохо играла в карты, стреляла сигареты и никому слова не давала вставить. Важен был ее чудесный голос, а еще важнее – что она умела заставить полюбить себя. И ее все любили.

Так что «лунные» мальчики приняли ее пение – и мое тоже. Граса не разрушила роду. Винисиус продолжал петь, остальные – играть. Мы делили всеобщее внимание и музыку, так продолжалось несколько недель, пока Граса как-то ночью, усевшись на свой стул, не спросила:

– Почему мы поем ту же скукоту, что и весь район? Все равно что каждый день есть одни только бобы с рисом.

– Любишь сосисочки? – Худышка ухмыльнулся.

Буниту захихикал. Граса закатила глаза:

– Я люблю разнообразие. И не я одна.

– Мы играем классику, – сказал Винисиус. – Если ты не знаешь этих песен, то что ты вообще знаешь?

– Мы их вызубрили вдоль и поперек, – ответила Граса. – Нам нужна своя собственная классика.

– А правда, – заметил Маленький Ноэль. – На других родах сочиняют же собственные мелодии.

Худышка кивнул Винисиусу:

– Вы ведь с Дор что-то набросали несколько недель назад.

– Ты же храпел без задних ног!

– И меня разбудила мелодия. – Худышка улыбнулся.

– Эти двое написали уже целую кучу песен – и никому не показывают, – сказала Граса. – Эгоисты.

Винисиус воззрился на меня так, будто я только что уличила его в преступлении. Я сердито зыркнула на него в ответ и объяснила:

– Я рассказывала Грасе, что мы днем пишем песни. Необязательно разводить таинственность.

– Ты пишешь песни *с ней*? – Банан вскинул брови.

– А тебя что-то смущает? – спросила я.

Граса улыбнулась и подалась вперед, словно в кинозале.

Банан повернулся к Винисиусу.

– Мы позволили им петь, а теперь позволим и песни писать?

Винисиус молчал. У меня сжались кулаки.

– Тебе-то что? – огрызнулась я. – Песни есть песни.

– Давайте послушаем что-нибудь! – предложил Худышка.

– Ну, ребята... – Банан покачал головой. – Вот провалимся мы в какую-нибудь скользкую дыру.

– По мне, нет ничего лучше, – заявил Худышка.

Граса взвыла от смеха.

– Смейтесь, смейтесь, – сказал Банан. – На карнавале над нами будет смеяться вся Лапа, а вот нам будет не до смеха.

– К черту Лапу! – воскликнул Винисиус. – Если песня хороша, то какая разница, кто ее написал?

Размер самбы – две четверти. Я сделала это открытие много лет спустя, в Нью-Йорке, когда какие-то лабухи из Союза музыкантов Нью-Йорка пошутили, что смогут сыграть хоть самбу, хоть румбу, хоть ча-ча-ча, все они на слух американцев звучат одинаково. Но когда эти нью-йоркские музыканты услышали «Голубую Луну», то поняли, что слух их подвел.

– Это точно две четверти? – спросил один из этих свинговых музыкантов после первой репетиции. – Кроме барабана есть еще ударные, из-за которых музыка кажется быстрее, как будто восьмыми, верно?

Винисиус кивнул.

– О чем он говорил? – спросила я, когда музыкант ушел.

– Ни о чем, – сказал Винисиус. – Он пытался понять, не чувствуя.

Мы никогда не говорили о музыке в терминах – четверти, восьмые, шестнадцатые... Винисиус, исправляя нас на роде, никогда не говорил про ноты или такты.

– Куика, Буниту! – кричал он. – Слушай же свою куику! Она должна умолять, а не ныть. – Или говорил, когда ребята не могли уяснить себе ритм: – Не скользит. Слишком отрывисто. Мы же не на митинг собрались. Надо, чтобы было жирно. Чтобы музыка оставалась у вас на пальцах, на губах. Надо, чтобы вы как будто скользили.

И мы понимали, что имеет в виду Винисиус. Мы слушались его. Если Худышка был шоуменом «Голубой Луны», то Винисиус – его курандейру, высшим жрецом, посредником между известным и неизвестным. И когда той ночью на роде Винисиус рассказал про наши песни, ребята и Граса затихли, предоставив нам слово.

Винисиус тронул струны гитары. Его глаза встретились с моими. Я кивнула, узнав мелодию, написанную для «Воздуха, которым ты дышишь». Я пропела первый куплет, потом второй. Послышался скрежет реку-реку, Кухня играл, уперев инструмент в колено. Маленький Ноэль вступил, выбивая ритм из тамборима стремительными ударами. Худышка забренчал на кабакиню. Потом вступили Буниту и Банан, куика и гитара, и песня обрела глубину, насыщенность, печаль, которых прежде не было. Завершив последний куплет, я вернулась к первому и зашла на новый круг. Граса наблюдала за мной с таким вниманием, так жадно-сосредоточенно, что я чуть не запуталась в написанных мною же словах.

Однажды утром 1937 года, проспав всего несколько часов, я проснулась от громовых ударов в дверь. Место в кровати рядом со мной было пустым. Граса не вернулась домой. Накануне она убежала с роды на свидание, и Винисиус поссорился с ней, обвинив в неуважении. Граса лишь рассмеялась ему в лицо.

Стук не прекращался. Я глянула на наручные часы: семь утра. Я распахнула дверь, готовая излить на Грасу поток самых едких упреков за то, что она забыла ключи. Но за дверью стояла хозяйка – в ночной рубашке и шали, суровая лицом. Мне звонили по телефону. Я кое-как спустилась по лестнице и взяла тяжелую черную трубку. Голос – тонкий, слабый, но который я мгновенно узнала – позвал с того конца, прерываемый всхлипываниями:

– Дор!

Она была на пляже Кобакабана. Ее пустили в какую-то пекарню, разрешили позвонить. Я спросила, как называется пекарня, и велела

ждать меня там.

Потом я ехала на трамвае по пустым улицам. Шеренга солдат окружила подходы к дворцу Катете. Молодой человек рядом со мной прошептал своему соседу:

– Я пытался попасть в университет, но ворота на запоре. Жеже задумал очередной переворот.

Когда я добралась до Копакабаны, на пляже уже стояло пекло. Вдоль побережья белой крепостью вытянулся отель «Копакабана-Палас» с казино. Белоснежные башенки, огромные балконы – самое высокое здание на берегу и самое величественное во всем Рио. Вход охранял швейцар с толстой шеей.

Граса ждала меня не в кондитерской, как мы условились. Я нашла ее на пляже – она не отрываясь смотрела не на океан, а на отель. Рукава ее платья были разорваны, шея исцарапана. Правый глаз заплыл, под ним растекся фиолетовый синяк, левый глаз был залит кровью.

Я кинулась к подруге:

– Господи, что случилось?

– Не кричи, – сказала она, по-прежнему не отрывая глаз от «Копакабаны». – И не говори, что ты не привезла выпить.

Я вытащила из кармана брюк ополовиненную бутылку с ромом и протянула Грасе. Она основательно глотнула, задохнулась и снова воззрилась на отель.

– В «Шимми!» всегда печатают фотографии «Копакабаны», – сказала она. – Самая большая сцена в Бразилии. Грета Гарбо была там, сидела в зале. И президент Америки. – Граса сделала еще глоток из бутылки. – Я должна петь там, на этой сцене. А я вместо этого каждый вечер торчу у Тони перед толпой пьяниц.

Ее слова удивили меня не меньше, чем синяки. Заведение Тони все еще казалось мне пределом мечтаний – нас там любили, хорошо принимали, от нас зависела выручка, и пусть мы с Грасой грызлись, сойдя со сцены, – у Тони мы забывали все заботы и пели, держась за руки.

– У нас будет сцена получше, – сказала я. – Надо только работать.

– С кем? С этой компанией, в которую ты меня затащила? Если ты считаешь, что они – наш счастливый билет, то ты и вполтину не так умна, как я про тебя думала.

– Я тебя туда затащила? Если тебя не устраивает мое общество, ходи на свидания.

– Да что свидания, – сказала Граса. – Ты столько времени пела и играла в бэнде – в настоящем самба-бэнде – и ничего мне не говорила. Даже ни разу не позвала с собой. Мне пришлось ломиться туда самой, а когда я пришла, вы с Винисиусом посмотрели на меня как на заразную.

Кровь запузырилась у нее из пореза на верхней губе. Граса спрятала лицо в ладони.

– Что все-таки случилось?

Я обняла ее за плечи. Граса снова взглянула на башню отеля.

– Один козел постарался прошлой ночью, гребец из «Фламенго». Важная птица. Сказал, что проведет меня в «Копу». А оказалось, что он не собирался вести меня на концерт, а хотел покувыркаться на пляже. Я ему сказала – нет, любезный. Сказала, что я приличная девушка. Что буду, мать его так, настоящей звездой, что в один прекрасный день он будет умолять меня дать ему автограф. И знаешь, что он сделал?

Я помотала головой.

– Он захохотал.

Слезы ручьем полились по ее щекам. Она стерла их тыльной стороной ладони.

– Он все равно хотел заставить меня валяться с ним. Такой сильный! Я устала отталкивать его, а потом подумала про тебя. Вспомнила, как ты вломила Соузе. И подумала: «А как бы Дор обошлась с этим придурком?» И ты как будто оказалась рядом. И я лупила этого хлыща, пока он от меня не отстал.

У меня в ушах поднялся звон. Собственный голос я услышала словно издалека:

– Я бы его убила.

Граса схватила мою ладонь и крепко сжала.

– Кому он нужен? Кому вообще нужен хоть один из этих идиотов? Мне – нет.

Мне вспомнилось, как несколько недель назад мы стояли в темном переулке, как я пыталась притянуть ее к себе, а она оттолкнула меня.

– Тогда зачем ты тратишь на них время?

Граса снова воззрилась на белые башни.

– Когда я не пою, мне кажется, что люди смотрят сквозь меня. Я ничего не значу. Меня можно сдуть самым легким дыханием, – едва слышно сказала она. – Ты не понимаешь, как смотрят на меня эти мальчики поначалу, когда они свистят мне. Когда кто-нибудь смотрит на тебя так, ты как будто оказываешься в центре внимания. Чувствуешь себя настоящей.

– Ты и есть настоящая. Для меня.

Граса улыбнулась. Она неожиданно взяла меня за подбородок и прижалась окровавленными губами к кончику моего носа.

– Тогда не бросай меня больше, – выдохнула она, и ее губы коснулись моих.

В тот вечер мы с Грасой пришли в заведение Тони пораньше, рассчитывая найти мисс Лусию и попросить ее замазать пудрой синяки Грасы. Когда мы прибыли, Тони уже включил радио. Мы с Грасой стояли плечом к плечу, рядом с нами – сам Тони, бармен и мисс Лусия, и слушали обращение Жеже к нации. Слова Жеже падали из динамика, голос был проникновенным, глуховатым – учитель, читающий урок. Конгресс и Сенат закрыты. Новая конституция отдает всю полноту власти президенту. Бразилия из беспорядочного собрания штатов превратилась в объединенную республику. Не будет больше ни фальшивых выборов, ни войн. Жеже продолжит служить народу – своему народу – невзирая ни на что. Военные были (в тот момент) на его стороне. Историки потом назовут этот строй диктатурой, порожденной бюрократами, но Жеже в тот вечер назвал его Иштаду Нову.^[28]

Потом заведение Тони начало заполняться завсегдатаями, как в прежние вечера. (Что было, как мы потом поняли, признаком перемен, Иштаду Нову оказалось сравнительно умеренной тиранией, а Жеже – не столько диктатором, сколько волшебником: по мановению его волшебной палочки свобода исчезла так, что никто этого не заметил.) Мы с Грасой разыгрывали нимфеток перед нашими поклонниками и собирались после выступления отправиться к Тетушке Сиате. Казалось, все как всегда – за исключением лица Грасы. Синяки проступали даже из-под толстого слоя грима. На вопрос Винисиуса, что произошло, мы сказали, что она споткнулась и упала. И пока мы

с Грасой, стоя на тускло освещенной сцене, пели друг другу песни о трагической любви, я не могла оторвать взгляда от ее покрасневшего левого глаза. В груди у меня все полыхало.

Ближе к концу выступления Граса повернулась лицом к залу и на мгновение сбилась с ритма. Большинство даже не заметило этого огреха, но меня он заставил взглянуть в толпу – туда, куда смотрела Граса. И я увидела его. Он околачивался в баре, лапа гребца сжимала букетик цветов. Дорогой костюм. Волосы зализаны назад. На щеке несколько вспухших красных царапин, как от кошачьей лапы.

У меня затряслись руки. Слова танго перепутались, а потом и вовсе вылетели из головы. Граса, продолжая петь, сжала мои пальцы, чтобы вернуть в реальность. Я высвободилась. Не спуская глаз с хлыща, я подошла к краю сцены и спрыгнула прямо в толпу. Это так поразило пьяниц, что они не освистали меня, не запротестовали, не попытались схватить. Граса бросила петь, а Винисиус – играть. Я протолкалась к гребцу.

– Что это? – спросила я, указывая на чахлый букетик в его руке.

– Цветы, – глупо ответил он.

– А это? – Я указала на царапины. Хлыщ бросил взгляд на сцену, на Грасу.

Я схватила гребца за руку. Пальцы у него были толстые и жесткие, как деревянные ложки Нены. Я представила себе, как эти пальцы касаются Грасы, как пытаются забраться в самые потаенные места. И я выгнула эти пальцы назад.

Раздался хруст, а за ним пронзительный крик – точнее, вой, – прозвучавший где-то не здесь, словно все происходило на сцене. Меня оттолкнули, я упала на спину. Пол был липким. Завизжала Граса. Бармен перемахнул через стойку – и вот он уже стоит между мною и гребцом. Я почувствовала на своих плечах чье-то прикосновение, чьи-то руки поднимали меня.

– Ты как? – спросил Винисиус.

– Она мне палец сломала, сука! – орал гребец, прижимая руку к груди, пока могучий бармен тащил его вон из клуба.

Граса опустилась на колени рядом со мной. Я узнала ее запах – розовые духи, которые она покупала в аптеке. В толпе наконец заулюлюкали. Пьяницы топали ногами. Появился Коротышка Тони.

– Вы почему оборвали выступление на середине? – набросился он. – Марш на сцену, пока тут бунт не начался.

– Нет. – Граса обняла меня. – Мы не будем продолжать. Дор избил.

– Он меня не бил, – сказала я, с усилием поднимаясь.

– Или на сцену, – потребовал Тони, – или убирайтесь к чертям.

Граса распустила хвостики и швырнула ленты на пол. Вопли Коротышки Тони потонули в криках толпы. У сцены началась драка. Толпа колыхнулась совсем рядом с нами. Винисиус подхватил гитару и принялся пробиваться к выходу, таща нас за собой. Мы бежали бегом до самого дома Сиаты.

Было, по меркам Лапы, еще рано, дворик Сиаты пустовал. Мы, задыхаясь, ввалились туда.

– Может, расскажете, что произошло? – спросил Винисиус.

Мы с Грасой уставились друг на друга. От пота ее грим поплыл, обнажив синяки. Лозы на костюме Евы вились по ногам странно-зловеще, словно грозили навеки привязать Грасу к грязному полу. Граса едва заметно качнула мне головой.

– Кажется, Дор не любит букеты от своих обожателей, – сказала она.

Винисиус улыбнулся мне:

– Вот как, оказывается, ты обходишься со своими поклонниками?

– А ты не знал? – спросила Граса. – Хорошая трепка – вот что Дор считает романтикой.

– Запомню. Вдруг еще какой-нибудь парень про нее спросит, – сказал Винисиус.

– А что, кто-нибудь уже спрашивал? – Граса хихикнула. – Надеюсь, ты предупредил слабых духом и они успели убраться.

Винисиус захохотал, словно шутки смешнее в жизни не слышал. Я хотела сунуть руки в карманы брюк – и обнаружила, что карманов нет, я все еще в костюме Евы. Я распустила дурацкие хвостики и пошла к калитке.

– Вы так веселитесь на мой счет, – сказала я. – Можете в цирке выступать с этим номером.

– Да ладно, Дор. – Винисиус догнал меня. – Давай выпьем.

Я фыркнула.

– Лучше спрыгну с Христа Искупителя.

– Я с тобой, – пообещал он. – Но вниз падать будет долго. Давай сначала выпьем по стаканчику. Противно, наверное, когда мозги разбрызгиваются.

– У тебя разбрызгиваться нечему, – буркнула я.

– Верно, – согласился Винисиус и понизил голос: – Что это за придурак, которого ты побила? Он к тебе пристаёт?

Я помотала головой:

– Так, один гребец из «Фламенго».

По лицу Винисиуса расплзлась улыбка.

– У меня такое чувство, что на этой неделе он не будет участвовать в регате. Со сломанным пальцем как веслом орудовать?

Я не сдержала ответной улыбки.

– Всегда ненавидела этот сволочной «Фламенго».

– Ну да. Еще один способ продемонстрировать свое увлечение спортом.

Он засмеялся. Я тоже, и громче. Мы не могли остановиться. Взглянув друг на друга, мы снова заходились в хохоте. Скоро мы уже согнулись пополам, гогоча, как двое пьяниц. Из глаз лились слезы. Я ткнулась лбом Винисиусу в плечо. Коснулась лицом его шеи. От Винисиуса пахло водой после бритья и дымом. Почему мое сердце вдруг очутилось где-то в горле, почему так запульсировало в висках?

– Надо рассказать ребятам, – сказал Винисиус. – Они полюбят тебя навеки.

Послышался скрежет, Граса волокла к центру двора ржавый мусорный бак. Потом схватила с ближайшего стола спички, зажгла и бросила в бак.

Винисиус отлепился от меня.

– Что ты делаешь?

Промасленные газетные листы и тряпки в баке занялись сразу. Оранжевые языки пламени пробились над железными краями.

Граса посмотрела на меня, губы ее искривились в самодовольной улыбке. Она сунула руку себе под мышку, схватила язычок молнии и медленно потянула вниз. Трико разъехалось. Граса выпростала одну руку, потом другую, словно сбрасывая старую кожу. Костюм Евы упал к ее ногам.

В те времена эластика еще не существовало. Мы носили нижние сорочки на тончайших, как волос ангела, бретельках и панталоны, удерживаемые на талии кулиской. У Грасы сорочка была бледно-голубая, с фестончиками по подолу; изношенная ткань не скрывала изгибов тела, а на фоне пламени была и вовсе прозрачной. Соски под кисеей обозначились двумя твердыми кружками. Пупок темнел маленькой кляксой, словно на рубашку капнули водой. Бедра налились, а между ними, там, где они сходились, темнела глубокая тень.

Винисиус выдохнул.

– Что... что ты делаешь?

Граса шагнула из костюма Евы, сгребла его одной рукой и швырнула в огонь.

– Разделяюсь со всякой ерундой, – сказала она, глядя на огонь.

Винисиус оглянулся на калитку, потом опять посмотрел на Грасу. Лоб у него блестел.

– Тебя увидят ребята.

– Подумаешь. – Граса улыбалась. – На пляже девушки одеты еще меньше.

Тонкие волоски на ее руках и ногах блестели в свете пламени, отчего она казалась покрытой золотыми нитями. На ляжке темнели пять отметин – синяки овальной формы. Во мне поднялась боль. Я схватилась за живот, боясь, что меня все же ударили, что гребец пнул меня, а я не заметила.

– Ты не можешь оставаться в таком виде, – хрипло сказал Винисиус.

– Тогда дай мне свой пиджак.

Винисиус снял пиджак не сразу. Какое-то время они с Грасой молчали, глядя друг на друга, пока я не поинтересовалась, не пропустила ли я что из их разговора. Винисиус снял пиджак и набросил его Грасе на плечи. Та улыбнулась.

– Дор, не хочешь присоединиться? – спросила она, кивая на мой костюм Евы.

Я отказалась.

Граса запахнула пиджак Винисиуса.

– Если передумаешь, попроси пиджак у кого-нибудь из ребят. Этот – мой.

На следующий вечер я получила приказ от Мадам Люцифер явиться к нему. Граса хотела пойти со мной, но Люциферов посланец отрицательно покачал головой:

– Только дылда. Приказ Мадам.

Было еще рано, всего семь часов, но музыка уже лилась из патефона, девушки присаживались на бархатные диваны, болтая с первыми вечерними клиентами. Я прошла мимо них, в кабинет Люцифера. Он сидел, скрестив ноги, в своем любимом кресле; плюш на подлокотниках протерся, местами проглядывала набивка. Люцифер велел мне сесть на стул.

– Тони вас уволил. Ваша история теперь известна каждому владельцу кабаре, отсюда до Сената. Вы перед всем залом излупили парня из «Фламенго».

– Мы его не излупили. Это он побил Грасу.

Люцифер заохал, как расстроенная мамаша.

– Ты сломала ему палец у всех на глазах? Да еще в костюме? Ах, Дор, Дор. Мечь и плотская любовь – две вещи, которые нельзя выносить на публику.

– Значит, я должна была позволить ему разгуливать по залу как ни в чем не бывало?

– Ты должна была прийти ко мне. – Улыбка Люцифера исчезла. – Но теперь уже поздно. Теперь мне придется поговорить с Коротышкой Тони.

Я заставила себя взглянуть Люциферу в глаза:

– Ты сделаешь так, что нас снова примут?

– Тони правильно поступил, выкинув вас, но он поступил неправильно, не спросив моего на то разрешения. И что теперь? Ни один клуб в Лапе не примет на работу твою подружку, если только я не выкручу кому-нибудь руки ради нее.

– А ради меня? – спросила я.

Мадам Люцифер вздохнул. Он поставил ноги ровно и подался вперед, уперев локти в колени.

– У Грасы голос лучше. И она знает, как вести себя перед залом. Ну-ну, котик, не грусти. Твои таланты гораздо полезнее.

– Например?

Мне надоело, что Люцифер и Анаис вечно указывают, что Граса лучше меня, как будто мне не хватает смелости признать это самой. Но мне всегда казалось, что понятия «лучше» или «хуже» неприменимы к нашему дуэту; мы с Грасой просто разные и потому дополняем друг друга. Мой голос – с хрипотцой, низкий, непривычный – оттенял ее загадочный голос, придавал ему глубины. Ее голос – обволакивающий, яркий и дерзкий – смягчал мое пение. А теперь я потеряла роль нимфетки, а с ней и свое место рядом с Грасой.

– Как ты думаешь, почему я отправлял тебя с поручениями? – спросил Мадам. – Грасинья в этих поездках просто сопровождала тебя. Ты, милая Дориш, никогда ни в чем не просчитывалась. Не потеряла ни багета. Не позволила никому вскружить тебе голову и выманить лишнее. И никому не позволила запугать себя. Ты умеешь считать, милая Дориш, умеешь делать деньги. Какой смысл в таланте, если он тебя не кормит?

Я пожала плечами.

Мадам неотрывно смотрел на меня, взгляд его обрел стальной блеск.

– Итак, твои детские мечты не сбылись. А чьи сбылись? Когда-то давно я мечтал выступить на сцене, не вышло. Если бы я упорствовал в своих мечтах, чем бы я стал – вечно пьяным черным? Посмотри на этих *malandros*, которые сегодня готовы кланяться мне в ноги. Как ты думаешь, милая Дориш, не будь у меня моей нынешней репутации, не перерезали бы они мне глотку бутылочным осколком? Даже здесь, в нашей шкодливой Лапе, люди терпят меня, потому что я *заставляю* их это делать. Пусть шепчут *bicha* у меня за спиной, если хотят, но я все же мужчина. И никому не позволю забыть об этом. Употребляй в дело *свои* таланты, а не гоняйся за теми, каких у тебя нет.

– Значит, ты устроишь на сцену Грасу, а не меня?

Мадам снова откинулся на спинку кресла.

– Нет. Грасу на сцену устроишь ты.

– Но ты сказал, никто теперь нас не наймет... ее. Я же не ты, я не смогу выкручивать руки.

– Я делец. Вы приносили мне хорошие деньги, когда пели у Тони, а ты, милая Дориш, их упустила. Ты мне симпатична, и я даю тебе шанс их вернуть. Вот тебе три недели. Через три недели я хочу свою долю. Приноси мне столько же, как у Тони, – и мы в расчете.

У меня похолодели пальцы. Я вцепилась в подлокотник.

– А если у меня не получится?

– Я всегда получаю свои деньги, так или иначе. – Мадам улыбнулся. – Не бойся, милая Дориш. Я в тебя верю.

Музыка внизу стала громче. Девушки смеялись. Мадам поднялся и застегнул пиджак:

– Я тебя провожу. Вечер еще только начинается.

Люди, которые приписывают успех везению, никогда не бывают успешными по-настоящему. Благодаря везению они могут получить шанс, но обратить шанс в истинный успех может лишь постоянная, напряженная сосредоточенность.

Думаю, нам повезло, что за несколько недель до моего разговора с Мадам старый добрый Жеже во время своего еженедельного радиообращения объявил о переменах в «культурной политике» страны. Газеты на иностранных языках отныне были запрещены. Говорить в школах и общественных местах можно было только по-португальски. «Неужели нашей музыке так нужно иностранное влияние? – говорил Жеже. – Мы новые люди, а новые люди торжествуют над старыми. У Бразилии есть собственная музыка, новая музыка».

Ни аргентинское танго, ни американский джаз, ни европейская опера отныне не допускались ни на государственное радио, ни туда, где, по мысли правительства, бывали иностранные туристы. И гостям, и самим бразильцам следовало предъявлять «новую» бразильскую музыку, желают они того или нет. Этой музыкой была самба. Хотя Жетулиу поначалу не называл ее самбой. Радиодикторы и новый министр культуры именовали ее «народная музыка», а самбистас – «народными исполнителями», словно их песни родом из седой старины.

Мы с Грасой ломали голову, как измениться в том направлении, в каком Жеже внезапно изменил самбу. Люцифер оказался прав: в кабаре и клубах нас не ждали. Многие прослышали о скандале у Тони, а кому-то просто не нравилось высокомерие Грасы: она отказывалась стоять в очереди на прослушивание вместе с десятком других хорошеньких юных талантов. Двери одна за другой закрывались перед нами, особенно передо мной. Анаис давала нам подработать у нее в

магазине, так что на оплату комнаты нам хватало, а вот с едой стало сложнее. От отчаяния я тайком вернулась в заведение Тони – проситься назад. Тогда-то я и узнала, что Тони в больнице Святой Марии – у него сожжено пол-лица. Через несколько недель после того, как он уволил нас с Грасой, посланец Люцифера – тот же мальчишка, что отыскал нас у «Майринка», – вошел в бар, плеснул Тони в лицо раствором щелочи и убежал.

Эту новость сообщила мне мисс Лусия. Не видя ничего, я вышла из пустого бара и, ступая прямо по грязным лужам, бросилась в ближайший проулок.

Вытерев туфли газетой, я купила кока-колы и, потягивая газировку, двинулась по переулкам Лапы на встречу с Винисиусом. Он устроился в другое кабаре, но мы продолжали наши послеобеденные композиторские встречи. Не считая вечеров у Сиаты, я ничего так не ждала в те дни, как встреч с Винисиусом. Мне нравилось, как мягко касается он моей руки, пропуская меня в кафе. Или как он достает из кармана носовой платок и проходится им по стулу, прежде чем я сяду. И как увлеченно слушает, когда я излагаю свои мысли по поводу какой-нибудь песни.

В день, когда я побывала в заведении Тони, никаких мыслей, которыми я могла бы поделиться, у меня не имелось. Винисиус сыграл несколько новых мелодий и пытался добиться от меня стихов, но слова не шли. Песни отказывались говорить со мной.

– Что с тобой? – спросил он наконец. – Перенеслась в какое-нибудь место получше?

За спиной у Винисиуса, за стойкой, владелец кафе включил радио. Глупая самба – быстрый темп, фривольный текст – заполнила внутренний дворик.

– Ты веришь в эту чепуху про народное? – спросил Винисиус. – Какой-нибудь молокосос из Санта-Терезы в первый раз в жизни хватает кавакинью, объявляет себя исполнителем народных песен и гребет бабки. И все благодаря Папаше Жеже.

– Как думаешь, сколько они заколачивают на записи таких песен? – спросила я.

Винисиус пожал плечами:

– Достаточно, чтобы продолжать их петь. Люди хавают. Погляди только на этого типа. Попрошу-ка его выключить радио.

– Люди ничего лучше не знают, – сказала я.

– Позорище.

Сердце у меня бешено заколотилось – птица, запертая в грудной клетке.

– Мы можем дать людям настоящую самбу. Мы можем записать пластинку.

Винисиус дернул головой:

– Я пишу песни не для пластинок.

– А для чего мы все это делаем? Для чего пишем песни?

– Для роды.

– Чтобы их слушали ребята и Сиата?

– Конечно. А что такого? Так всегда было.

– Потому что раньше не было пластинок, радио не было. Мы могли бы показать людям нашу самбу. Настоящую самбу.

– Зачем мне это? – спросил Винисиус.

– А ты хочешь, чтобы люди считали самбой эту «народную» чепуху?

– Люди, которые считают самбой вот это? Да наплевать мне на них, – ответил Винисиус.

– Но на Грасу тебе не наплевать, верно? И на меня?

Винисиус провел рукой в мозолях по волосам. Я ждала его ответа, возбужденная и оцепеневшая одновременно, будто снова сидела в поезде, который нес меня из одной жизни в другую.

– Конечно, нет, – ответил он. – Конечно, не наплевать.

– Тогда помоги нам.

– Записав самбу?

– Мадам Люцифер – делец. Ты сам мне это говорил, помнишь? Он хочет свою долю, работаем мы у Тони или нет. Если мы с ребятами запишем песню и она попадет на радио, то владельцы клубов выстроятся к нам в очередь. Наша самба единственная в своем роде. И мы – единственный бэнд, где поют девушки. Это же всем на пользу: мы станем настоящим ансамблем и покажем людям, что такое настоящая самба.

Винисиус мучительно долго смотрел на меня.

– Мне надо поговорить с ребятами.

– Да они за тобой на Сахарную Голову пойдут, если ты объявишь, что собрался прыгать оттуда.

– Не знаю, Дор. А если людям не понравится наша музыка?
Я притянула руку Винисиуса к себе.

– Никто из нас не знает, что им понравится, а что нет. Мы просто поступаем так, как легче всего. Вот и облегчи людям путь.

Неделю спустя мы уже стояли в тесной студии звукозаписи в центре Рио. К стенам и потолку гвоздями были прибиты пожелтевшие матрасы, в воздухе висел белый дым. За стеклом сидела парочка студийных продюсеров – воротнички и манжеты в пятнах, лица усталые. За спинами – название студии, «Виктор». Между ними стояла стеклянная пепельница с горой раздавленных окурков.

Музыканты не ждали особой прибыли от пластинок, источником денег были концерты, а концерты обеспечивались радиопередачами. Перед записью Винисиус подписал контракт, по которому наша песня «Дворняга» переходила в полную собственность студии звукозаписи «Виктор». За передачу прав нам выплатили сумму, равную пятидесяти долларам США, и предоставили честь записать пластинку. Тогда нам казалось, что это событие стоит отметить.

Когда мы с Грасой втиснулись в студию и встали рядом с мальчиками и Винисиусом, один из продюсеров, тот, что сидел слева, встал и подошел к двери. Стекла его очков в массивной оправе были заляпаны.

– Девочки, подождите снаружи, пока ваши парни поработают.

– Мы певицы, – сказала я.

Он покачал головой:

– Это что-то новенькое. Вы на подпевке?

Прежде чем я успела ответить, Граса схватила меня за руку.

– Вроде того. – И она послала ему обольстительную улыбку.

Продюсер долго рассматривал нас через свои толстые, как бутылочное стекло, линзы, наконец кивнул и вернулся в кресло.

– Разыграйтесь немного, – прокричал он из-за стекла. – Когда нажму «запись», у вас будет только один шанс, вы поняли? После вас у нас еще пять ансамблей.

На запись пластинки отводилось всего два дубля. Первый – чтобы рассчитать время звучания. На стене студии висели часы, стрелки отсчитывали временной лимит, три с половиной минуты. Больше на десятидюймовую пластинку не помещалось.

Мы переделали одну нашу самбу – веселую, живую мелодию – так, чтобы она уложилась в три минуты. Второй дубль был уже собственно записью. Продюсер дал понять, что если кто-нибудь из нас ошибется, больше нас сюда не пригласят.

Микрофон имелся только в передней секции. Мы до этого микрофонов не видели – в кабаре Лапы певец мог полагаться только на собственные связки. Сейчас перед нами был микрофон – очень широкий, весь в дырочках, похожий на металлическое сито. Я представила себе, как мой голос вливается в него и просачивается на воск пластинки.

Мы приготовились. Когда вокальная часть закончится, объяснил продюсер, мы должны очень тихо спрыгнуть и прижаться к стене, чтобы микрофон записал инструментальную часть.

Зазвучал тамборим Ноэля – *бамп, бамп, бамп*. Заскрежетал на реку-реку Кухня: *кики-рик, кики-рик*. Вступила кавакиню Худышки: *плинь-плинь, плинь-плинь*, словно капли дождя. Заиграл Буниту, и слышались сладостные стенания куики: *о-о, ах, о-о, ах*. Быстро, на басах, вступили гитары Винисиуса и Банана, их вязкий звук соединил воедино все прочее. Граса кивнула, и мы быстро придвинулись к микрофону, боясь, что нас оттащат, если мы не поторопимся.

Мои любимые собаки —
Бездомные дворняги!
Никто им не хозяин,
Никто им не указ.
Мои любимые собаки —
Бездомные дворняги!
Драчливые, свободные,
На музыку голодные.
Где ты, моя дворняга?
Я жду тебя!

– Стоп! – крикнул продюсер.

Ребята повиновались. Я отодвинулась от микрофона. Нас с Грасой разоблачили: мы не подпевка и не собирались ею быть.

Очкастый сотрудник снова подошел к двери.

– По мне, ребята, хоть козу наймите петь, если звук будет хороший. Но вы, девочки, гасите друг друга. Две певицы наяривают песню, которая требует одного голоса. У вас «где ты, моя дворняга», а не «наши дворняги». Давайте еще раз, с одной певицей. Кто из вас будет петь?

Мы с Грасой посмотрели друг на друга, потом на Винисиуса. Винисиус глянул на Худышку. Банан и Буниту старались не смотреть мне в глаза. Маленький Ноэль залился краской. Кухня упорно рассматривал свою реку-реку. Я снова перевела взгляд на Винисиуса. С таким лицом он, наверное, глядел бы на щенка, которого только что переехал.

Только в эту минуту я поняла, как мне хотелось, чтобы с пластинки звучал мой голос. Мне хотелось быть увековеченной в воске, хотелось существовать в сотне копий, хотелось звучать в гостиных и кафе, проникать в уши людям, чтобы стать частью их воспоминаний. Я хотела, чтобы меня слушали. Разве не я настояла на том, чтобы записать пластинку? Разве не я написала «Дворнягу»? Все это, конечно, было не в счет; мы все знали, чей голос – лучший. Я решила избавиться себя от унижения и не стала дожидаться, когда меня попросят отойти от микрофона.

– Петь будет Граса, – сказала я и отодвинулась к задней стенке.

Граса вплотную приблизила лицо к микрофону – так, что при каждом звуке губы касались металла. Просеянный через сито микрофона, ее голос был нежным и дьявольским одновременно. Он как будто подмигивал слушателю. «Любимые собаки», – мурлыкала Граса, и становилось понятно: это не про собак, это про мужчин. Граса не походила на попавших под запрет исполнителей танго, что поют, точно бегут марафон, перемахивая через звуки, как через препятствия. Граса пела, словно развлекалась, словно делила со слушателем великолепную городскую ночь.

Процесс записи был отработан, мастер-диск из шеллака и карнаубского воска изготавливали прямо в студии. На одну пластинку с двумя сторонами – А и Б – уходило двадцать минут. После того как Граса с мальчиками записали сторону А, продюсер потер руки.

– Есть еще оригинальная песня? – Он был в восторге. – Я хотел, чтобы вы записали на сторону Б какую-нибудь штампованную *marchinha*, но посмотрим, что у вас найдется.

Граса повернулась к Винисиусу:

– Может, еще одну песню Дор? Ту, где про воздух, которым ты дышишь.

– Она для тебя слишком медленная, – заметила я от задней стенки. Когда мы играли эту песню – мою песню, – пела только я.

– Можно ускорить темп, – сказал Винисиус. – Постараться уложиться в три минуты. Попробуем?

Сотрудник студии кивнул и распорядился начать пробы. По его знаку Граса замурлыкала: «Здесь я, любовь моя. Рядом с тобой всегда. Ужин тебе добуду, постель тебе постелю... Но если я уйду, ты шагов моих не услышишь. Мало кто замечает воздух, которым дышит».

На родах мой голос звучал мольбой, делая песню трагедией. Но здесь, в студии, Граса подпустила в голос наигранного злодейства, и стихи зазвучали шутливой угрозой: «И если я уйду, ты шагов моих не услышишь. Мало кто замечает воздух, которым дышит».

Граса, не теряя темпа, успевала делать легкие быстрые вдохи – намеки на наслаждение. Мне никогда не удалось бы спеть эту песню настолько хорошо.

Всего через несколько тактов продюсер улыбнулся и хлопнул в ладоши, утверждая «Воздух, которым ты дышишь» для стороны Б. Десять минут спустя моя первая песня была записана, хотя мое имя на пластинке не обозначили. Когда продюсер спросил о названии, ни Граса, ни мальчики не стали колебаться.

– София Салвадор и «Голубая Луна»! – ответили они почти хором, словно отвечали так всегда.

У Тетушки Сиаты в ту ночь творилось бог знает что. Граса и мальчики исполняли «Дворнягу» и «Воздух» до бесконечности. Худышка притащил из какого-то кабаре двух девиц, которые сидели теперь у него на коленях и целовали его в шею. Кухня, Буниту и Банан, нанюхавшись кокаина, яростно терзали свои инструменты, гоня песни в таком бешеном темпе, что мне стало тревожно. Маленький Ноэль в конце концов свалился под стол. Я позавидовала ему.

Я старалась вылакать как можно больше пива и тростникового рома в попытке поднять себе настроение. Как ни крути, а мы все-таки записали свою первую пластинку. При моем участии. И все же я чувствовала удовлетворение, но не счастье. В студии я отказалась от

своего места рядом с Грасой – и она не запротестовала, а спела даже лучше прежнего. А потом, когда мы шли к Сиате, она и Маленький Ноэль держались за руки. На роде Граса сидела между Худышкой и Кухней и пела, ни разу не взглянув в мою сторону, как будто и песни, и рода всегда были только ее. Обо мне помнил, кажется, только Винисиус – он крепко хлопнул меня по спине, как если бы я была одним из «лунных» ребят.

– Мы записываемся благодаря тебе, – сказал он. – Может, тоже споешь? Без тебя роды не выйдет.

Я уже готова была согласиться, как вдруг пение оборвалось. Граса вышла в центр «лунного» круга и вскинула руки. Худышка спихнул девиц с колен, вскочил и обхватил Грасу за талию. Они двигались с текучей, аккуратной непринужденностью двух кошек, их бедра раскачивались точно в такт. Буниту засвистел. Девушки, поначалу недовольные, захлопали, стали подбадривать танцоров криками. Кухня ускорил темп, потом еще, но Худышка и Граса не сбивались. Из-под их ног летела земля. Граса откинула голову и засмеялась.

Я невольно улыбнулась. Посмотрев на Винисиуса, я увидела, что он тоже улыбается. На его лице была смесь потрясения и благоговения, словно он только что своими глазами увидел русалку, единорога или еще какое-нибудь сказочное существо, о котором в последний раз вспоминал в детстве. Я знала это выражение. Видела у мужчин в заведении Тони. Но Винисиус? У меня внутри что-то увяло и опало, как падает последний лепесток у цветка.

– У тебя вид умирающего от голода, – заметила я, прервав его грезы. – А она – кусок мяса на тарелке.

Винисиус испуганно дернулся.

– Она ужасная эгоистка. Просто уму непостижимо, какая.

– А на черта нам что-то, что постижимо уму? – спросила я.

Винисиус моргнул, объявил, что ему нужно в уборную, и быстро зашагал к домику Сиаты.

– Куда это Динозавр побежал?

Граса скользнула ко мне. Грудь у нее блестела от пота, на платье под мышками темнели пятна.

– Его тошнит от всего этого. Наверное, пошел блевать.

– Мы тут вроде как отмечаем важное событие. – Граса натянуто улыбнулась.

– Ну и отмечайте.

– Трудновато, если ты забила в угол и сидишь кислая, как монашка в публичном доме.

– Все смотрят только на тебя. Ты ведь этого всегда хотела, да?

– Не ной, Дор. Повеселись хоть раз в жизни. Я же не виновата, что не тебя записали.

– Но ты пальцем не пошевелила, чтобы я осталась рядом с тобой. Вот вам и поддержка. Да ладно. Я все равно не хочу петь всякую заурядную карнавальщину.

– В каком смысле – заурядную? – спросила Граса.

– Простенькие песенки.

– Ты же сама написала эту песню, сестра.

– В точку. И я тебе не сестра.

Музыка оборвалась. Во дворике воцарилась тишина. У Грасы кожа на груди пошла красными пятнами.

– Тряпка несчастная! С тобой радости как на кладбище. И воняешь календулой! Тоска смертная.

Я выдавила смешок.

– Тебе со всеми скучно, потому что ты вся из себя звезда. А знаешь, что будет потом? Потом все тебя бросят.

И я, спотыкаясь, побрела к калитке.

Я шаталась по улицам Лапы, пока не очутилась у забранной железной ставней витрины «Дамского шика». Я нажала кнопку звонка. Наверху зажегся свет. Я сняла берет и пальцами причесалась. Заслонка глазка отъехала в сторону. Повернулась щеколда, и передо мной оказалась Анаис с кувшином воды в руках.

– Я думала, какой-то пьяный развлекается с моим звонком. Хотела привести в чувство.

– Я и есть пьяная.

Свободной рукой Анаис суетливо поправила халат. Вещица тончайшего шелка. Из-под короткого халатика виднелась кружевная комбинация.

– Надо бы вылить это на тебя, – сказала Анаис. – Чтобы ты ушла.

Я вдруг подумала про Худышку, его обаяние, его уверенность в себе. И улыбнулась.

– Хочешь, чтобы я ушла? Я не видела тебя сто лет.

– А где вторая? – Анаис заглянула мне через плечо.

– Ее нет.

– Надо же, какая перемена. Ты всегда или с ней, или с тем музыкантом.

– Его зовут Винисиус, – сказала я, губы мои скривились, произнося это имя.

– Так ты одна?

– Нет, – ответила я. – С тобой.

Анаис рассмеялась и открыла дверь. Я стала подниматься по лестнице следом за ней.

Квартирка у нее была маленькая, но элегантная; на подоконнике – букет цветов, в углу – радио. Плотный занавес отделял гостиную от спальни.

– Я бы предложила выпить, но это, кажется, неуместно, – сказала Анаис.

– Кофе? – спросила я.

У Анаис на лице отразилось удивление, словно она не вполне поняла мою просьбу.

Она подошла к плите и поставила чайник на огонь. Халат едва прикрывал ее ноги выше коленей. Босые ноги, длинные и гладкие; я представила себе Анаис в ванной, как она бреет ноги мужской бритвой.

– Я не разрешаю ученикам подниматься сюда, – сказала она, поворачиваясь ко мне.

– Я и не ученица. Ты сказала мне, что у меня нет голоса. Помнишь?

Улыбка Анаис исчезла.

– Я этого не говорила. Я сказала, что твой голос не выдержит испытания сценой.

Я покачала головой:

– Это одно и то же.

– И ты обиделась? Прости. Я знаю, что ты хочешь петь на сцене, но мне кажется, лучше знать правду.

– Лучше?

– Некоторые желания – как мода, Дориш. – Анаис сняла чайник с плиты. – Проходит время, и они меняются. И твое бы тоже изменилось.

– А если нет? Если оно только усилится?

Я смотрела на ее руки и вспоминала, как они мяли живот Грасы. Как большой палец Анаис скользил по моим губам. У нее было розовое белье с бретельками тонкими, как гитарные струны. Как легко, наверное, они упадут с плеч. Я придвинулась к Анаис – так близко, что почувствовала ее запах, запах мыла и кофе. Храбрость, которую я на себя напустила, вдруг испарилась. Я отступила. Анаис схватила меня за руку.

– Теперь ты меня боишься? – улыбнулась она. – Не бойся.

Она притянула меня к себе, и я ощутила ее губы на шее, ухе, на подбородке. Потом ее губы скользнули по моей щеке – и наши рты встретились.

Губы, зубы, языки есть и у мужчин, и у женщин. Чисто технически – какая разница, целует тебя мужчина или женщина, ведь в обоих случаях в поцелуе участвуют одни и те же части тела. Но это все равно что говорить, будто музыка – всего лишь ноты на странице, что одну и ту же мелодию двое разных музыкантов сыграют одинаково. На самом деле разные музыканты оживляют одинаковые ноты по-разному. С поцелуями – точно так же.

В ту ночь и в последовавшие за ней Анаис показала мне, что я тоже могу быть желанной. Что мое вожеление может разделить другой человек, мне могут даже ответить взаимностью, что необязательно душить свое желание. Поначалу это открытие напугало меня, но страх продлился недолго.

Суждено быть

Я не хотела бы стать
Солнцем, что светит тебе.
Нет, это солнце – не я,
Оно ведь не на земле.

Я полотенце, что высушит кожу твою, мокрую
после моря.
Я носовой платок, что впитает слезы твои, когда ты
в горе.
Я та подушка, что мольбы твои сбережет всех
верней.
Я тот комар, что летает, пьяный от крови твоей.

Скажи, что я не нужна! Скажи, что все это глупо!
Скажи, что
Сможешь прожить без меня. И тебе отвечу я:

Ты семя, а я – ладони, что в землю посадят тебя.
Ты корни, а я – почва, что будет питать тебя.
Ты пуля, а я – ствол, что в полет отправляет тебя.
Ты плод, а я – нож, что разрезает тебя.

Скажи, что я не нужна! Скажи, что все это глупо!
Скажи, что
Сможешь прожить без меня. И тебе отвечу я:

Ты не ты
Без меня.
И всем, что мы есть вдвоем,
Нам
Суждено быть.

Иные образованные люди утверждают, будто самба пришла с холмов, из беднейших, самых несчастных районов Рио. Это правда. Но правда и то, что она пришла от удачливых сирот вроде Винисиуса, от уличных забияк вроде Кухни, от нежных душ вроде Ноэля. Она пришла от распутников вроде Худышки и от скромников вроде Банана и Буниту. От испорченных барышень вроде Грасы и от ничтожеств вроде меня.

Попытайся отследить историю самбы – и не обнаружишь источника. Попытайся перечислить выдающихся самбистас – и тебе не хватит места на листе бумаги. Самба пришла от хозяев и рабов, из гостиных и трущоб, из городов и с плантаций, от мужчин и женщин. Найти ее источник невозможно, так зачем и пытаться? Может быть, лучше просто слушать ее?

Самба не терпит упрощения; не должны терпеть его и люди. Никто в Лапе не смел утверждать, что он или она – то или другое. Если бы кто-нибудь, паче чаяния, начал утверждать: «Я женщина», «Я индеец» или «Я мужчина, охочий до мужчин», его сочли бы сумасшедшим или не стоящим доверия. Определять себя так означало смехотворно упростить себя.

В Лапе люди не рассказывали о том, чем они занимаются в постели. Это никого не интересовало, если только в дело не оказывались замешаны дети или убийство. Почти во время каждого карнавала наш Кухня ускользал от нас с каким-нибудь красавчиком, и горе тому, кто посмел бы усомниться в его мужественности. То, что мои похождения не ограничивались четырьмя безумными днями карнавала, отличало меня от прочих, но смертным грехом не считалось. Однако мои похождения все же воспринимались как похождения – рискованные, из ряда вон выходящие и случавшиеся время от времени. Даже я сама так считала.

Те из нас, кто вырос на богемных улицах Лапы и ненавидел ярлыки, рано или поздно все же сталкивались с тем, что надо как-то определить себя. Уже в начале жизни мы определяем себя как девочек или мальчиков. Позже становимся хорошими или плохими учениками, художниками или дельцами, красивыми или невзрачными. Мы

называем себя адвокатами, продавцами, музыкантами или певцами. Превращаемся в мужей и жен. Каждый новый ярлык наклеивается на слой предыдущих. И в один прекрасный момент их вес начинает давить на тебя. В конце жизни тебя можно описать одной унылой фразой из некролога: от нас ушла кухонная девчонка, певица, композитор, любовница, жена, бывшая подруга.

А есть еще ярлыки, которые вешают на тебя другие, или, может, ты сам их на себя навесил, хоть и невольно. Этих ярлыков не будет в некрологе, но их будут шепотом передавать друг другу во время поминальной службы. Я читала, что насочиняли обо мне так называемые интеллектуалы и низкие духом журналисты. (Разумеется, писали они не обо мне. Для них я была эпизодической фигурой в истории Софии Салвадор и Винисиуса ди Оливейры.) Я была тираном-менеджером, тщеславной подругой-завистницей, несостоявшейся певицей, другой женщиной, подражательницей, укравшей у Софии Салвадор ее революционный стиль самбы, подозреваемой, палкой в колесах «Голубой Луны», прилипалой с сапфическими наклонностями, кобелихой, бритвой «Жилетт», девочкой, которая никак не может решить, что она хочет делать и с кем.

Анаис сделала меня прилежной ученицей, жаждущей испробовать свои умения. К моему удивлению, несколько жен студийных продюсеров не без удовольствия провели со мной время, хоть мы и встречались тайно. Были и другие – девочки из сувенирных магазинов, официантки, загорелые кошечки с пляжа, напускающие на себя важный вид мелкие продавщицы. Все они были девушки из Лапы и не опасались проводить время со мной, а если и опасались, то это был нестрашный страх, только возбуждение, которому невозможно противиться, ощущение неопасного риска. После ночи со мной не могло быть ни утренней дурноты, ни тайных визитов к врачу или жалоб на «аппендицит». Со мной женщины получали не меньшее удовольствие, чем с мужчиной, но рисковали при этом гораздо меньше.

Мужчины у меня тоже были. Сначала меня толкало к ним любопытство. Какие ощущения дарит любовь с мужчиной? Похожа она на любовь с женщиной? Почему Граса так увлечена ими? Моим первым мужчиной был не искушенный учитель вроде Анаис, а неловкий нервный бармен. Все произошло быстро и оставило не слишком приятное впечатление. Я потом чувствовала разочарование и

скуку, но не настолько, чтобы отказаться от секса вообще! Я всегда была настойчивой и потому не перестала обращать внимание на мужчин, просто выбирала теперь более придирчиво.

Кто выдумал, что мужчина стремится доминировать, а женщина – подчиняться? Кино и книги насаждают этот миф, и хотя для некоторых так и есть, но этот миф не распространяется на всех и каждого, как не распространяется на все случаи. Я терпеть не могу обобщений, но могу сказать, что мужчины устроены необычайно просто. Секс с мужчиной – это как прибыть в нужное место. Если повезет или если ты достаточно искусна, вы придете одновременно. С женщиной испытываешь постепенные смены желаний: оно то слабее, то интенсивнее, то поднимается, то опускается и не завязано на том, чтобы непременно достичь пункта назначения. Женщины – круги, мужчины – стрелы.

– Дор – это бритва «Жилетт», – зубоскалил Худышка. – Бреет хоть так, хоть эдак.

Несмотря на все эти шпильки, мои товарищи-музыканты понимали меня лучше других, потому что они понимали самбу. В иные ночи нам хотелось простоты. В другие – хотелось раствориться в пульсирующей музыке. Выбор песен зависел от нашего настроения и от людей, с которыми мы играли. Неизменной оставалась – для меня, во всяком случае – сводившая с ума смесь возбуждения и желания, предшествовавшая каждой роде. Каждая песня была завоеванием, победой. Каждая нота – актом любви.

Суждено быть

В Лапе бывали минуты, незадолго до рассвета, когда закрывались кабаре, последние посетители возвращались в безопасность своих домов и в темных переулках становились слышны затихающие звуки ночной роды – охрипшие голоса, мелодии медленные и грустные. Тайные песни, жесткие ритмы, не предназначенные для света дня. Эти песни играли на исходе ночи, когда все остальное уже спето: хватит пить, хватит друзей, хватит женского смеха и сигарет, хватит набивать живот едой, хватит наполнять чашку водой – есть только ты и гитарист, вы одни в темноте, забыли все, кроме своих голосов, кроме песни, что внутри тебя, которую вы всегда знали, но до этой минуты не умели разделить. Иногда случались невинные слушатели: молодая мать бодрствует в окне; парочка, запутавшаяся в простынях; юная девушка в берете и брюках, руки в карманах, рот саднит от поцелуев, и блаженно побаливают места, которые ей всю ее жизнь не позволяли трогать. Она останавливается и слушает горькие жалобы роды, и жизнь ее словно колеблется на весах. Словно все, что с ней успело случиться за ее недолгую жизнь – побои, ложь, стыд, любовные бури и триумфы (хоть их так мало), – втайне сговорилось и привело ее сюда, слушать песню, ни для чьих ушей не предназначенную. Песня окутывает ее. Музыка – как зеленое поле или теплая постель; это место, где ты всегда найдешь пристанище. Дом, подобного которому нет.

Помню такое возвращение – после той, первой своей ночи с Анаис. Я слушала ту музыку, ощущала уколы чудесной боли в глубинах своего тела, и мне хотелось, чтобы так было всегда. Но я знала, что такое единение ненадолго. Песня закончилась. Дневная Лапа проснулась.

Я забежала в булочную, купила кофе и села у окна с записной книжкой и карандашом. Я постаралась записать, что чувствую. На бумаге оказалась мешанина слов и рифм – как мне показалось, пустых и жалких. Не было слов, которые передали бы опыт той ночи: меня взял другой человек, поняв и приняв мои желания. Не об этом ли говорила Граса в то утро на пляже Копакабана? Может быть, она

чувствовала себя настоящей рядом со своими хлыщами? Может быть, поэтому и возвращалась к ним каждый вечер?

Я отложила карандаш, теперь я злилась. Граса месяцами испытывала это чувство – и не поделилась им. Она всегда опережала меня. И почему с этими дураками? Почему она выбрала их, а не меня? Часы, проведенные с Анаис, поблекли, и, как всегда, на первое место выдвинулась Граса. Мне захотелось рассказать ей о своей ночи, отчасти чтобы похвастаться и показать ей, что теперь мы равны, отчасти чтобы лучше осознать произошедшее. Граса бы выслушала. Она бы поняла. Как когда она после того концерта объяснила сеньоре Пиментел причину моей печали: песня заперта внутри меня. Граса поняла меня, потому что чувствовала себя так же.

Я залпом проглотила остатки кофе и закрыла блокнот, готовясь бежать домой. А потом вспомнила про нашу ссору. Мы и раньше ссорились, говорили друг другу гадости, бывали подлыми и мелочными. Отбушевав, буря уносилась, но Граса всегда умела отомстить, пользуясь для этого моими же собственными словами. Всему была своя цена: Граса могла отказаться слушать или, того хуже, объявить мой опыт с Анаис глупым и ничего не стоящим. У Грасы был дар оживлять моменты жизни, но она умела и убивать их.

Я решила не ходить пока в пансион. Можно остаться здесь, в пекарне, можно вернуться к Анаис. Можно найти Винисиуса, попросить подушку, поспать у него на полу. А потом мы напишем песню. Но от одной мысли, что придется рассказать Винисиусу, как я провела ночь, у меня запылали щеки. Рассказывать ему подобное – нет, невозможно. Не потому что я стыдилась сделанного, а из-за самого Винисиуса. Он старше. Он не новичок с женщинами – я видела, как они тают перед ним. Рассказ о том, как я провела ночь, будет приписан моей юной неискренности. Я покажусь Винисиусу глупым ребенком, а мне хотелось, чтобы на меня смотрели как на равную.

Поэтому я, скрипнув зубами, отправилась к пансиону, твердя себе, что жить там позволено не только Грасе. Я вставила ключ в замочную скважину, но он не повернулся: дверь была не заперта.

Шторы на окнах опущены. Постель пустая, простыни смяты. В комнате пахло духами и сигаретным дымом.

– Я думала, ты меня бросила навсегда.

Я вздрогнула и обернулась. Граса сидела в углу в кресле, подтянув ноги под себя. Волосы спутаны. Подошвы черны от грязи, как у беспризорника. Голос гнусавый, словно Граса подхватила простуду.

– Сколько времени ты дома? – спросила я.

– Тебе-то какая разница?

Я села на кровать. Как мне хотелось опустить голову на подушку и провалиться в сон! Я пожалела, что пила кофе.

– Я выпила лишнего, – сказала я, и это прозвучало извинением. – Мы все выпили лишнего.

– Винисиус так и сказал, – ответила Граса. – Когда ты смылась, он проводил меня домой.

Теперь стало ясно, какими сигаретами здесь пахнет. Я сгребла простыню в горсть.

– Он поднимался сюда, с тобой?

Граса улыбнулась:

– Ага. Но я его выдворила. Хотела подождать в одиночестве. Я не знала, вернешься ли ты.

– Я гуляла.

– Долго же ты гуляла.

Я могла бы солгать, но почувствовала острую потребность рассказать Грасе правду. Не потому что Граса ее заслуживала, а потому что иначе мой опыт стал бы в моих глазах менее реальным.

– Я ходила к Анаис. Разбудила ее.

– Опять ругалась насчет уроков? – Граса села поудобнее.

Я покачала головой:

– Мы не ругались. Мы вообще почти не разговаривали.

Граса сощурилась, словно производя в голове какие-то вычисления. Потом ее глаза расширились и она улыбнулась.

– А после она тебя выставила на улицу. Не оставила спать у себя под бочком?

– Ей утром на работу. И мы не муж и жена. Мы просто приятно провели время.

– Правда хорошо? – спросила Граса.

Я устала на свои ладони.

– Это было как когда мы в первый раз увидели город, тогда, на корабле, помнишь? Как будто вдруг попали в совершенно новое место,

но которое словно знали всю жизнь. Как будто мы должны были там оказаться.

– И вот мы здесь. – Граса кивнула, выбралась из кресла и села рядом со мной, сплетя свои пальцы с моими. – Когда ты ушла, я кое с кем ужасно поцапалась, – призналась она.

– С кем это?

– С Винисиусом, с кем же еще. Он искал тебя. Я сказала ему, что мы поссорились, и он начал разыгрывать из себя большого начальника, сказал, что это я тебя прогнала и пусть бы я лучше держала свой язычище при себе.

– Но он проводил тебя до дома, – напомнила я. – И поднялся сюда.

– Он думал – вдруг ты вернулась и рыдаешь тут из-за того, что я задела твои чувства. Как будто ты стала бы рыдать. Как будто он тебя знает! Великий дирижер, который всем указывает, как себя вести. Ну а я ему сказала, что никакой он у нас не главный.

– У нас. – Я смотрела на наши сплетенные пальцы.

– Тебя не было на той пластинке... – начала Граса.

– И на следующей тоже не будет, – перебила я. – Я не гожусь в певицы.

– Но ты нужна мне!

– Чтобы гладить платья? Укладывать волосы?

– Мне нужно, чтобы ты была на моей стороне. – Граса сильнее сжала мою руку.

– Против кого?

– Против всех. Против всего мира.

– Мир сожрет нас с костями. Так говорила Нена.

– Меня пусть лучше проглотит целиком. – Граса рассмеялась.

«Дворнягу» и «Воздух, которым ты дышишь» несколько месяцев подряд крутили по радио каждый час. Девушки в Рио теперь звали своих парней «дворнягами». Компания, производившая мыло «Люкс», напечатала в газетах рекламу, где говорилось: «Бальзам для бритья “Люкс” придаст вашей коже младенческую гладкость, даже если для НЕЕ вы – любимая Дворняга!» А когда люди покупали патефон, «Дворняга» становилась первой пластинкой, которую они клали на вертушку.

После выхода пластинки мы отыграли столько концертов, что до сих пор не понимаю, как остались живы, так мало мы спали. Счастливая дрожь успеха – нами восхищаются, нас хотят слушать! – подпитывала всех нас, даже меня. Кабаре, джазовые клубы, небольшие залы – все хотели видеть нас у себя на сцене. Точнее, хотели видеть Софию Салвадор и «Голубую Луну». Я оставалась за сценой – подпевала, отстукивала ритм ногой, отмечала смены темпа и ритма, когда ребята начинали импровизировать просто из баловства. Сидеть скорчившись за сценой, в темноте, среди пыльных балок, проводов и всякой бутафории – всего того, что зрителям видеть не полагается, иначе это разрушит создаваемую на сцене иллюзию, – было как сидеть на кухне господского дома в Риашу-Доси. Именно здесь часами напролет резали, мыли, отскребали, истекали кровью и потом, бесконечно создавая искусную иллюзию простоты и роскоши для тех, кто находится в господских комнатах. Какая-то часть меня чувствовала себя в темном, вещном мире засценья как дома. Другую часть точило отчаяние: меня снова вышвырнули на зады, в тень. Но у меня было утешение, которым я дорожила: Граса оттеснила, но не заменила меня; моего голоса нет на пластинках, но Граса поет песни, написанные мной.

За недели, что прошли после выпуска «Дворняги», я написала много песен. Девушки и парни, которых я оставляла каждое утро, возвращались ко мне в моих стихах. Песня «Как очистить луковицу» была очевидной до смешного – о раздевании, но ее двойное послание дубиноголовые цензоры Жеже считать не сумели. Были жизнерадостные песенки о красавчиках-барменах. Были песни для вечеринок во время карнавала, в них герои занимались любовью в карнавальных костюмах, уединившись где-нибудь в темном переулке. Были душещипательные песни о коротких летних романах, были гневные баллады, написанные от лица покинутых. Конечно, музыку писал Винисиус, но он в те дни был способен лишь на песни о безнадежной любви.

В мелодиях Винисиуса звучало вожеление. Музыка начиналась, как обычно, с чистых звонких нот, но потом постепенно выбивалась из колеи, двигалась как в летаргии и звучала глубже, звуки не имели дна, сквозь них можно было падать в бесконечность. Я не спрашивала о причинах. Не хотела знать. Что бы ни прорастало внутри нас, что бы

ни поднималось на поверхность – за работой мы с Винисиусом не анализировали своих чувств, не разлагали их на части. Мы просто следовали за музыкой, даже если она пугала нас. Сочиняя, мы с Винисиусом бывали смелее, чем в реальной жизни, – отчасти потому, что со всеми трудностями, что поджидали нас в музыке, мы сталкивались вместе.

На студии «Виктор» так хотели наших песен, что пускали нас записываться в любое время. Каждый вечер, когда София Салвадор и «Голубая Луна» отыгрывали концерты, мы отправлялись к Сиате – ни поздний час, ни усталость не могли заставить нас пропустить роду. Мы шлифовали какую-нибудь трехминутную самбу, и кто-нибудь из нас, обычно Граса, улыбался и говорил:

– Отлично. Давайте ее запишем.

Винисиус кривился.

– Да ну же, Прфссор! – поддразнивал его Кухня, глотая звуки. – Дор, звони продюсеру! Идем записываться!

Так просто нам в те дни было достигнуть согласия.

В студии нас встречал продюсер с сонными глазами. Мы были пьяны, валяли дурака, но как только часы начинали отсчитывать время и продюсер включал микрофоны, мы без остатка вливались в музыку.

Я вспоминаю те ночные часы: вот мы, пошатываясь, идем на студию через всю Лапу, бок о бок, посмеиваясь и спотыкаясь друг о друга; я сейчас так люблю Грасу и мальчиков, что трудно дышать. Да, я не была нимфеткой. Я не была Лореной Лапой. Я не была певицей с пластинки. Я не была частью действия и никогда не стала бы. Но чудо нашего взлета – моего взлета – никуда не делось. Мы добились успеха. Мои песни были у людей на устах. А мы – Граса, Винисиус, «лунные» мальчики и я – были вместе, создавая музыку ради самой музыки и время от времени ощущая себя великими и знаменитыми самбистас.

Конечно, мы не знали, что такое настоящий успех. Мы подписывали договоры не читая и отдавали наши песни «Виктору» за гроши, а взамен попадали на радио, что обеспечивало нас концертами. Мы зарабатывали достаточно, чтобы платить за комнату и удовлетворять аппетиты Мадам Люцифер, да еще оставалось, чтобы отдавать Винисиусу и ребятам их долю. Мы все еще сидели на рисе и

бобах, а мальчики не могли бросить свою дневную работу, но нас это не огорчало. Мы наивно думали, что мечта сбылась.

Не только мы жили этой мечтой. После успеха «Дворняги» на студии грамзаписи пошли десятки других групп по образу и подобию нашей, с женским вокалом, бывшим тогда в новинку. У «РКА» были Жеси и «Барабаны». У «Одеона» – Нина и «Светлячки». У «Парфалона» – Валдетта и «Песни Бразилии». А у «Виктора», параллельно с нами, записывались Араси и «Стиляги». Они и видом походили на нас: музыканты в костюмах, певицы в школьных белых блузках и широких юбках. Но их самба не имела ничего общего с нашей, язвительной, страдающей, трагической и веселой одновременно, – скучная, неопасная и абсолютно фальшивая песня Араси Араужо «Мяу-мяу» бесстыдным образом была списана с «Дворняги», но кого это интересовало? Вскоре «Мяу-мяу» уже крутили на радио, а Араси соперничала с нами за концерты.

Наши песни выпали из постоянной ротации на радио прежде, чем мы поняли, что произошло. Кабаре зазывали к себе популярных исполнителей, и мы начали выступать все реже. Когда мы в предрассветные часы приходили к «Виктору», у нас часто портилось настроение: мы обнаруживали, что три другие группы, явившиеся записывать очередной хит, уже топчутся у входа. Нас это обескураживало: мы только-только вкусили сладость успеха, и вот чудесный напиток разбавлен и стал водянистым. Так как концертов стало меньше, мы с Грасой снова отказывали себе во всем – надо было платить за комнату и отдавать долг Мадам Люцифер. Потом мы задержали плату Мадам на две недели, и вот в наш пансион явился его посланец. Я похолодела, ожидая приказа следовать в контору. Однако парнишка прибыл по другому поводу.

– Ждите Мадам на углу его дома, – объявил он. – И оденьтесь пофасонистее. Мадам сказал – никаких штанов, хорошенькая пусть не сильно красится. И приведите парня – того, главного. Пусть наденет приличный костюм.

– Куда мы пойдем? – спросила я.

Парнишка пожал плечами:

– Он сказал – вы его гости.

Полночь уже миновала. В свете газовых уличных фонарей шелковистый костюм Мадам блестел словно мокрый. Мы – Граса, Винисиус и я – давно уже прошли Бека-дос-Кармелита и плутали в каком-то незнакомом районе.

Мадам насвистывал, и от этого я меньше нервничала – может быть, это просто экскурсия, а не наказание за просроченную мзду. В конце концов, с нами был Винисиус, а он не должен Мадам ни сентаво. Так я успокаивала себя, пока мы шли по незнакомым улицам; наконец Люцифер остановился перед ржавой железной дверью.

– Ну, пришли, – сказал он и постучал.

Заслонка глазка приоткрылась. Скрежет щеколды, скрип дверных петель. Перед нами стоял мускулистый юнец в смокинге, не старше нас с Грасой. Ресницы у него были такими длинными, что почти касались бровей. Юноша объявил:

– Как раз вовремя.

Мы прошли через пустую контору заброшенного завода. Юноша провел нас по темным коридорам, и вот показался свет, послышались голоса. Тесный коридор выходил в необъятный склад, где было накурено, стояли столы и стулья. Мужчины в смокингах и женщины в расшитых стеклярусом вечерних платьях – люди, которым самое место в «Копакабана-Палас», – теснились за столиками и толпились в баре. Присмотревшись получше, я обнаружила, что у некоторых дам есть кадык. А у некоторых господ в смокингах слишком пухлые губы и тонкие черты. Официантки (или то были официанты?) в кокетливых полицейских формах сновали от столика к столику, на подносах позванивали бокалы. Музыканты на сцене играли самбу.

Мы сели, и Винисиус спросил:

– Зачем мы сюда пришли?

– Нас будут развлекать, – ответил Мадам и заказал бутылку тростникового рома.

Музыканты заиграли быстрее. К толпе присоединились еще несколько парочек. Граса залпом выпила ром и встала.

– Потанцуй со мной, дурачок, – сказала она и потащила Винисиуса со стула.

Граса одолжила наряд для сегодняшней ночи у Анаис, и длинное шелковое платье, присобранное на талии, сидело на ней как влитое. Граса и Винисиус присоединились к танцующим. Винисиус двигался

неуклюже, смотрел себе на ноги и то и дело натыкался на другие пары. Он вздохнул и пошел было прочь, но Граса схватила его за руку. Оба на какое-то время почти замерли – они единственные не двигались. Граса что-то пошептала на ухо Винисиусу, и он недоверчиво уставился на нее. Потом на его лице медленно расцвела улыбка, и оно чуть ли не засветилось. Я никогда не видела его таким счастливым, даже когда мы писали наши лучшие самбы.

Я залпом выпила свой коктейль. Мадам налил еще и придвинул бокал ко мне.

– И давно это продолжается? – спросил он, кивая на танцплощадку, где Граса с Винисиусом теперь двигались слаженно.

– Что?

– Гитарист и певица. Старая история, навязшая в зубах. Я надеялся, что ты это предотвратишь, но мы все животные, не так ли?

Пол поплыл у меня под ногами. Волосы Грасы лежали, точно были из гипса. У Винисиуса рубашка прилипла к груди.

– Они не парочка, – сказала я.

Мадам рассмеялся:

– Скоро станут. Грасинья не даст здравому смыслу перевесить сиюминутные желания. Она ведь надолго не загадывает, да? Это больше по твоей части. – Он снова подлил мне рома.

– Что по моей части?

– Амбиции.

– У Грасы в мизинце больше амбиций, чем у всех дураков в этом клубе вместе.

– Она подчиняется своим желаниям. Амбиции требуют планирования, обдумывания. А желания – это просто инстинкты, которые мы удовлетворяем. И они ненасытны, *querida*. Желания превращают нас в дырявые ведра.

Музыка смолкла. На расшитый блестками занавес упал яркий луч.

– Я обещал, что нас будут развлекать, – сказал Мадам. – Вот, начинается.

Танцплощадка опустела. Граса с Винисиусом вернулись. Мы сидели в молчании; в воздухе тяжело висел сигаретный дым. Потом занавес разъехался в стороны и на сцене появился мужчина. Кожа у него была темная и блестящая, как шкурка сливы. Тугие мускулы словно перетянуты венами. На голове убор из синих и фиолетовых

перьев, а платье усыпано жемчужинами и застегнуто на одном плече. Лицо и тело запорошены блестящей пудрой, сверкавшей в свете софитов, – казалось, он только что вышел из моря и покрыт каплями.

Музыканты заиграли. Артист горделиво шагнул вперед и запел. Меня поразило, как он двигается, ослепил его костюм, поразили огромные размеры, заморозил его напор. Он спустился в зал. Мужчины, женщины, официанты и официантки танцевали вокруг него, словно в трансе. Я закрыла глаза. Теперь, когда я не видела его, эффект улетучился – голос был средненький, музыканты играли непрофессионально. Когда номер кончился и гости снова попадали на свои стулья, я открыла глаза.

– Вот это да! – воскликнула Граса.

Мадам кивнул:

– На сцене надо быть мечтой. И заставлять людей мечтать вместе с тобой.

– Талантливому музыканту не нужна страна грез, – сказал Винисиус.

Люцифер рассмеялся:

– Страна грез нужна всем. Талант просто помогает туда попасть. Вы это отлично понимаете – вспомните своих подражателей, которые воруют у вас концерты.

– Они недолго продержатся. – Винисиус бросил взгляд на меня. – Наши песни лучше.

Граса скрестила руки на груди:

– Я пою лучше.

– Этого недостаточно, чтобы вы оставались первыми и дальше, – заметил Люцифер. – Вы думаете, что девочки, которые слушают вас по радио, понимают разницу между Софией Салвадор и Араси Араужо? Да даже я не вижу разницы. Вы сколько угодно можете быть первыми и лучшими, но грош этому цена, если про вас никто не знает. Придумайте что-то, чему другие не смогут подражать. Надо, чтобы девочки по всему Рио захотели одеваться, как София, вести себя, как София, звучать, как София, – но чтобы они *не смогли стать* Софией. София Салвадор должна быть одна. Она не школьница, она – мечта. Она должна производить на людей такое впечатление, чтобы любая певичка, которая вздумает подражать ей, выглядела жалко.

Граса кивнула:

– Я не хочу затеряться в толпе шалав, которые даже мелодию напеть не в состоянии.

– Значение имеет наша музыка, а не то, как мы выглядим, – сказал Винисиус. – Верить надо в талант, а не в костюм. Ну же, Дор, втолкуй ей.

– На сцене я, а не Дор. – Граса засмеялась. – Люди видят меня. Вы с мальчиками можете и дальше носить свои скучные смокинги, но Мадам прав: я должна отличаться.

– А мне нужно на свежий воздух. – Винисиус поднялся, раздвинул занавес в дверном проеме и вышел.

Граса вздохнула:

– Надо перетащить его на нашу сторону, или «Голубой Луне» конец. Дор, поговоришь с ним? Он тебя послушает.

Мадам улыбнулся. Получается, главным развлечением вечера вдруг стала я? Я поднялась и вышла вслед за Винисиусом.

Он курил, меряя шагами переулочек. Увидел меня, протянул сигарету, и я взяла. Выкурив до половины, я заговорила:

– Сейчас девчонки поют самбу на каждом углу. София Салвадор должна от них отличаться.

– Настоящим самбистас костюмы не нужны. – Винисиус продолжал расхаживать взад-вперед. – Мы не в варьете выступаем. Дор, я хочу, чтобы люди знали наши песни! Хочу, чтобы люди, когда я умру, помнили нашу музыку, а не в каких костюмах мы выступали.

– Как люди узнают наши песни, если они их не слышат? Мы лучшие в городе – и мы тонем. Нам нужно что-то, что будет нас отличать.

Винисиус фыркнул:

– Какая-нибудь замануха!

– Нет. Стил. Что-то, благодаря чему люди запомнят нас.

– Если нашу музыку не запоминают, значит, мы не заслуживаем быть музыкантами, – процедил Винисиус. – А если люди не могут оценить наши песни по достоинству, они не заслуживают их слушать.

– Ты взялся решать, кто заслуживает, а кто нет? Кто достаточно хорош, чтобы нас слушать, а у кого на это мозгов не хватает? Да ты такой же, как эти мокрые кошки из «Копакабана-Палас». Сноб несчастный.

– Дор, ты не понимаешь. – Винисиус выхватил у меня сигарету.

– Может быть, я тоже не заслуживаю твоей музыки? Может, мне не место на вашей драгоценной роде?

– Ты росла не под звуки самбы. Вы с Грасой слушаете эту музыку несколько месяцев – и уже решили, что сможете подогнать ее под себя.

Я резко выдохнула, словно сигарета все еще была у меня в зубах.

– Мы хотим сделать самбу лучше. Сделать своей. Не играть до бесконечности одно и то же и не быть как ты, а ты застрял в слезливых песнях, потому что чахнешь и томишься.

Мне показалось, что у Винисиуса перехватило дыхание. Он отвернулся.

– Она катастрофа. У меня были девушки посимпатичнее. И уж точно приятнее.

– У меня тоже.

– Ты слишком хороша для всего этого.

– Всего – чего?

– Попыток изображать парня.

Я засмеялась:

– Никто не читает Худышке нотаций насчет «слишком хорош для всего этого». Вы его поздравляете.

– Потому что Худышка отлично проводит время, когда он не с нами.

– А я – нет?

Винисиус покачал головой:

– Я тут не единственный, кто чахнет и томится.

Кирпичная стена под моим плечом была теплой, шероховатой. Я закрыла глаза и привалилась к ней. Винисиус привалился к противоположной стене, мы стояли, как зеркальные отражения друг друга, глаза в глаза, в тускло освещенном переулке. Винисиус на ощупь достал из пачки очередную сигарету.

– Что она тебе сказала? – прошептала я. – На танцплощадке? Как заставила остаться?

– Она сказала, что поддержит меня, как когда мы на сцене. Это... это забавно, потому что это правда. На сцене я доверяю ей больше, чем в жизни. Когда мы на сцене, она другая. Весь ее эгоизм куда-то девается. Пф-ф – и нет! Она отдает всю себя, все, что в ней есть, и ее это не пугает, меня тоже. Я знаю: она отдает себя не только мне – она отдает себя всем, кто слушает. А вдруг однажды, поднявшись на сцену,

она изменится? Вдруг перестанет так отдавать себя? Я не хочу потерять это чувство, Дор.

Винисиус смотрел на меня, испуганный малыш, пойманный с поличным на краже. Мне хотелось наказать его и в то же время – обнять.

Не так давно я сама наслаждалась этой опьяняющей щедростью Грасы. На сцене она провоцировала тебя, не держа в голове ничего дурного, заставляла тебя стать лучше, заставляла подняться до ее уровня. И то, что она извлекала из себя, казалось даром, который она преподносит только тебе, а не еще десятку или сотне зрителей. Именно это было главным талантом Грасы: в ее присутствии ты, абсолютно заурядный человек, верил в свою уникальность. Винисиус ощущал это так же остро, как я. Одна на двоих печаль может связать людей крепче, чем физическое влечение. Но и зависть набухала во мне, горькая и настойчивая. Именно на сцене Граса чувствовала себя настоящей до кончиков ногтей, и Винисиусу было дано делить с ней восторг этой настоящести. К тому же с Винисиусом Граса умела сделать наши песни такими живыми, как нам с Винисиусом никогда не удавалось.

– Ты хотя бы выступаешь с ней на сцене, – сказала я.

– И мне не хватает тебя, – ответил Винисиус. – С тобой я почему-то чувствую себя надежнее. С тобой мне не кажется, что очередной концерт станет моим последним.

– Но надежность – это скучно, правда?

Винисиус коротко, печально улыбнулся мне. Я ответила ему такой же улыбкой.

Я сунула руку в ладонь Винисиуса, нащупала его большой палец и погладила мозоль на подушечке. Кожа была такой толстой, что я усомнилась, ощущает ли он мои прикосновения. Сколько песен создано этой мозолью? Сколько гитар она пережила? Под ложечкой стало жарко, жар поднялся, растекся в груди. Винисиус выпрямился. Неужели он услышал исходящее от меня тепло?

Я ждала, что он пошутит, или уберет руку, или сделает как-нибудь так, что мы вернемся в зал. И вдруг почувствовала его руки – большие мозолистые ладони гитариста – у себя на бедрах. Пальцы впились мне в бока, Винисиус потянул меня к себе. Я не знала, собрался он обнять

или поцеловать меня, и чувствовала одновременно оцепенение и восторг.

За спиной у меня скрипнула дверь. Свет ударил в лицо Винисиусу. Он сощурился. Его руки словно упали с моего тела. Слишком быстро, будто он устыдился, что кто-нибудь увидит нас в подобии объятия – дружеского или иного. Это было как ледяной душ сионской школы, тело окоченело, дыхание перехватило, но в голове внезапно прояснилось. Две парочки, спотыкаясь, вывалились из клуба и протиснулись мимо нас. Молодой вышибала остался стоять в открытой двери.

– Вы заходите? – спросил он.

– Да, – отозвалась я и повернулась к Винисиусу: – Костюм – это просто тряпки. Хочешь удержать ее – дай ей то, чего ей хочется. Или она найдет кого-нибудь, кто даст ей то, чего ей хочется.

– Дор, подожди, – жалобно попросил Винисиус, но я повернулась и вошла в клуб.

Мы – все мы – были по натуре бойцами. Винисиус хотел, чтобы его музыку помнили. Граса хотела, чтобы ее знали и, зная, любили. А мы с Мадам Люцифер бились за одно и то же, хотя я поняла это лишь много лет спустя, навещая его в тюрьме, – мы оба сопротивлялись попыткам равнодушного к нам мира выкинуть нас на обочину. Я не могу жаловаться на судьбу, учитывая, как высоко я поднялась. Но факты таковы: я родилась девочкой с кожей темнее, чем нужно; меня чуть не выбросили в тростниковое поле умирать, как бесполезное животное; у меня не было ни семьи, ни денег; было мало книг, зато имелась способность наслаждаться и мужчинами, и женщинами. Некоторые люди, подобно Грасе и Винисиусу, не сомневаются в своем праве на существование. Но мне всегда приходилось доказывать, что я чего-то стою. Мадам тоже доказывал, что достоин жить на земле, только у него были другие методы. Мадам помогал нам добиться успеха не только из-за стремления заработать на нас – карманы он мог набивать, продавая кокаин и девушек, – но потому, что разглядел в Софии Салвадор и «лунных» парнях отблески того, что видели и мы с Грасой и Винисиусом, видел возможность перемен, возможность побега. Мадам представлял для нас опасность – но он был и благодетелем, помогая сделать из школьницы женщину-мечту, а потом

заставляя ее соревноваться с соперницами так, чтобы уничтожить или их, или саму себя.

После ночи в клубе Мадам нанес визит на студию «Виктор». Радио «Майринк» ежегодно проводило нечто вроде смотра талантов, и от звукозаписывающих компаний Рио – «Колумбии», «Парфалона», «Виктора» и других – требовалось дать номер для концерта, который транслировался в прямом эфире на всю Бразилию. «Виктор» выставил нашу конкурентку, Араси Араужо, с двумя песнями. После визита Мадам на студию Араси пришлось ограничиться одной песней. София Салвадор и «Голубая Луна» получили второй трехминутный номер.

Концерт должен был проходить в некогда облезлом казино «Урка», известном облупившейся краской, плесенью, лепным потолком в протечках и огромными люстрами, в которых недоставало подвесок. «Урку» купил Жоаким Ролла и тут же закрыл казино на ремонт. Некоторые полагали, что «Урку» переделают в самое шикарное казино Рио. Другие называли Роллу аферистом и предсказывали, что ремонт будет заброшен из-за проблем с деньгами. Как бы то ни было, восстановление казино было окутано тайной, все в Рио с любопытством ждали его открытия, и вскоре шоу «Майринка» стало самой важной новостью в городе.

В недели, предшествовавшие шоу, Граса и Мадам Люцифер до бесконечности придумывали костюмы: концертные платья с юбками в оборках и с перьями на плечах, сильно присборенные сзади длинные наряды с лентами на подоле и рукавах, чтобы эти ленты развевались, когда София Салвадор будет двигаться на сцене. Мадам нанял модисток, чтобы превратить наброски в платья, но все эти складки да перья совсем задавили фигурку Грасы, в них она была похожа на малышку, совершившую налет на мамин шкаф. В конце концов Граса и Мадам сошлись на вишнево-красном платье для Софии и новеньких смокингах для «лунных» мальчиков. Наряды вышли дорогими, а это означало, что мы должны Мадам изрядную сумму еще и за то, чтобы пристойно выглядеть на майринковском шоу. Все мы ощущали напряжение – шоу должно было стать нашим успехом, но мы с Грасой нервничали больше всех.

За несколько часов до шоу музыканты погрузились в несколько такси вместе с инструментами, в багажниках лежали аккуратно

сложенные смокинги. Ребята помахали нам с Винисиусом – мы стояли на тротуаре перед моим пансионом. Едва они уехали, как мы бегом кинулись наверх, где Граса все торчала в ванной. Она заперлась там после обеда, твердя, что ей перед выступлением нужно уединение, и не выходила уже несколько часов. Я постучала в дверь:

– В «Урке» есть уборная. Необязательно наряжаться ради поездки на такси.

– Отвяжись! – прокричала в ответ Граса.

В ее голосе звенело отчаяние, это была мольба. Мы с Винисиусом переглянулись.

– Открой дверь, – сказала я, стараясь, чтобы голос звучал ласково.

– Не могу. – Граса икнула, всхлипнула. Полилась вода.

– Граса?

– Господи! Хоть бы сдохнуть!

Сердце у меня забухало громче барабана. Мне вспомнились Риашу-Доси, река, Граса в материнском пальто, карманы оттянуты булыжниками.

– А ну открой! – заорала я.

Щелкнул замок. Граса сидела голая на крышке унитаза – лицо полосатое от слез, глаза опухшие. Кожа на лбу, где начинались волосы, выглядела так, будто Граса скребла ее теркой. А вместо мягких локонов топорщились короткие платиново-белые лохмы, похожие на собачью шерсть.

– Ты что с собой сделала? – охнула я.

Следом за мной втиснулся Винисиус.

– Черт, – буркнул он.

Я схватила полотенце, чтобы прикрыть наготу Грасы, хотя ей, кажется, было все равно. Граса подавилась рыданиями и уставилась в потолок.

– Я хотела быть не как все! Хотела как у Греты Гарбо! Думала устроить сюрприз.

Я оперлась на раковину, боясь, что меня вырвет. До начала концерта в «Урке» оставалось полтора часа.

Ужасно медленно и осторожно, держа ее как манекен, руки-ноги которого могут отвалиться и сломаться, мы с Винисиусом перенесли Грасу на кровать и замотали в халат. А потом я велела Винисиусу позвонить единственному человеку, который мог нас спасти.

Анаис примчалась через десять минут. Увидев Грасу, наша учительница покачала головой. Граса попыталась почесать кожу на голове, но Анаис шлепнула ее по руке:

– Не вздумай раскровить!

– Чешется ужас как! – проскулила Граса. – Я ее десять раз мыла!

Анаис достала из сумочки густую мазь с алоэ и принялась втирать ее Грасе в голову. Захватывая пряди светлых волос, Анаис обнажала кожу и накладывала мазь. Закончив, Анаис натянула Грасе на голову шапочку для душа и объявила нам с Винисиусом:

– Укладывать такие волосы нельзя, они просто выпадут. Сожжены до хруста, кожа на голове – тоже. – Анаис повернулась к Грасе: – Волосы вроде твоих надо осветлять в три-четыре приема! Сколько перекиси ты на себя вылила?

Граса снова повалилась на кровать и закрыла лицо руками.

– Придется отменить выступление, – сказала Анаис.

– Это невозможно, – ответил Винисиус. – Ребята уже уехали в «Урку». Не хочу их бросать.

Граса, лежа на кровати, засмеялась, смех прозвучал гнусавой одышкой со всхрапами.

– Только о ребятах и заботишься!

– Они все не должны расплачиваться за твою дурость, – огрызнулся Винисиус.

– Не называй ее дурой! – Мой голос заметался по всей комнате.

Граса улыбнулась.

– Нельзя отменять выступление, – объяснила я Анаис. – Если мы не явимся на концерт, нас больше никуда не пригласят.

– Да это и неважно, потому что Люцифер перережет нам глотки, – прибавил Винисиус.

– Тогда найдите другую певицу.

Граса села.

– Но нашу программу никто не знает, – объяснила я. – Мы готовили новую песню.

– Ты ее знаешь, – сказал Винисиус.

Ладони мои буквально вздулись от крови, в пальцах запульсировало, словно в каждом было по сердцу. Я дернула головой в сторону Анаис.

– Она говорит – мне не место на сцене. Говорит, у меня голос не для большого зала.

– Вот и докажи, что я не права, – сказала Анаис.

Граса рывком поднялась с кровати.

– Да, я лысая, как попа младенца. И наплевать. Петь сегодня буду я.

– Я знал, что тебя это приведет в чувство, – развеселился Винисиус.

– Значит, ты просто пошутил? – спросила я.

– Я хотел помочь. Подумал... – Веселость сошла с лица Винисиуса.

Просто шутка. Он совершенно не имел в виду, что я действительно выйду на сцену вместе с ним и ребятами. Меня так и перекосило от злости и обиды. Кулаки сжались сами собой. Я снова оказалась в Риашу-Доси: завод, урожай собран, жар пышет в лицо, пенится в котлах жидкий сахар, он вот-вот перельется и покалечит всех, кто окажется рядом. Граса наверняка тоже помнит.

Она отпихнула Винисиуса и встала рядом со мной, от нее пахло перекисью и алоэ. Медленно, словно боясь, что я стану сопротивляться, Граса обхватила мои кулаки своими маленькими ладонями. Потом придвинулась вплотную, ее лицо почти коснулось моего, и мне почудилось, что мы снова лежим в кровати, делись секретами.

– Ну же, Дор, – прошептала она. – Посмотри на меня. Вот так. Не злись на него, это я во всем виновата. Я и правда устроила черт знает что. Но ты же знаешь, как мне хочется туда, на шикарную сцену. Ты единственная это знаешь. Одна из нас должна выйти и петь. А я не хочу быть посмешищем. Не хочу, чтобы люди надо мной потешались. Ты нужна мне.

Я сделала очень глубокий вдох – как учила Анаис. Почувствовала тепло Грасы, ее губы, ее дыхание – наше общее дыхание.

Ты нужна мне.

Вот оно, предел самых смелых мечтаний: я стала необходимой, как язычок в замке, как винтик в роскошной машине.

– Может, шляпу? – спросила я Анаис. – Самую большую, самую эффектную?

Анаис покачала головой:

– На сцену не выходят в шляпе, это неуважение к публике. К тому же никакая шляпа не закроет всю голову. Только шапочка для души. Или тюрбан. Но тюрбаны – удел байянас.

Граса на миг встретилась со мной глазами. Это было как телепатия – проживешь с человеком лет десять и уже понимаешь его без слов. Мы подумали о карнавале. О Тетушке Сиате. О доках Салвадора. Как великолепны были байянас. Как величественны.

Безумная мысль. Но что нам еще оставалось?

Для торжественного открытия «Урки» Жоаким Ролла нанял целую флотилию водных такси – доставить в казино туристов с двадцати круизных теплоходов. Светловолосые загорелые мужчины и женщины толпились во внутреннем дворе, который был вдвое больше, чем завод в Риашу-Доси. Кусты, усыпанные белыми цветами и подстриженные в виде кубов, походили на гигантский рафинад. В конце дорожки, ведущей через двор, высились массивные каменные колонны – вход.

Вместо обычного бархатного занавеса на сцене сверкал водопад из тысячи круглых зеркалец, каждое размером с монету; он не вполне скрывал стоящего за занавесом артиста. Туристы теснились за столиками похуже. Лучшие столики, поближе к сцене, занимали богатые и могущественные горожане, Ролла обещал «Майринку» их присутствие, и они пришли из любопытства – взглянуть, что за безвкусный кошмар выстроил на деньги сомнительного происхождения друг президента Жеже, о котором ходило столько слухов. Ролла надеялся – как и мы – превратить любопытство столичной элиты в благосклонность, а то и восхищение.

Я устроилась возле сцены и онемело разглядывала зрителей. Молодые светские львицы в головных уборах, с которых на лоб свисают драгоценные подвески, вечерние наряды густо расшиты стеклярусом – непонятно, как дамам удастся передвигаться под такой тяжестью. Их матери и бабки, несмотря на жару, явились в меховых палантинах. (Установленная Роллой машина для охлаждения воздуха оказалась ненадежной и всю ночь то включалась, то выключалась.) Одетые в смокинги управляющие студий грамзаписи и большие шишки из универмагов поглядывали на выступающих. Скрипачи, пианист и мужчина с виолончелью аккомпанировали толстошей сoproно – она исполняла арию из бразильской оперы, написанной по

распоряжению Папаши Жеже. Самого президента не было, зато пришли его советники.

У меня сводило желудок от ужаса, мы оказались третьими исполнителями самбы в программе, после иллюзиониста и перед Араси Араужо, нашей подражательницей, которая была последней. Надо же такому быть, чтобы именно она завершала концерт! Араужо считалась исполнительницей народных песен, и толпа запомнит именно ее выступление.

Граса и Анаис заперлись в крошечной гримерке «Урки», слишком маленькой, чтобы вместить нас троих. Когда я представляла себе, какой Граса выйдет оттуда, меня начинало подташнивать.

Прежде чем ехать в «Урку», мы, точно воры, сдернули с вешалки красное платье Грасы, ссыпали в наволочку кое-какие побрякушки. Потом все вчетвером понеслись в «Дамский шик», где Анаис взяла отрез плотной красной тафты, шляпную проволоку и горсть булавок. Винисиус помог нам доставить все это добро в «Урку», но он понятия не имел, для чего оно нам.

За сценой метался нервный человечек, проверявший, все ли готовы к выходу. Через десять минут объявят наш номер – а Граса все еще в гримерке, с Анаис. Появились «лунные» мальчики в щегольских голубых смокингах. Винисиус зализал свою густую шевелюру назад, открыв бачки и острые скулы. Я не могла заставить себя посмотреть ему в глаза.

Грудастая сопрано покинула сцену, и вниманием публики завладел иллюзионист. Нервный человечек, крутившийся возле наших парней, промокнул лоб платком, а потом взмахнул им, давая знак, что следующими на сцену пойдём мы.

Послышался перестук каблуков. Винисиус открыл рот и схватил меня за плечо. Маленький Ноэль чуть не выронил барабанчик.

На Грасе было открытое красное платье с вырезом-сердцем. Юбка колоколом расходилась от талии. На запястьях звенели все имевшиеся у Грасы браслеты. Яркая помада. Глаза больше не были ни припухшими, ни покрасневшими. Сожженные волосы скрывала красная тафта, которую Анаис наворотела затейливым тюрбаном.

– Ну что, ребята? В первый раз байяну видите? – Граса вскинула руки и улыбнулась.

В тот день не было никакого карнавала, праздника, когда в фаворе самые вызывающие наряды. Обычный бразильский день 1938 года. И выйти на сцену в наряде байяны – не в пародийном карнавальном костюме, а в эффектном платье – было немислимо.

– Что это за игра? – спросил Винисиус и повернулся ко мне: – Твоя идея?

Граса уронила руки. Браслеты зазвенели.

– Это не игра.

– Сеньорита Салвадор! – выкрикнул нервный распорядитель и помахал нам.

Он увидел Грасу, и глаза его так расширились, что я подумала, не хватит ли его сейчас удар. Появись Граса вообще голой, он, наверное, был бы потрясен меньше. Распорядитель тяжело сглотнул и выговорил:

– Я не могу этого позволить.

– Это еще почему? – Улыбка Грасы исчезла.

– «Урка» – место для утонченных людей! – Распорядитель явно пребывал на грани. – Здесь дипломаты. Двоюродный брат президента сидит у сцены! Мы ожидали наряда чуть более...

– Скучного, – вставила Граса.

– Чуть более пристойного. – У человечка вспыхнули щеки. – Но, кажется, вы, *matutas*^[29] с северо-востока, этого не понимаете.

– Вы хотите сказать – она выглядит непристойно? – От вопля Буниту мы чуть не подскочили. Наш тихоня с куикой тяжело дышал, руки сжались в кулаки. – Хотите сказать, моя мать и мои сестры не достойны уважения, если одеваются так же?

– Дайте нам минутку, – сказала я.

– Минуту, но не больше. Если к тому моменту, когда иллюзионист закончит, она не будет выглядеть прилично, я отменю ваш номер.

– Прилично? – крикнула ему в спину Граса. – Да у меня больше прикрыто, чем у этих девок в зале.

Винисиус вздохнул.

– У нас всего три минуты, чтобы завоевать публику. А публика будет не столько слушать музыку, сколько разглядывать этот чертов наряд. Если Грасу не переодеть, никто нас просто не услышит.

Он смотрел на меня, Граса – тоже. Винисиус был прав, за одну песню Граса не успеет очаровать публику настолько, чтобы та забыла,

что перед ней байяна, и сосредоточилась на голосе Грасы и нашей музыке.

– Я устрою вам побольше времени, – сказала я.

– Как? – спросил Кухня.

– Какая разница! – воскликнула Граса. – Дор все устроит. Ну что, встряхнем этих зануд как следует?

Ребята переглянулись. Худышка пожал плечами:

– Гори оно все огнем. Пускай у них челюсти поотваливаются.

Послышался плеск аплодисментов, и конференсье объявил:

– А теперь – народная музыка из наимоднейших клубов Лапы! Сеньора София Салвадор и «Голубая Луна»!

Со своего места за зеркальным занавесом я видела, как зрители перешептываются, пожимают плечами. Распорядитель торопился к нам, лицо у него пылало не хуже наряда Грасы. Но перехватить ее он не успел, Граса выбежала на сцену. Ребята последовали за ней.

Я схватила Винисиуса за руку:

– Что бы ни случилось здесь или за сценой – продолжайте играть.

Винисиус поцеловал меня в щеку и шагнул сквозь зеркальный занавес.

В зале воцарилась оглушительная тишина. Браслеты Грасы позванивали то громко, то тихо. Многочисленные зеркала словно высосали из Грасы все краски, лицо ее было белым. Парни расселись у нее за спиной полукругом и заиграли. Первые ноты вышли у Грасы неуверенно. Инструменты заглушали ее голос. Лицо Грасы на миг исказилось – она услышала, как слаб ее голос, – но она не сбилась, не начала заново. Она пела дальше.

Каждая аудитория, даже самая изысканная, ждет неудачи. Ждет, что исполнитель где-то ошибется, что песня окажется ему или ей не по зубам. Поэтому пусть певец изобразит, что теряет контроль, не теряя его по-настоящему. Чтобы справиться с этим, Грасе требовалось время. И добыть это время должна была я.

Выступившие уже участники концерта сгрудились за занавесом, чтобы поглазеть на Грасу и парней. Растолкав их, я кинулась к уборным, заглянула в пять гримерок и нашла нужную. Наряд Араси состоял из школьного вида белой блузки и широкой юбки вроде тех, что прежде носила Граса, вот только верхние пуговицы на блузке были

расстегнуты, а лицо певицы густо покрашено. Глядя в зеркало, Араси проходила по щекам пуховкой.

– Ты ошиблась дверью, – сказала она, заметив меня.

– Нет. Тебя-то я и ищу.

– Наслышана про тебя. Сестра, я не из таких.

– Нашла сестру. – Я выхватила у нее пуховку.

Араси попыталась отобрать пуховку, и я подняла повыше руку. Араси сделала еще одну попытку. Я снова отдернула руку с пуховкой, а потом схватила Араси за локоть.

– Только тронь! Я закричу!

– Сиди тихо, и я ничего тебе не сломаю. – Я выкрутила ей запястье.

– Но мне уже на сцену пора. Я завершаю концерт.

– Не сегодня. – Я оттолкнула ее, повернула собачку хлипкого замка, схватила стул и подперла им ручку.

– Ты что делаешь?!

Я встала перед дверью:

– Дашь сольный концерт мне.

Араси кинулась на меня, метя крашеными ноготками в лицо. Элегантный головной убор, который Анаис сделала мне специально для концерта, смялся, булавки застряли у меня в волосах. Я ухватила Араси за руку, выкрутила за спину и нажимала, пока она не закричала, а потом дернула ее, притиснув к себе. Мы оказались лицом к зеркалу. Помада у Араси размазалась. На моем желтом шелковом платье пылала красная полоса.

– За мной придут мои музыканты, – проскулила Араси. – И распорядитель. Я закричу, что ты удерживаешь меня силой. Они выломают дверь.

– Лучше скажи, что тебе стало плохо, – посоветовала я. – Что ты не можешь выйти на сцену.

Араси снова начала изворачиваться и пинаться, но я держала ее, как Старый Эуклидиш держал раненых ослов в Риашу-Доси. Через минуту Араси устала, совсем как те ослы. Я взглянула на часы, висевшие в уборной. Граса и ребята вот-вот закончат песню.

В дверь постучали. Я чувствовала, как под моей рукой поднимается и опадает грудь Араси, и покрепче притиснула певицу к себе.

– Мадам Люцифер – мой друг, – прошептала я, глядя на отражение Араси в зеркале. – Слышала когда-нибудь про Коротышку Тони? Страшно подумать, что Мадам Люцифер сделает с твоей мордашкой, если ты сейчас хоть пикнешь.

Араси не отрываясь смотрела на меня в зеркало. В дверь продолжали стучать. Наконец Араси заговорила, совсем тихо. Послушно сказала, что очень плохо себя чувствует, пусть уходят. Стучать перестали. Араси сделала усилие, вывернула шею и посмотрела на меня.

– Я всем расскажу, что ты меня заставила. Кобелиха.

Кобелиха. Я часто слышала это презрительное словечко, но не в свой адрес.

– Заставила? – Я делано засмеялась. – А я всем расскажу, как мы тут резвились. И тебе было так сладко, что про все на свете забыла, даже про свое выступление. Как думаешь, понравится твоим поклонникам, что ты сучка-кобелиха?

Араси окончательно затихла, минуты в молчании тянулись как дни. Руки у меня уже сводило. Ноги дрожали. Но я держала Араси, пока не уверилась, что концерт закончился. Все это время я представляла себе Грасу и мальчиков – как они ждут появления конференсье, который объявит следующий номер, а его все нет, и тогда они переглядываются и начинают следующую песню – без колебаний, без терзаний.

Анаис смотрела их выступление из-за кулис. Позже она рассказала мне, как после первых неуверенных нот голос Грасы потек свободно. Она играла с браслетами, словно они музыкальный инструмент. Она пританцовывала рядом с Винисиусом. Модуляциями голоса она побуждала его сначала играть быстрее, потом медленнее. Винисиус ни разу не сбился с такта. Дополнительная струна, которую он приделал к своей семиструнке, добавляла звучанию глубины. Голос Софии Салвадор качался на низких звуках гитары, затем взмывал над ними. Но этот разрыв между низким и высоким звучанием был не болезненным диссонансом, а слаженным диалогом.

Даже официанты забыли разносить заказы. Молоденькие гардеробщицы столпились в темных углах зала. Чьи-то руки в толпе вдруг начали хлопать в такт музыке. Взгляд Грасы метнулся на шум. Она запела громче, затанцевала быстрее. К середине «Дворняги» весь

зал словно дышал свободно и легко. Кое-кто из светских сеньор отстукивал ритм по столу. А их сеньоры покачивали головами и улыбались. Наверное, думали: *Сколько смелости у этой птахи! А сколько очарования!*

Песня смолкла. София Салвадор поклонилась. Зрители в восторге свистели и топали, даже мы с Араси в ее примерке чувствовали, как подрагивает пол. Я отпустила Араси.

– Твоя взяла, – сказала она. – Все закончилось.

Аплодисменты стихли. Снова зазвучала музыка – мои друзья играли на бис. Я убрала стул, подпиравший дверную ручку, открыла дверь. Араси ошиблась: ничего не закончилось. Для нас все только начиналось.

Любой бразилец, включивший в тот вечер радио, чтобы послушать шоу «Майринка», слышал, как аплодировали Софии Салвадор. И теперь, кажется, весь Рио хотел увидеть ее вживую.

Мы стали официальными музыкантами «Урки». Послушать нас приезжал испанский посол, после концерта он поцеловал Софии Салвадор руку. Это фото напечатали все крупные газеты. Ролла платил нам достаточно, чтобы мы чувствовали себя богатыми, хотя богатыми мы не были. Мы расплатились с Мадам за наши роскошные наряды. Мальчики купили хорошие костюмы и стали получше питаться. Мы с Грасой сняли люкс с ванной на львиных лапах. На следующий после шоу день мы отправились в салон красоты и сбрили Грасе ее сожженные волосы. Пока голова обрастала заново, Граса носила шляпки, а потом разгуливала по Лапе таким прекрасным эльфом.

Чем громче был наш успех, тем сильнее сужался наш мир. В кафе и бары ходить мы перестали, поскольку молодые музыканты там накидывались на нас с просьбами замолвить за них словечко или дать взаймы. Мы не могли появиться на пляже или в кабаре, без того чтобы за нами не увязалась толпа поклонников Софии Салвадор – обоего пола. Все модные девчонки в Рио красили губы алой «фирменной» помадой Софии Салвадор, пока София не сменила этот цвет на сиреневатый, потом коралловый, потом ядовито-розовый. Зато волосы у нее так и остались слепяще белого цвета. София Салвадор быстро отправила тюрбан в отставку – отчасти потому, что ее попросили об этом Буниту и Банан, отчасти из уважения к настоящим байянас, а

отчасти потому, что Грасе невыносимо было думать о себе как о подражательнице. Ее платья теперь походили не на колокола, а на колонны, а разрезы открывали ноги все выше. Цвета она выбирала такие, какие встретишь скорее в джунглях, чем в театре: тропически-зеленый, голубой, как на крыльях бабочек, пурпурный. Она была хамелеоном – маленьким, ярким, постоянно меняющимся. Поклонницы и соперницы выбивались из сил, пытаюсь не отстать от нее.

К 1940 году во дворике Тетушки Сиаты стало небезопасно. Самбистас соперничали за концерты, контракты со студиями и записи на радио. Хорошие песни превратились в ходовой товар, а Лапа оставалась Лапой и не видела ничего зазорного в том, чтобы подслушать чужую роду, запомнить чужие песни, кинуться на студию и еще до рассвета записать эти песни как свои собственные. Именно так другие музыканты крали наши самбы и в конце концов вытеснили нас с дворика Сиаты в комнатухи пансиона. В этих комнатах мы и написали наши самые известные песни: «Плачу о тебе», «Милый Морено», «Мой Негу», «Только пригуби», «Завоюю тебя», «Болит мое сердце».

В то время в Лапе были десятки хороших самба-бэндов, но только в нашей компании нашелся человек, который поставил себе цель – сделать нас великими. Если пол на сцене был слишком скользким, если кто-то пытался зажать наш гонорар, если ребят не обеспечивали горячей водой и полотенцами, если гримерная оказывалась грязной – я все улаживала. Владельцы кабаре, менеджеры со студий звукозаписи, охотники за талантами, музыканты-конкуренты и скудоумные ничтожества из Лапы, которые пытались попользоваться Софией Салвадор и «Голубой Луной», за моей спиной называли меня Барбосом, Стервятницей, Сукой, Кобелихой, а то и похуже. Люди думали, что я не слышу, как они меня оскорбляют, однако рано или поздно очередное прозвище доходило до меня, но я на такое просто не обращала внимания – думаю, к огорчению этих недоумков. Во всяком случае, внешне не обращала. Я вспоминала, как называли мою мать. И чем она заслужила такое? Когда она была ребенком, ей не давали прохода маленький сеньор с дружками. Когда ее вышвырнули из господского дома, она отказалась умирать от голода и пошла батрачить на плантацию. Не захотела, чтобы ее выдали замуж. Отказалась

считать себя опозоренной. Прозвища ей давали из страха, из страха ее и ославили. Я не стояла на сцене рядом с Софией Салвадор, как мне мечталось, но я заслужила свою собственную славу.

Дела ребят я тоже улаживала. Когда Худышка, Банан и Буниту повздорили из-за официантки «Гриля», я добилась, чтобы девушку уволили, а после концерта привела за сцену трех красоток – по одной для каждого. Когда Маленький Ноэль заболел воспалением легких, я убедил Роллу оплатить хорошего врача. Но в основном я сглаживала ежедневные «импровизации» между Грасой и Винисиусом. Случалось, что Винисиус выговаривал Грасе за лень или ставил под вопрос ее музыкальные вкусы, и тогда я, возвращаясь с Грасой домой на такси, обрушивала на нее поток комплиментов и жестоко высмеивала Винисиуса, как ее прежних, позабытых уже, хлыщей, называла его Динозавром и корчила рожи, изображая его насупленную физиономию, пока Граса не начинала рыдать от смеха. Когда же Граса выводила Винисиуса из себя, называя стариком и намекая, что он бездарность, я предлагала ему прогуляться вместе вдоль берега и во время долгой неспешной прогулки старалась успокоить, слушала, как он клянет Грасу за необъятный эгоизм, а потом перерабатывала эти жалобы в стихи, которые могли бы стать песней. Я, подобно Кухне, не давала оркестру сбиться с ритма и обеспечивала тончайшую гармонию между Винисиусом и Грасой.

Однажды во время выступления в «Урке» один из вышибал сообщил мне, что у нас посетитель.

– Говорит, он отец сеньориты Салвадор.

Я вспомнила день – как же давно это было! – когда рычащий автомобиль впервые въехал в ворота Риашу-Доси, и ощутила панику, но вместе с тем – любопытство. Стоя в темном коридоре за сценой, я сказала себе: это просто хитрость. Какой-нибудь поклонник рвется встретиться с Софией Салвадор. Или агент из конкурирующего казино хочет перекупить нас у «Урки».

– Выпроводи его, – ответила я.

Мужчина, который сделал шаг ко мне, был слишком невысок, чтобы быть сеньором Пиментелом. Серые жидкие волосы, между нахмуренных бровей залегла глубокая складка. Но когда гость на мгновение повернулся ко мне боком, растерявшись в лабиринте из

дверей примерок и стоек с костюмами, я увидела резко очерченный римский профиль. И заметила просверк алмазного кубика рафинада.

– Как ты выросла, Ослица! – Сеньор Пиментел улыбнулся, как улыбнулся бы старинному приятелю. Взгляд прошелся по моим каблукам, брюкам, подтяжкам и шелковой блузе.

– Я не Ослица.

Сеньор Пиментел качнулся ближе ко мне, обдав сладко-прогорклым запахом, словно сеньор мариновался в роме.

– Кажется, здесь все придумывают себе новые имена. И как ты теперь себя называешь? – спросил он.

– Дориш. Как всегда.

– Правда? Ну что ж, Дориш, я видел Грасинью в газете – как она пожимает руку послу. У нее там такая смешная штука на голове, и накрашена она сильнее, чем следует порядочной девушке. Но я понял, что это она. Я бы узнал свою Грасинью где угодно.

Слышно было, как София Салвадор и «Голубая Луна» исполняют последнюю песню. Потом у них тридцать минут, чтобы отдохнуть и переодеться перед следующим отделением концерта.

– Долго же вы нас искали, – заметила я.

– Ее, – поправил сеньор Пиментел. – Все думали, что она погибла. И иногда мне кажется, что лучше бы она умерла, чем жила как кабареточная девица. Или того хуже.

– Да вы только посмотрите, на какой сцене мы выступаем! Вовремя вы нас отыскали.

Сеньор Пиментел улыбнулся:

– Мы в Ресифи иногда слушаем ее по радио. Никто не догадывается, что это она, а я помалкиваю. Если бы ее мать увидела свою дочь на сцене перед важными людьми наряженной, как жрица вуду, она бы перевернулась в гробу.

– Вы пришли ругаться с нами? – спросила я.

– Каждой девушке нужен отец. Кто еще укажет ей дорогу в жизни?

Свет на сцене сделался ярче, запульсировал, в коридоре тоже стало светлее. Пиджак на сеньоре Пиментеле был засаленный, лацканы обтрепались. Галстук под алмазной булавкой покрыт пятнами.

– Как сахарная торговля? – спросила я.

Глаза сеньора встретились с моими.

– Рынок уже не тот, что раньше. Кто поумнее, вкладывает деньги в другие предприятия. Граса правильно сделала, что уехала. Что ей было делать в Риашу-Доси? Выйти замуж за еще одного полуразорившегося плантатора?

– Вы как раз этого от нее и хотели.

Сеньор Пиментел покачал головой:

– Я хотел обеспечить ее будущее. Отцовская любовь слепа. Человеку вроде тебя этого не понять.

– А что я за человек?

Сеньор Пиментел пожал плечами:

– Отбракованный. Не обижайся, Ослица! Ты не виновата. Девушки вроде тебя обычно нарожают детишек и бросают их на нас – кормить, одевать, учить. Тебе повезло. Таких добрых *patrão*^[30], как я, не много.

– Мне повезло, что у меня была Нена.

Лицо сеньора Пиментела исказилось.

– Она была хорошая старуха.

– Была?

– Вскоре после вашего исчезновения Нена как-то упала на кухне. Я вызвал для нее врача – ты знаешь, она была для меня особенной. Врач сказал – сердце.

Каблуки словно подломились. Я качнулась к темной стене, привалилась к деревянной обшивке. Я хотела отправить Нене деньги, чтобы показать, какого успеха мы добились в Рио, но даже письма ей не написала, не подала весточки, что жива. Отчасти из-за молодости и эгоизма, отчасти потому, что боялась, как бы меня не выследил вот этот человек. Не тот красивый грозный мужчина из моих воспоминаний, а невысокий человечек в обтрепанном костюме. Кто же из них был настоящим сеньором?

Выступление закончилось. Граса и мальчики, возбужденные, вывалились за сцену. И Граса увидела его – я ничего не могла поделать. Сеньор Пиментел воскликнул: «Грасинья!» – и раскинул руки для объятия.

Граса застыла. Улыбка исчезла, лицо сделалось как у манекена – бесстрастное, ничего не выражающее. Я лучше многих знала, как хорошо Граса умеет ранить другого, но знала и о ее способности к внезапным проявлениям доброты. И сейчас я гадала, что возьмет верх.

– Это я, твой *Papai*. – Руки сеньора Пиментела упали.

Граса смерила его взглядом:

– Много же времени тебе понадобилось.

Ничего не понимающие парни глядели на них. Из внутреннего двора доносились смех, скрежет отодвигаемых стульев. Слушатели направлялись из концертного зала назад, в казино, – выступления Грасы были достаточно длинными, чтобы люди успели выпить и почувствовать себя счастливыми, но не настолько, чтобы у них пропало желание проиграть немного денег.

– Ты видел представление? – спросила Граса.

– Пока нет, – ответил сеньор Пиментел. – Я пришел прямо сюда, повидаться с тобой.

Граса моргнула, будто просыпаясь после долгого сна.

– Нам через полчаса снова на сцену. Мне надо отдохнуть.

– Ты не можешь посадить меня у сцены? – спросил сеньор Пиментел.

– У вас есть смокинг? – вмешалась я. – Без него в первые ряды не пустят, здесь с этим строго. «Урка» – респектабельное заведение.

Сеньор Пиментел потемнел лицом – и я словно оказалась в гостиной старого дома, замерла перед хозяином Риашу-Доси. И приготовилась к наказанию. Но сеньор закрыл глаза, снова открыл – и расцвел в улыбке.

– Я посмотрю на мою девочку отсюда. Вместе с тобой, Ослица.

Винисиус и мальчики с любопытством посмотрели на меня. Я отвернулась. Шелковая блуза, брюки с заутюженными складками, дорогие туфли на каблуках. Мне вдруг показалось, что все эти вещи не мои. А я – уборщица, нацепившая костюм героини и разоблаченная, едва пробралась за кулисы.

Недобродетельные, не знающие раскаяния

Я плаваю в волнах моря —
И вспоминаю ту ночь на пляже,
Когда ты бежала в прибое,
От меня убегая все дальше.

Вот я захожу в воду.
Волны плещут так нежно.
В ту ночь ты не ушла от меня,
Но упрямылась, как и прежде.

Я вспоминаю, ныряя,
Как встретились наши губы.
Мы были как две волны,
Забыв, где вода, а где пот наш грубый.

Я выбираюсь на берег.
Мы как двое зверей, отчаянные.
Ах, если б мы тогда утонули —
Недобродетельные, не знающие раскаяния.

Ты и я —
Недобродетельные, не знающие раскаяния.
Ты и я —
Недобродетельные, не знающие раскаяния.

* * *

Если способность помнить помогает понять нам, кто мы есть, то способность забывать позволяет оставаться в своем уме. Если бы мы помнили каждую услышанную песню, каждое прикосновение, любую,

даже самую ничтожную боль, любую, даже самую пустячную печаль, любую, даже самую мелкую и эгоистическую радость, мы бы наверняка сошли с ума. Я поняла это после смерти Грасы, после того, как провела некоторое время в Палм-Спрингс – клинике слишком шикарной, чтобы называться психушкой. Понимаете, я очень остро чувствовала все свои воспоминания – почти как если бы переживала события заново, – и пила я в надежде стереть их все, все до единого. Однако память моя оказалась весьма цепкой. А память Винисиуса была как вытертая начисто доска.

Все начиналось вроде бы безобидно. Винисиус смотрел на часы – и не мог определить время. Или застывал посреди комнаты в нашем доме в Майами, а потом, смеясь, говорил мне, что в жизни бы не нашел дорогу на кухню. Он был смущен, расстроен, и я притворялась, что тоже все позабыла. Мы вместе смеялись над тем, что стареем.

Если вы забыли что-то окончательно и бесповоротно, то не станете тосковать по забытому, вы просто не знаете, существует оно или нет. Но если вы *сознаете*, что забыли что-то, в вас прорастает страдание, и не от самой потери, а от сознания утраты. Вы горюете, сами не зная по чему.

Говорят, что, старея, мы возвращаемся в места, любимые в детстве. В детстве Винисиус был тапером в кино; когда он играл, его тетка стояла рядом, и если мальчик бросал взгляд на экран, она отвешивала ему такой подзатыльник, что в ушах звенело. И все-таки Винисиус обожал кино.

Когда он начал уходить из нашего дома на Майами-Бич, то первым делом я отправлялась искать его в ближайший кинотеатр. Находила его в центре пустого ряда и садилась в соседнее кресло, от одежды Винисиуса пахло попкорном и сигаретным дымом. Потом я чувствовала в темноте, как прижимается к моей руке его рука, мы ждали, когда начнется фильм, – и вдруг снова был 1940-й, а мы в Рио, сидим в кинотеатре «Одеон».

В тот год мы с Винисиусом ходили в кино почти каждый день. Это был наш способ сбежать от утомительного соперничества, воцарившегося в самбе, от душающего присутствия в нашей жизни сеньора Пиментела, да и от самой Грасы. Мы с Винисиусом зачарованно смотрели, как Ретт Батлер несет Скарлетт вверх по широкой дуге лестницы. Мы до слез хохотали над игрой Чаплина

в «Великом диктаторе». У нас рты открывались сами собой, когда Дороти входила в созданную мастерами «Техниколор» страну Оз.

Кино не страдало снобизмом театров, оперы или зала «Копакабана-Палас». В кино было шумно, здесь толпились люди всех цветов кожи и всех социальных слоев. В большинстве фильмов (голливудских) действовали решительные героини, полные честолюбивых помыслов и отваги. Смуглые герои и героини всегда были или бандитами, или шлюхами из салуна, или усатыми проходимцами; мы с Винисиусом старались избегать подобных картин, чтобы очарование кино не рассеялось.

А вот киножурналов перед фильмом мы избежать не могли. Гитлер вторгся в Польшу, Данию и Норвегию. Фашисты Муссолини объявили войну Великобритании и Франции. Война между Соединенными Штатами и Германией еще не началась, но отношения были ледяными. В выпусках новостей Папашу Жеже называли «отцом бедняков». Отец бедняков требовал, чтобы местные самба-клубы регистрировались как школы самбы, иначе их не допустят к участию в карнавальных шествиях. Он потребовал изгнать из самба-бэндов духовые инструменты как «слишком иностранные», и школы самбы подхватили дурацкий девиз: «Дуешь в трубу – играешь на руку врагу». Так карнавал, бывший прежде безалаберным уличным праздником, сделался официальным конкурсом, где должно было воспевать величие Бразилии. В конце концов, у нас имелись резина и сталь – и в том и в другом остро нуждались Германия и США. Так что Папаша Жеже и его кореша бесстыдно заигрывали с Гитлером и Рузвельтом, пытаясь угадать, какая из сторон одержит верх.

Мало-помалу новостные выпуски в «Одеоне» начали изображать США как Дядю Сэма – богатого самодовольного дядюшку, который поможет Бразилии в ее борьбе с коммунистами. Много лет спустя я узнала, что эти выпуски на самом деле оплачивали США – была такая Комиссия по межамериканским делам. Когда я в середине жизни протрезвела окончательно, мне начали звонить ученые люди, писавшие работы о Софии Салвадор и ее роли в пропаганде добрососедской политики. Кто она – жертва или агент? Но, понимаете, Дядя Сэм не мог позволить себе иметь враждебно настроенных соседей в своем полушарии. И пока София Салвадор и «Голубая Луна» пели на сцене «Урки», пребывая в блаженном неведении насчет того,

что происходит в мире, юнец по имени Нельсон Рокфеллер убеждал американского президента Рузвельта дружить с южноамериканскими соседями, и особенно – с Бразилией. Но как мог президент США заигрывать со странами, опасными и грязными в глазах большинства американцев, не рискуя потерять доверие сограждан? С чего избирателям в США вдруг начать видеть во вчерашних врагах добрых соседей? На помощь пришел великий кинематограф: к 1940 году Вашингтон призвал голливудские студии вводить в фильмы больше персонажей-латиноамериканцев, желательно правдоподобных. И лихорадочная охота за латиноамериканскими талантами началась.

Вот что происходило, пока мы с Винисиусом сидели в «Одеоне», уверенные, будто наши злейшие враги – другие самбистас и сеньор Пиментел.

В этой жизни существует бессчетное множество первого и еще больше – последнего. Первое легко узнать: если вы не пробовали чего-то прежде – поцелуя, нового стиля в музыке, места, напитка, еды, – вы сразу поймете, что переживаете такое в первый раз. Но последнее? Последнее почти всегда удивляет. Лишь после того, как чему-то придет конец, мы понимаем: никогда больше именно этот миг, именно этот человек или опыт не повторится в нашей жизни.

Когда Винисиус заболел, все стало последним: в последний раз он был в состоянии вести машину; в последний раз мы вместе съездили в путешествие; в последний раз он по-настоящему играл на гитаре; в последний раз говорил по-английски, прежде чем окончательно и бесповоротно перейти на португальский; в последний раз мы вместе ходили в кино.

Это было в Майами-Бич, в кинотеатре недалеко от нашего дома. Мы с Винисиусом смотрели на экран, где показывали детский мультфильм. Я почувствовала, как Винисиус вынул свою руку из моей и вжался в кресло.

– Где мы? – спросил он.

– В кино, – сказала я, поворачиваясь к нему.

Он уставился на меня глазами, круглыми от ужаса. На морщинистом лице прыгал свет с экрана, и замешательство выглядело страхом. Винисиус загородился локтем, будто закрываясь от удара.

– Я буду играть! Честное слово, буду!

– Винисиус?

Я коснулась его. Он дернулся, схватился за подлокотник своего кресла – тот, что был дальше от меня.

– Я буду, буду играть! Я только немножко посмотрел!

– Это Дор. Это не тетя.

Винисиус заскулил и спрятал лицо в ладонях.

Фильм продолжался, но ни один из нас уже не смотрел на экран. Я твердила себе, что здесь темно и легко было принять меня за кого-то еще, за кого-то пугающего. Когда фильм кончился и зажегся свет, Винисиус остался сидеть в кресле, как парализованный. Меня резанула паника. Наши воспоминания – лабиринт, и вдруг Винисиус заблудился в своем лабиринте? Но нет. Ходы в лабиринте Винисиуса не становились запутаннее – они упрощались. Лишние дорожки зарастали, неважные тропки исчезали. Он не знал, что он Отец самбы, он перестал узнавать соседей, забыл, как обращаться с блендером, не мог вспомнить ни слова по-английски. Зато его португальский был совершенен, зато Винисиус помнил каждую ноту, каждое слово наших песен. Про Грасу и ребят он спрашивал раз по десять на дню, а то и больше. Все, что составляло суть его жизни, осталось при нем. Но то, как он испугался меня... пришел ли этот страх от понимания того, что я собой представляю? Винисиус знал обо всех совершенных мной мерзостях, и он простил меня, но стер ли он их из памяти? Или они вернулись в тот темный зал, чтобы преследовать нас обоих?

Винисиус еще сильнее скорчился в кресле. В зал вошел уборщик с совком и щеткой, я вытряхнула из головы прежние заботы ради насущных. Как увести Винисиуса из кинотеатра? Как убедить его вернуться домой?

Когда все рациональное сотрется без следа, с чем мы останемся? Рациональное мышление заставляет нас определять, категоризировать, разделять: ты – это, я – то; твоя любовь такая, а моя – такая; ты настоящий, а я – воспоминание. Музыка не бывает рациональной. Она действует целиком, а не своими составляющими. Хорошо помню, как какой-то умник показал Винисиусу нотную запись наших песен; Винисиус рассмеялся и вернул умнику ноты. *Это всего лишь расшифровка, чувак,* – сказал Винисиус. – *Это не настоящий разговор.*

И поэтому там, в полутемном зале, я запела. Сначала тихо, как когда мы сочиняли песни в кафе или – позже – на съемочных

площадках. Сама не знаю, почему я не пела Винисиусу одну из более поздних песен; я пела «Недобродетельные, не знающие раскаяния» – мелодию, которую мы написали в тысяча девятьсот сороковом, в наш год кино и побегов, в наш год последнего и первого.

И Винисиус сделал именно то, на что я надеялась. Убрав от лица руки, открыв глаза, он слушал.

Недобродетельные, не знающие раскаяния

Счастье не есть какая-то конечная точка. Оно не зарытый клад, отмеченный крестом на карте. Не награда, которую тебе вручат после долгих лет беспорочной службы. Счастье – это как быть в утробе матери: тепло, безопасно, вокруг тебя теплая жидкость, и ты понятия не имеешь, когда кончится это состояние и почему. После шоу «Майринка» нас несколько бурных месяцев несло вперед на волне успеха; охваченные благоговейным восторгом перед своей везучестью, мы верили, что добились всего сами. Верили, что превратились в успешных артистов, хотя продолжали оставаться скромным самба-бэндом. Мы верили, что сможем ускользнуть от ворующих наши песни конкурентов, от навязчивых поклонников, от беспринципных музыкантов, что у нас будем только мы сами и наша музыка. А потом положение дел начало потихоньку меняться.

Я единственная, кто еще остался в живых из состава «Голубой Луны». Последний зверь вымершей породы – это прежде всего одиночество, но есть в этом и преимущество: только я могу рассказать нашу историю. А в моей версии наше наивное счастье начало улетучиваться в тот момент, когда появился сеньор Пиментел.

– Что ему надо? – спросила я Грасу.

Сеньор Пиментел жил в Рио уже несколько дней, деля комнату с Винисиусом, – к нам в пансион мужчины не допускались. Граса пожалала плечами:

– Кого это интересует?

– Тебя должно интересовать. Он же может в любой момент призвать полицию, утащить тебя в Риашу-Доси и сбегать замуж. Похоже, богатый зять ему требуется позарез.

– Нет больше никакого Риашу-Доси, – безучастно ответила Граса. – Банкиры забрали. Работники разбежались. Даже если бы он и хотел меня утащить – тащить больше некуда.

Мне словно вlepили хлесткую пощечину. Риашу-Доси, тростниковые поля без конца и без края, бараки работников, где я родилась и где умерла моя мать, господский дом, где я служила,

подглядывала и слушала музыку, классная комната, где я узнала о словах и ритмах, холл, где Граса ущипнула меня, а я хлопнула ее по щеке во время нашей первой встречи, – всего этого больше нет. Я не знала, снесли ли завод и постройки, но в моем воображении их разрушили, и от этой мысли на меня накатила такая ужасная печаль, что мне сделалось стыдно. Какая же я дура – любить то, что мне не принадлежит! Как глупо чувствовать, что какой-то кусок земли предал тебя тем, что его продали, а затем еще и отправил к нам худшее свое порождение – сеньора Пиментела. Сеньор вторгся в Лапу, наш новый дом, где мы сумели сотворить себя заново. Вторгся, только чтобы напомнить нам о запертых в четырех стенах девочках, которыми мы когда-то были.

– Значит, он останется здесь? – спросила я.

Граса испустила довольный вздох, как после обеда из десяти блюд.

– Папа не думал, что нуждается во мне, но я теперь – единственное, что у него есть. И он увидит, что мне для счастья не нужен муж. Он увидит, что я и сама по себе кое-чего стою.

Во время концертов сеньор Пиментел слонялся за сценой, представляясь каждому официанту, осветителю или оформителю как «отец Софии Салвадор», так что вскоре все в казино уже называли его «сеньор Салвадор». После концерта он врывался в гримерную Грасы, не обращая ни на кого внимания, и принимался расточать комплименты ее красоте и элегантности. Когда он бывал достаточно трезв, чтобы присутствовать на наших ночных музыкальных встречах, то нарушал все неписанные правила роды: болтал, пока ребята играли, встречал в обсуждения, чтобы поддержать мнение Грасы насчет новой мелодии, воодушевленно аплодировал, когда Граса заканчивала петь.

Пойманная в сети его похвал, Граса смягчилась по отношению к отцу. Но как сеньор Пиментел ни старался, к богемной жизни привыкнуть ему не удавалось, и тяжесть разочарования так и ощущалась в нем. Лицо его темнело всякий раз, когда перед ним ставили рис с бобами. Он раздражался из-за того, что ему приходилось торчать за сценой, – смокинга у него не было, а потому в зал казино его никто не пустил бы. А впервые увидев наш пансион, он не сумел скрыть отвращения.

– И ты здесь живешь? – спросил он, глядя на здание.

– А ты чего ожидал? – ответила Граса. – Дворца Катете?

Сеньор Пиментел вспыхнул. В прежние времена он наказал бы дочь за подобный тон, и Граса это знала. Она вскинула голову, но резкого замечания со стороны отца не последовало. Сеньор Пиментел был достаточно сообразителен, чтобы не злить единственного человека, от которого зависело, будет ли на его хлебе масло.

– Я ожидал чего-нибудь более... частного... Где по соседству с тобой не жили бы фабричные рабочие.

– У нас собственная ванная. – Щеки Грасы порозовели.

– И очень хорошо. – Сеньор Пиментел положил руку ей на плечо. – Но ты за свой тяжкий труд заслуживаешь дворца! Ты каждый день выступаешь в шикарном казино. Ты сделала этого Роллу богатым! Благодаря тебе управляющие студий звукозаписи набивают карманы. А что ты получаешь взамен?

Граса молчала, обдумывая то, что услышала.

– Мы покупаем ей наряды, – сказала я. – У нее каждую неделю новый наряд. И мы все делим с музыкантами, по-честному.

– А еще делимся с Мадам Люцифер, – уныло добавила Граса.

– Кто она такая? – спросил сеньор Пиментел.

– Наш партнер.

– Да она неплохо устроилась! И что она вам дает?

– Помощь, когда нам нужна помощь, – ответила я.

Сеньор Пиментел еще раз оглядел здание пансиона.

– Похоже, помощь вам и вправду нужна.

Когда мы под утро легли спать, Граса повернулась ко мне спиной и заплакала. Я положила руку ей на плечо, но она отпихнула меня локтем.

– В Копакабана строят апартаменты с лифтами и горячей водой, – рыдала она. – Почему мы не можем жить в таком доме?

– В один прекрасный день мы переедем туда, – попыталась я ее утешить.

– К тому прекрасному дню я умру.

– Ты каждый вечер поешь на сцене. Тебя каждый день крутят по радио. Все девушки Рио подражают тебе. Разве не этого ты хотела?

Граса повернулась ко мне:

– Мне еще двадцати нет, а я уже самая старая из здешних самбистас. Да, у меня есть концерты в «Урке» и наши пластинки, но нас скоро сожрут молодые сучки вроде Араси. Каждый раз, когда я меняю прическу или наряд, они копируют меня. Я постоянно пытаюсь держаться на шаг впереди, и это изматывает. Я могу быть на голову выше этих девиц – ну и что? Когда-нибудь я надоем людям. Им всегда все надоедает. А когда это случится, с чем я останусь? Со съемной комнатой и старыми костюмами?

– У тебя есть я, – прошептала я. – И ребята.

Граса уставилась в потолок.

– Ребята забудут про меня, как только на горизонте покажется что получше. И Винисиус тоже. Он врет, что ему наплевать на концерты. Что главное – сама музыка. Он говорит так только потому, что от исполнителя самбы *ждут* таких слов. Исполнитель самбы не должен иметь амбиций. Но я-то знаю – ему нравится играть перед полным залом. Я это чувствую, когда мы на сцене, – это как электричество. Знаешь, когда мы с Винисиусом на сцене – это сон. И просыпаться не хочется.

– Вот, значит, чего ты хочешь, – прошептала я. – Быть с ним на сцене, навечно.

Граса вздохнула:

– Я хочу прекратить драться за одни и те же старые обноски: еще больше казино, еще чаще крутиться на радио.

Мне показалось, что кожи моей касается не простыня, а наждак. Я отшвырнула ее. Конечно, за нами наблюдали и нас судили все то время, что мы жили в Лапе. Но фокус состоял в том, что мы этого попросту не замечали. До тех пор, пока не появился сеньор Пиментел и не выяснилось, что все наши достижения весят столько же, сколько наши неудачи. Мы с Грасой были уверены, что наша нынешняя жизнь – волшебный фейерверк, но, взглянув на нее глазами сеньора Пиментела, увидели лишь обшарпанность да грязь, мы будто выяснили внезапно, что вовсе не живем в раю, а лишь глазеем на него через замызганное стекло.

Говорят, нужда – мать изобретательности. Я бы добавила, что озлобленность – ее отец. Сколько песен, стихов, картин, книг и смелых предприятий стали ответом на пренебрежение, разбитое сердце,

бездумно сказанное слово? Акт творчества есть форма мести миру скептиков.

Чем настойчивее сеньор Пиментел выражал нам неодобрение, чем чаще высказывал недовольство по поводу того, что мы едим, где живем, как работаем, чем сильнее он допекал Винисиуса (своего вынужденного соседа) сетованиями, что «Голубая Луна» висит на шее Софии Салвадор, тем больше песен мы писали. Каждый день после обеда мы с Винисиусом отправлялись в кино, чтобы прочистить голову, а потом уединялись в его или нашей комнате – писать песни. И там мы забывали и о выступлениях, и о деньгах, и о сеньоре Пиментеле. Мы с Винисиусом будто убедили себя, что всегда сумеем укрыться от внешнего мира. Но мир постоянно настигал нас.

Однажды днем, когда мы сидели в нашей комнате и трудились над особенно упрямой песней, Винисиус прекратил терзать гитару и спросил:

– В чем дело?

– Она не уложится в три минуты.

– Значит, сыграем ее на роде.

Я покачала головой:

– Хорошая песня. Не хочу, чтобы она канула в никуда.

– Рода – это не никуда.

– Зачем мы продаем свои песни? – спросила я.

– Мы записываем пластинки, и люди их слушают. Ты же этого хотела.

– А «Виктор» гребет бабки. Как думаешь, сколько они заработали на «Дворняге» после карнавала?

– Так уж все устроено. – Винисиус пожал плечами.

– А что, если можно иначе? Что, если права на песни останутся у нас? И мы сами станем записывать пластинки?

Винисиус рассмеялся:

– Самбу нельзя присвоить. Она как птица. Летает по всей Лапе, да что там – она, может, когда-нибудь весь мир облетит! И расскажет людям историю, нашу историю. Хорошая самба поселится у людей в головах. В их памяти, Дор! Верить? Она напомнит им о добрых временах или о печальных временах, о ком-то, кого они любили, о доме. Это же чудо. Такое не присвоишь.

– Ага. И съесть ее тоже нельзя. Или надеть и носить. Или жить в ней.

– Дор, мы не голодаем. И я доволен по уши своим жильем.

– Вторые уши там тоже имеются, – заметила я.

– Зато Граса довольна. С тех пор как он поселился у меня, мы с ней ни разу не повздорили.

– Оно того стоит?

– Дай дураку ведро воды – он и утопится.

– Или кого-нибудь из нас утопит, – парировала я.

Дверь открылась. На пороге стояла Граса – платье в цветочек, беретка.

– Не смотрите на меня так испуганно, – сказала она.

– Ты не пошла на урок? – спросила я.

Граса сдернула берет и взъерошила короткие выбеленные волосы.

– Папа говорит, мне не нужны уроки. Говорит, мой голос и так совершенство. И какая-то шляпница учит меня петь? Да ну ее.

Она подпихнула бедром Винисиуса, сидевшего на краю нашей кровати. Он торопливо убрал гитару, освобождая Грасе место, при этом ее рука прижалась к его руке.

– Прошу простить, что помешала вашему свиданию.

– Это не свидание. – Винисиус моргнул. – Мы сюда не развлекаться пришли.

Граса рассмеялась:

– Значит, вы каждый день уединяетесь, чтобы поплакаться друг другу!

Винисиус растерянно глянул на меня.

– Мы работаем, – сказала я.

– А я думала, вы тут сплетничаете!

– У нас перерыв, – сказал Винисиус. – Но, похоже, на сегодня мы закончили. Уперлись в тупик.

– Давайте я помогу вам. Сыграй.

Мы с Винисиусом переглянулись. Граса помедлила и сказала:

– У меня тоже есть идеи. А вы оба вовсе не дар божий. – Она схватила лежавшую у меня на коленях записную книжку. – Все еще таскаешь с собой это старье? Помню, мне тоже такую хотелось. Но ты всегда была лучше меня – во всяком случае, на уроках. Ну, покажи, что ты там насочиняла.

Граса сунула мне блокнот. Винисиус так и держал гитару на коленях, но не играл. Я открыла блокнот на последней исписанной странице, попыталась извлечь хоть что-то из нацарапанных слов.

Сколько раз я мечтала, чтобы Граса своими глазами увидела, как мы пишем песню! Я рисовала себе, как Граса тихонько сидит рядом со мной, впечатленная тем, как слаженно нам с Винисиусом работается, и впервые в жизни она осознает, что не все самое важное происходит только с ней и на сцене. Воображаемая Граса была кроткой и зачарованной. Но Граса реальная уже перетянула все внимание на себя: вот она вздохнула, вот скрестила, а потом выпрямила ноги, вот с отсутствующим видом грызет ногти. Она нарушила равновесие – а мы и не знали, что оно есть, пока оно не исчезло.

Я пробежалась по строчкам, откашлялась.

– Я как-то вечером была на пляже и думала про волны. Как они накатывают, как отступают. И подумала, что можно написать о парочке на песке, как они двигаются.

– Как волны, – сказала Граса.

Винисиус просиял.

– Да! Дор предложила взять тот же ритм – накатила-разбилась, опять накатила-разбилась. Как будто эта пара все больше и больше...

– Они смешиваются друг с другом, – перебила Граса. – И они больше не пара, они...

– Волна, – выдохнул Винисиус, не сводя с нее глаз.

Они смотрели друг на друга как-то слишком долго, словно их объединяла тайна.

Я с шумом захлопнула книжку.

– Цензоры не пропустят.

– Да ну их к черту, цензоров, – сказала Граса. – Мне нравится. Вот что главное.

– Мы не про платье в витрине говорим! Не твое «мне нравится» сделает песню хорошей. Мы пытаемся понять ее – понять, чем она может стать.

Граса побледнела. Ее глаза расширились и заблестели, как в тот день, много лет назад, в холле особняка Риашу-Доси, когда я отвесила ей оплеуху. А я ощутила то же торжество, тот же страх.

– Кажется, я забыла свое место, – проговорила наконец Граса. – Вы два таланта, а я просто певчая курица. Так ведь всегда и было,

правда, Дор? – Она кивнула на мою книжку: – Даже мама знала, что ты умная, а я нет.

– При чем здесь ум, – мягко сказал Винисиус. – На сцене ты в центре внимания. Но когда мы пишем песню, в центре внимания – песня. Мы должны раствориться в ней, исчезнуть. Мы делаем как лучше для музыки, а не для нас. Мы с Дор хорошо умеем исчезать. Дай нам сделать всю черную работу – а потом, на роде, с парнями, ты придашь песне блеска.

Граса встала. Губы ее сжались в тонкую линию.

– Я сегодня не приду на роду.

– Как не придешь? – удивилась я.

– Да вот так. Вам с Винисиусом я не нужна. А я сегодня везу папу в Ипанему, на примерку. Ему шьют костюм у Дуарте.

– Посреди ночи? – спросил Винисиус.

– Они будут открыты. Только для Софии Салвадор.

– Эти портные обшивают Жеже, – сказала я. – Откуда у тебя такие деньги?

Граса улыбнулась.

– Папа не может одеваться как нищий! Я же буду выглядеть ужасной дочерью.

– Ты здесь никому не дочь! Мы сбежали, чтобы быть ничьими.

– Мы сбежали, чтобы петь, – ответила Граса. – И я останусь верна сцене, где мне самое место. А вы, два гения, можете и дальше заниматься писаниной. Радости в ней – как в заусенцах.

Она встала, надела берет и вышла.

Шли недели, один шикарный костюм обернулся двумя, потом тремя, потом пятью – все сшиты вручную, из португальского льна, на шелковой подкладке, все с крошечными металлическими пластинками на внутренней стороне воротника. На таких пластинках портные выбивали номер, отмечая мерки и предпочтения клиентов – сенаторов, владельцев казино и даже самого президента Жеже. Мадам Люцифер сообщил мне, что Граса приходила к нему с просьбой о займе и он дал ей деньги. На следующий день сеньор Пиментел появился в «Урке» в смокинге с перламутровыми пуговицами, отныне он мог сидеть в зале и заводить дружбу с богатыми клиентами казино. Когда мы с Грасой остались в примерке вдвоем, я заговорила:

– Я знаю, что ты взяла взаймы.

– Поздравляю, – сказала Граса, промокая потное лицо. – Ты истинный детектив.

– Нельзя тратить незаработанные деньги.

Граса развернулась ко мне, звякнули браслеты:

– Я на части рвусь каждый вечер – и все ради того, чтобы набивать чужие карманы. Мне тоже кое-что причитается.

– То, что тебе причитается, достается твоему отцу, и только.

– В казино важные люди. Папе нужно произвести на них хорошее впечатление.

– Зачем?

– Ради меня.

Несколько дней спустя, когда мы уже собирались уходить, за сцену заявился сеньор Пиментел в новеньком смокинге и тоном церемониймейстера объявил, что добыл Софии Салвадор важное приглашение.

– Сын Льва хочет, чтобы ты выступила у него дома! Ты будешь почетной гостьей!

Граса прикрыла рот руками. Винисиус глянул на меня.

– Гостьей? – спросил Кухня. – То есть нас не приглашают?

– Разумеется, приглашают! – Сеньор Пиментел выдавил улыбку. – Хозяева ждут вас всех.

Леонсиу ди Мелу Барросу, известный всей Бразилии как Лев, владел большей частью газет и журналов. Он близко дружил с президентом Жеже и теми, кто способствовал укреплению его позиций, враги же становились объектами скандальных статей (правдивых и не очень) в его газетах. Лев был очень осторожен и старался не делать свою жизнь достоянием широкой публики, но влияние этого человека было таково, что после его скандального развода правительство издало указ, дававший Льву право единоличной опеки над детьми. «Если закон против меня, мы изменим этот закон», – хвастал Лев. Он обитал в самом большом особняке Санта-Терезы, охрана мало кого впускала в ворота. Мы с ребятами из «Голубой Луны» не стали возражать против выступления, из чистого любопытства – кто отказался бы взглянуть на самого Льва? И все же я

не чувствовала воодушевления, ведь этот концерт устроил сеньор Пиментел, а не я.

Лев прислал за нами в Лапу личный автомобиль. Сеньор Пиментел втиснулся между Грасой и мной. В галстук поблескивал бриллиантовый сахарный кубик.

Машина долго петляла среди холмов Санта-Терезы, и наконец мы оказались перед каменной оградой, выше которой здесь не было. Пока железные ворота со скрипом открывались перед нами и закрывались за нами, Граса сжимала ладонь отца затянутой в перчатку рукой. Сеньор Пиментел убедил ее надеть не один из тех ярких нарядов, в которых она обычно выступала, а черное платье и единственную нитку жемчуга, словно Граса собралась не на концерт, а на похороны.

Мы ехали по извилистой, освещенной газовыми фонарями дорожке, я смотрела в окно. Впереди маячил огромный холм, чернее ночного неба. На вершине его будто парило строение, напоминавшее музей или театр, – массивное, с колоннами, стены отделаны ажулежу^[31], поблескивающими в свете фонарей. Выложенная каменными плитами дорожка взбиралась вверх по холму, к крыльцу, но машина не свернула на нее, а направилась вокруг холма, к задкам дома.

Открылся целый ряд освещенных гаражей, в каждом – автомобиль. Мужчины и женщины в форменной одежде сновали туда-сюда. Где-то поблизости настойчиво и басовито лаяли собаки. Машина остановилась. Водитель вылез и открыл дверцу – прямо перед входом для прислуги.

Граса вырвала свою руку из отцовской.

– Я думала, я почетная гостя, а не горничная!

«Лунные» мальчики переглянулись и быстро полезли наружу.

– Ты не графиня, ты поешь самбу, – прошипел сеньор Пиментел. – Что хотела – то и получила.

Граса посмотрела на меня, на лице смешались страх и гнев. Я потянулась через сеньора Пиментела:

– Хочешь, войдем через главную дверь? Я пойду с тобой.

Сеньор Пиментел схватил Грасу за руку:

– Ты – развлечение. Если войдешь через парадный ход и если о тебе объявит дворецкий, ты все испортишь. Не ставь меня в неловкое

положение.

Граса нагнула голову как в молитве. Потом высвободила руку и выбралась из машины. Мы с сеньором Пиментелом ринулись следом, спеша опередить друг друга, догнать Грасу, переубедить ее. Но она уже приняла решение. Граса двинулась к двери черного хода.

Вход для прислуги располагался на нижнем этаже, открывшийся коридор вел вглубь холма, на котором стоял дом. Кухни больше и современнее я в жизни не видела, она была выложена плиткой от пола до потолка, как в больнице. Но влажный воздух, запахи чеснока и лука вернули меня на кухню Нены в Риашу-Доси. Я избегала смотреть в глаза кухаркам и посудомойкам, которые благоговейно взирали на нас – знаменитости! – пока мы тащились через их владения. Граса смотрела прямо перед собой, вздернув подбородок так высоко, словно брела по горло в воде. Зато ребята кивали и улыбались молоденьким посудомойкам.

Следом за экономкой мы прошли по лабиринту узких коридоров, поднялись по скудно освещенной лестнице и оказались перед какой-то дверью. За ней открылся зал – огромный, как футбольное поле. Позолоченный потолок сиял электрическим светом. В центре комнаты выстроились в ряды золоченые стулья с мягкими вышитыми сиденьями.

– Дамы и господа сейчас в гостиной, угощаются после ужина напитками, – объявила экономка таким тоном, каким наверняка говорила со своими подчиненными. – Потом они придут сюда, слушать вас. Приготовьтесь.

Винисиус и ребята расчехлили инструменты. Граса закрыла глаза и пропела несколько упражнений. Я отошла к задней стене и села на позолоченный стул. Сеньор Пиментел опустился рядом, нога его прижалась к моей.

– Наверное, сама себе не веришь, Ослица, что оказалась в такой роскоши.

– Я видела места и пошикарнее.

Сеньор Пиментел засмеялся:

– Казино? Но это частная вилла! Северные деньги – капля по сравнению с деньгами Рио. Грасинья правильно сделала, что уехала. У нее всегда было хорошее чутье, но ей нужен наставник.

– Такой, как вы в последние годы? – уточнила я.

Сеньор скривился, но выдавил улыбку.

– Грасинья простила меня. Она понимает, что я не мог обанкротить завод на невыгодных для меня условиях.

– Вы же все равно его потеряли.

– Риашу-Доси потеряла судьба. Его потеряли цены на сахар. Ужасное горе для меня! Я будто снова потерял мать Грасы. Моя родословная восходит к первым португальцам, Ослица. Мои предки завели в Пернамбуку первые плантации. У Грасы благородное происхождение. Лучше, чем у большинства дураков, для которых она сейчас будет петь. Лучше, чем у самого Льва. Она не рабочая лошадь. Моя девочка – Пегас! У нее есть крылья! Но сейчас она тащит плуг, словно мул.

– Она поет на лучшей сцене Рио.

– Лучшая сцена Рио – «Копакабана-Палас», а туда ее не зовут, потому что там свои требования. Сколько еще продлится мода на самбу? Сколько еще публика будет слушать Грасу? Пока Граса не охрипнет? И где она тогда окажется? Засядет в пансионе на пару с тобой, станет записывать пластинки и всю оставшуюся жизнь петь по облезлым клубам? В тебе слишком сильна жадность, Ослица, ты одержима желанием сжать в кулаке все, до чего можешь дотянуться. Такое естественно для людей твоего круга, но не для моей Грасиньи. Ей нужен человек с горизонтами пошире. Тот, кто думает не только о том, как бы заработать еще немножко. У Грасиньи изумительный голос. Ей бы петь настоящее, с настоящими музыкантами, а не с этим сборищем *malandros*. Петь в залах, подобных этому, или на сцене знаменитого театра, петь для высшего общества, а не для всякой швали. Ей нужны международные гастроли, контракт с уважаемой студией грамзаписи, ее имя – на подкладке меховых пальто! До сих пор ты направляла ее, и поверь мне – твоя отвага впечатлила меня. Но дальше ты ее не продвинешь. Ты одеваешься, как мальчишка-газетчик. Ты пьешь. Ты скандалишь. Ты крутишь романы с девицами. Это противоестественно. Если моя Грасинья хочет сделать приличную карьеру, если она хочет взлететь на луну, нельзя, чтобы ее имя связывали с тебе подобными.

Взлететь на луну. Это не его слова, это слова Грасы.

– Она говорила с вами? – спросила я. – Она знает, что вы предлагаете мне спрыгнуть с корабля?

– Грасинья? Она не в состоянии решить, какие туфли надеть, чтобы пройти по коридору. Но у моей девочки есть амбиции. И, выбирая между мной и тобой, она сделает правильный выбор. Скоро сама увидишь.

– Я и не знала, что есть выбор.

– А его и нет. – Сеньор Пиментел привалился ко мне плечом, его губы оказались у моего уха, как будто он собрался поделиться со мной какой-то поразительной сплетней. – Я ее отец. Ее хранитель. Мой долг – защищать невинную девочку от авантюристов, от музыкальных банд, от гангстеров и кобелей. Скверное выйдет дело, если я пойду в полицию, в суд... Мы оба знаем, кто победит.

Дверь залы открылась. Граса и мальчики замерли. Смех. Женщины в массивных украшениях и газовых платьях врывались в залу, иные под руку с мужчинами, иные поодиночке. Мужчины в смокингах, со стаканами бренди в руках, перешучиваясь, направлялись к стульям в переднем ряду.

– Концерт вот-вот начнется. – Сеньор Пиментел кивнул на дверь: – Ты знаешь, где выход, Ослица.

Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не врезать ему. Я закрыла глаза и представила себе, что сказала бы Граса, если бы я принялась лупить ее дражайшего папашу прямо здесь, в бальной зале, на глазах у хозяина и гостей. Может быть, именно драки сеньор Пиментел и хотел – так он заработал бы сочувствие Грасы и добился, чтобы меня выкинули из особняка Барросу. Но сеньор Пиментел недооценил меня. Не он первый, не он последний.

– Я бы на вашем месте не особо надеялась, – сказала я спокойно, хотя перед глазами у меня все плыло от ярости.

Сеньор Пиментел улыбнулся и бросился приветствовать гостей, как если бы был хозяином вечеринки. Потом он представил публике свою прекрасную дочь, Софию Салвадор. Музыкантов «Голубой Луны» упомянуть он не удосужился.

Сколько концертов Грасы и парней я видела, стоя за кулисами? В больших и маленьких залах, в дешевых кабаках и в особняках, в казино и кабаре, для пьяного сброда и для благородной публики – все

они сейчас сливаются в одно долгое-предолгое представление, которое я снова и снова разыгрываю в памяти, и пластинка все крутится, крутится.

Граса начинала мило, чуть кокетничая, – песенки для забавы, словно вы встретились на шумной вечеринке и завели легкий флирт. Потом понемногу переходила к другим песням, романтическим. Голос ее превращался в шепот, нежнейший тихий стон. Она доверялась тебе, просила пустить ее переночевать. И когда ты уже думал, что раскусил ее, она подавала парням знак, вздыхала, встряхивала головой, обхватывала микрофон и переходила на медленный темп, к песням, полным печали. Она ломала мелодию, тянула звуки так, что слушатели начинали беспокоиться за нее – слишком высоко, слишком низко, она наверняка сфальшивит. Ее тело дрожало от усилий. Она закрывала глаза, сцепляла руки, иногда даже опускалась на колени. А ты – и все вокруг – не дышал, боясь, что она переломится, развалится прямо перед тобой на куски. Но вот она вставала – и голос, мощный, сияющий, омывал тебя, подобно теплой воде, и ты понимал: такая не развалится.

Когда София Салвадор заканчивала выступление, аплодисменты были не обязанностью, а освобождением. Пока она пела, ты бессознательно задерживал дыхание и напрягался всем телом: вдруг малейшее твое движение напугает ее и она убежит? Но когда София Салвадор кланялась и произносила слова благодарности, то все эмоции, которые она загоняла в тебя, вырывались наружу. Как можно было не хлопать, не улюлюкать, не свистеть, не кричать «еще, еще!»? Еще! Еще, пожалуйста, всего одну! И конечно, София Салвадор уступала. Как и в тот вечер, в особняке у Льва.

Она пела и пела – у меня уже ныли ноги, от яркого света двоилось в глазах. Когда София наконец замолчала, ее грудь блестела от пота, волосы спутались, тушь размазалась по лицу. А сливки общества оглушительно хлопали, вытирали мокрые от слез лица, а потом разом бросились к Софии. Благородные дамы и господа благодарили Грасу, ребят, даже сеньора Пиментела, а тот, сияющий, покрасневшийся, отвечал на рукопожатия, ну просто папаша у дверей родильного отделения. Я могла бы протолкаться в центр толпы. Могла бы заставить их поблагодарить и меня – написавшую эти песни. Человека, который привел всю эту машину в действие. Но чего стоит признание,

если оно не добровольно? Снисхождение. Подачка тех, в чьей власти раздавать подачки. Сеньор Пиментел прав: я жадна, но я вовсе не сжимаю в кулаке все, до чего могу дотянуться, я разжимаю чужие кулаки, чтобы забрать свое. Тем вечером я поняла, что устала от этого. Я хотела, чтобы все давалось легко – или не давалось вовсе.

Толпа гостей загораживала дверь, что вела в лабиринт служебных коридоров, и я выскользнула через главный вход в просторный вестибюль. Мои каблуки застучали по мраморному полу. Я испуганно подумала, что какая-нибудь горничная или дворецкий услышит меня и подумает, что я пробралась в дом тайком. Я ускорила шаг, каблуки застучали быстрее. Наконец я увидела массивную дверь, такую тяжелую, что пришлось тянуть ее обеими руками. На улице шипели, потрескивали газовые фонари. Приподняв подол платья, я неуверенно побрела по каменной дорожке.

Отойдя немного, я оглянулась на особняк Льва. Сияли все окна до единого, вечеринка охватила весь дом. За каким-то из этих окон была и Граса – смеялась, принимала комплименты, очаровывала, кружила головы. Люди в этом особняке были настоящими хозяевами Рио, в отличие от Коротышки Тони, Мадам Люцифер или даже Роллы. Они контролировали Бразилию, а не какую-то вшивую Лапу. Может, мои горизонты и правда слишком узки, а хватка слишком сильна. Может, я и правда помеха. Может, я и правда не спасательный круг, а камень на шее Грасы, который тянет ее на дно.

Надо попросить шофера, чтобы отвез меня назад, в Лапу; если откажется – пойду пешком. Я представила, как бреду по извилистой дороге, по холмам Санта-Терезы, мимо ворот особняков, под арками акведуков, как добираюсь до нашего пансиона на рассвете, если, конечно, вообще доберусь. Я поразмышляла, не заглянуть ли к Анаис, но отказалась от этой мысли. С ней я всегда была ученицей, ждущей одобрения наставницы. Но в ту ночь мне не хотелось соответствовать чужим ожиданиям. Мысли мои переключились на скучающих шоферов роскошных авто, уж они-то наверняка по достоинству оценят мое общество. Я представила, как мое роскошное вечернее платье задрано до пояса, как я ногами сжимаю тело шофера с такой силой, что у него перехватывает дыхание, как он долбит меня, а я смеюсь над ним, как говорю ему, что он ничтожество, как шлепаю его по заду и

приказываю долбить сильнее, как он вбивает меня в кожаное сиденье – пока я не растекусь в ничто. Пока не исчезну без остатка.

Мне нужно, чтобы ты была на моей стороне.

Против кого?

Против всех. Против всего мира.

Этот мир сожрет нас с костями.

Я опустила на каменные плиты и уткнула лицо в ладони.

Просидев так какое-то время, я поднялась и поняла, что не помню, где находятся гаражи со сверкающими машинами и их шоферами. Я неуклюже брела по узкой и темной дорожке, каблуками увязая в гравии. От внезапного резкого запаха я задохнулась – будто очутилась в одном из тупиков Лапы, где имели обыкновение облегчаться пьяницы. Послышалось рычание.

Я замерла, у меня свело шею. Рычало какое-то животное, глухо и непрерывно, словно мотор увеличивал обороты. Я сделала шаг. Под ногой хрустнул гравий. И тут раздался взрыв – лай такой громкий и неистовый, что меня едва не отшвырнуло назад. Я поперхнулась беззвучным вскриком, вскинула руки, прикрывая лицо. Лай не прекращался, такой же оглушительный и яростный, но к нему не добавилось ни оскаленной пасти, ни острых клыков.

Я опустила руки. В тени холма тянулись клетки псарни. Три мастифа размером с ослов захлебывались лаем, просунув носы между железных прутьев. В темноте белели клыки. Я отступила, и лай прекратился. Собаки принюхивались. Хвосты мотались из стороны в сторону с такой силой, что собачьи тела буквально извивались. Один из псов вдруг завыл, в его пасти запросто поместилась бы голова ребенка. Сзади захрустели шаги.

– Не любят они незваных гостей, – произнес мужской голос.

Я оглянулась. Мужчина был в смокинге, в руке – железное ведро. Белые волосы в темноте отливали голубым.

– Я не гостья, – прошептала я.

– А судя по платью – гостья. Здесь же территория прислуги.

Безукоризненный смокинг, безупречно завязанный галстук-бабочка. На руке, державшей ведро, – кольцо с камнем размером с шарик жевательной резинки.

– Вы тоже гость, – заметила я.

У него был цепкий взгляд. Мужчина словно оценивал обстановку, как мог бы оценивать вор или заключенный – получится ли быстро сбежать? Свободной рукой он достал из кармана смокинга носовой платок и протянул мне. Наверное, решил, что я расплакалась из-за собак. Я поблагодарила, вытерла глаза и нос.

– Вы из Пернамбуку, – он коснулся своего уха, – от акцента до конца не избавились. Я тоже оттуда, но выучился говорить, как кариокас^[32]. Иначе их уважения не добиться.

Ведро в его руке покачнулось. Собаки уже вовсю нетерпеливо выли.

– Вы приехали с музыкантами? Жена? Подружка?

– Боже упаси.

– Она прекрасная певица. Может, даже великая. Только не говорите ей, что я это сказал.

– Я не видела вас в зале, на концерте.

– Я сидел сзади, как и вы.

Он прошел мимо меня к псарне. Собаки весело запрыгали, засуетились. Человек в смокинге запустил руку в ведро и вытащил что-то глянцево поблескивающее. Просунул ладонь между прутьями. Псы уткнулись в его раскрытую ладонь – словно зализывали рану. Мужчина принялся доставать из ведра влажные куски, то и дело успокаивающе приговаривая:

– Вот, *querida*. Да... ну-ну, не торопись так! Не жадничай, милая... да, вот.

Мне стало неловко, как будто подглядывала.

– Филе-миньон – гарантия лояльности! – объявил мужчина и протянул ведро мне: – Хотите попробовать? Они не укусят.

Я замотала головой. Он снова принялся кормить собак.

– Так что вы делаете для этой Салвадор? Кроме как околачиваетесь по темным углам?

– Я пишу для нее песни.

Звякнуло опустившееся на землю пустое ведро. Руки, обшлага белого смокинга были в темном жире. Мужчина просунул обе руки в клетку, и собаки принялись вылизывать их.

– Значит, вы ее суть.

– Прошу прощения?

– Вы создаете песни. Что толку в певице, если ей нечего петь? Вы даете ей ее суть. Мой сын – любитель самбы. Он каждую неделю ездит в «Урку» посмотреть на вашу девушку. Страстный поклонник. А я не чувствую музыки. Я больше по части кино.

– Вы любите кино?

– Здешние снобы говорят, что кино – удел мужланов из низов. Их в кино силой не затащишь. А я такой мужлан, что на мне пробы ставить негде! Хожу в «Синеландию» раз в неделю, – меня пускают на задние ряды «Одеона» бесплатно, сижу прямо под аппаратной. И знаете почему?

– Нет.

– Ни один фильм не появится в Бразилии без моего ведома. И ни один киножурнал. Мы их делаем. Склеиваем несколько фотографий, добавляем рассказ – и бах! Вот вам история, даже если это вовсе не новости. – Он вытащил руки из клетки. – Угадали, кто я?

– Уж точно не ночной сторож.

Он протянул мне ладонь, влажную от собачьей слюны. Черные глаза блеснули – ему интересно было, пожму я руку или нет. Я шагнула ему навстречу и сжала его ладонь. Он схватил мои пальцы грубо, стиснул до хруста, глаза его изучали мое лицо, словно он надеялся уловить выражение боли или страха. Я сжала его руку в ответ.

– Идемте наверх, – сказал он. – Здесь вам делать нечего. Охрана скоро выпустит собак, а этим старушкам все равно, леди вы или воровка.

– А есть разница?

Мужчина в смокинге позволил себе улыбку. Он улыбался и улыбался, и я обнаружила, что понемногу отодвигаюсь назад, опасаясь, как бы он не принял нашу болтовню за приглашение к поцелую или чему-то большему. Он снова заговорил – совсем тихо, как будто не хотел, чтобы нас услышали собаки.

– Ты когда-нибудь имела дело с гринго?

– Нет.

– Я знаю кое-кого наверху, кому может понравиться, как поет ваша девица. Что, если я посоветую им заглянуть в казино, где вы выступаете, пусть взглянут на нее?

– Мы были бы очень благодарны, – сказала я. – Не весь же век ей петь по казино.

– Нельзя оставаться на одном месте слишком долго. Тебя или сожрут, или ты начнешь голодать.

И мужчина в смокинге подставил мне локоть, словно предлагая сопроводить из укромного уголка в центр бальной залы.

Мы со Львом оказались родственными душами. Я вовсе не поставляла ему информацию, как утверждают некоторые, хотя его газетам доставались самые свежие новости о Софии Салвадор. В то время артисты и политики находились в одной лодке: не хочешь сотрудничать с газетами Льва – тебя закатают в асфальт. И я не дружила со Львом – он ни с кем не дружил. Но у нас с ним было нечто общее: мы оба локтями прокладывали себе путь туда, где, по мнению других, нам было не место.

Мать его была пьянчужкой; когда ему исполнилось десять лет, он приехал в Рио – один, на осле, и, прежде чем стать магнатом, торговал газетами на улице. Такого рода взлет мог быть в порядке вещей где угодно, только не в Бразилии начала двадцатого века – здесь такое случалось не чаще, чем явление кометы, которая прожигает небо раз в сто лет. Если ты увяз в навозе где-то у основания социальной лестницы, тебя будет удерживать там тяжесть тех, кто станет взбираться тебе на голову, пытаясь подняться выше за твой счет. Восхождение по этой лестнице требует не только изобретательности, нужно расчищать путь силой. Толкаться и раздавать удары, а может, и придушить кого-то, кто мешает тебе подняться выше. Пусть те, кто называл Льва – и отчасти меня – бессердечными стяжателями, ответят: как мы должны были поступить? Сидеть молча в навозе и терпеть, как другие до нас? Терпеть, пока не оказались бы погребенными заживо?

В ту первую ночь возле псарни Лев и правда проникся симпатией ко мне, но при этом он вполне сознавал все выгоды делового союза с восходящей звездой самбы: статейкой о ней можно оживить газету во время новостного затишья, ее успехами можно помахать перед носом приятелей-гринго из Комиссии по межамериканским делам. Во время нашей первой встречи я не поняла мотивов Льва, но несколько недель спустя он выполнил свое обещание и прислал в «Урку» кое-кого из чиновников КМД, проводивших в жизнь политику добрососедства. А

эти парни шепнули словечко Чаку Линдси, североамериканскому охотнику за талантами. Линдси пригласил нас отужинать на борту пассажирского лайнера «Нормандия».

Водное такси подскакивало на волнах, направляясь к громадине круизного корабля. Я широко улыбалась сеньору Пиментелу, пытаюсь сдержать ликование. Это я устроила нам встречу с голливудским импресарио! Еще ни один самба-бэнд не снимался в кино. Ну и у кого из нас после этого узкие горизонты?

«Лунные» мальчики во время этого нашего волнующего рейса смеялись и шутили. Сеньор Пиментел дулся. Граса сидела рядом с Винисиусом, закрыв глаза.

– Этот гринго правда думает, что мы сможем ужинать после такой качки? – пробормотала она.

Сеньор Пиментел приобнял дочь за плечи:

– Разве цивилизованные люди ужинают в такое время? Зазвать тебя к себе после трех выступлений за вечер – сущее преступление. Тебе надо отдыхать, а не раздавать автографы туристам.

– Он не турист, – заметила я.

– Он хуже – он киношник, – ответил сеньор Пиментел, перекрикивая стук мотора. – О чем он ее попросит? Петь для пьяных в «Одеоне»?

– А чем вам кино не угодило? – спросил Винисиус.

Граса открыла глаза.

– Масштаб не тот. – Сеньор Пиментел едко улыбнулся. – Я думал, вы хотите подняться выше «Урки», а не пасть еще ниже.

– Черт, да я тогда ниже нижнего! – воскликнул Худышка. – Я обожаю кино. Вы только представьте себя на экране. В тебе двадцать футов роста, и ты играешь для целого мира!

Банан засмеялся:

– И все дамы Бразилии увидят, какой у тебя огромный инструмент!

– Большинство и так уже видели, – подмигнул Худышка.

Сеньор Пиментел с негодованием покачал головой.

Между богатством и роскошью существует разница, и я поняла ее именно на «Нормандии». Личная столовая Линдси поражала мрамором, красным деревом, сверкающими зеркалами, множившими все: размеры, свет, людей. Казалось, что здесь не две, а десяток люстр,

а на ужин собрались пятьдесят человек, а не одиннадцать – Чак Линдси, его переводчик, я, Граса, Винисиус, ребята из «Голубой Луны» и сеньор Пиментел.

Мистер Линдси, седовласый, учтивый, походил на элегантно и безукоризненно одетого киношного отца семейства. Он был в смокинге, как и «лунные» ребята.

– Не разберу, кто из вас официанты, а кто – музыканты, – улыбаясь, сказал он.

Отрывисто-гнузавые звуки английской речи перенесли меня в спальню сеньоры Пиментел, и я услышала ее мягкий голос, обращающийся ко мне и Грасе по-английски; сеньора надеялась, что наши юные мозги впитают английские слова. Мои и вправду впитали: когда Линдси заговорил, я кое-что поняла. Переводчик, студент из Рио, поколебался, прежде чем передать нам по-португальски неудачную шутку Чака.

Мы с ребятами принужденно засмеялись. Но Граса стояла рядом с сеньором Пиментелом с каменным лицом. На юбке ее красного платья был спереди длинный разрез, открывавший мускулистые загорелые ноги, и я удивлялась, как на этих резко очерченных мышцах не рвутся чулки. Чак Линдси попытался втянуть ее в разговор, но Граса вздохнула и скрестила руки на груди, как если бы сидела на скучном уроке.

– Мистер Чак говорит, что у вас исключительное сценическое обаяние, – перевел юноша. – Он говорит, ему нравится, как вы жестикулируете, когда поете. Он говорит – это очаровательно.

Граса едва заметно кивнула и посмотрела на палубу, словно прикидывая, как сбежать.

– Спасибо, – ответила я. – Она поет для людей со всего мира. Даже для дипломатов и президентов. Нет публики, которой она не смогла бы угодить.

– Не думаю, что ей хочется угождать *любой* публике, – вставил сеньор Пиментел. – Она артистка, а не девица легкого поведения.

Граса залилась краской. Студент снова поколебался, прежде чем перевести, – на этот раз дольше. Линдси вскинул брови и заговорил, будто ничего и не слышал. Наша беседа продолжалась, но больше походила не на разговор, а на утомительную игру в испорченный телефон пополам с шарадами. К тому времени, как внесли блюда, мы

все успели устать от беседы. Граса принялась капризно ковыряться в тарелке. Линдси не отрываясь смотрел на нее – точно так же смотрела Нена на девушек, которых собиралась нанять: оценивала, высчитывала, сильные ли у них руки, мягкие ли ладони, хорошо ли они будут управляться на кухне. Дважды я ловила оценивающий взгляд мистера Чака на себе. Мы еще не успели окончить ужин, а Граса уже отодвинула тарелку, достала из сумочки сигарету и зажигалку и закурила. Мистер Линдси кашлянул и улыбнулся ей, точно заигрывая с ребенком.

Направлять беседу требовалось осторожно. Граса, когда на нее находило, становилась дикаркой, свободной и от логики, и от манер. Если бы я сказала хоть слово о ее поведении или попросила бы затушить сигарету, она бы повела себя еще более вызывающе. Попробуйся я вывести Грасу из столовой, она наверняка принялась бы орать, не заботясь о достоинстве – ни о своем, ни о моем. Если требовалось чего-то добиться от нее, надо было сделать так, чтобы она сама того пожелала. Угадай, чего хочет Граса, и сделай это первой. Быть второй – хуже для нее нет.

Я отложила салфетку и встала.

– Прошу прощения, – сказала я переводчику. – Что-то голова кружится. Выйду на палубу, подышу свежим воздухом. Пожалуйста, не провожайте меня.

Вся просторная верхняя палуба была отдана Линдси в полное его распоряжение. Пассажиры внизу переговаривались на языках, которых я не понимала. Вдали переливался огнями Рио. Городские пляжи сияли светом, но холмы сливались с ночным небом. Христос Искупитель, такой крошечный на холме Корковаду, мерцал расплывчатым пятном.

Я услышала стук каблуков по палубе и закрыла глаза, наслаждаясь победой. Ко мне в темноте прижалась Граса.

– Дай сигарету, – потребовала она.

– У тебя от курения голос изменится, – ответила я.

Граса выхватила у меня сигарету, глубоко затянулась и медленно выпустила дым.

– Может, это мне и нужно. Стать другой.

– Ты как будто на порку напрашиваешься.

– А ты разве не хотела бы меня выпороть? – Граса рассмеялась.

Я отняла у нее сигарету.

– Тот гринго может устроить тебя в кино. Ты можешь стать второй Марлен Дитрих. А ты, вместо того чтобы очаровывать его, ведешь себя как испорченная девчонка. Собственными руками портишь все и для себя, и для ребят.

– А может, я устала очаровывать. Может, я не хочу попасть в кино.

– С каких это пор? С тех пор, как твой *Parai* сказал, что киноактеры – это низы общества? Кем ты теперь хочешь стать? Оперной певицей?

Граса смотрела на залив. Волны катились к берегу, гребешки белели в лунном свете, словно прихваченные льдом.

– Иногда я думаю, что «Дворнягу» стоило бы спеть тебе, – прошептала она. – Не мне, а тебе надо было стать Софией Салвадор. У тебя было желание петь.

– Но не было таланта.

– Невозможно иметь все. Когда этот Чак говорит на своем английском, я будто слышу маму. Будто ее призрак здесь, в столовой. Папа сказал, что мама перевернулась бы в гробу, увидь она меня в грошовой киношке, в роли девки, которая промышляет в баре. Ее дочь должна была стать женщиной из высшего общества, а не певичкой.

– Сеньора любила музыку. Это она купила нам пластинки. Возила нас на концерт фаду. Она направила нас на этот путь. И она не злилась бы, что мы пошли по нему. Она бы гордилась.

Граса обняла меня за талию и опустила голову мне на плечо.

– В детстве у меня была такая фантазия. Не про меня-артистку. Даже не про меня-певицу. Мне хотелось волшебства, Дор. Мне хотелось, чтобы я вышла к людям и стала для них всем, хоть на несколько минут. А теперь я думаю: несколько минут – это мало. А вдруг я пою не для тех людей? Вдруг они скомкают меня и швырнут на затоптанный пол кинотеатра? А вдруг самба – просто недолгая мода, и люди потом будут смеяться надо мной за то, что я пела эти песни, а не что-нибудь приличное? А вдруг обо мне вообще никто не вспомнит?

Я крепко обняла ее. Впервые я попала в залив Гуанабара жалкой костлявой Ослицей. А вечером в особняке Льва сеньор Пиментел снова вызвал Ослицу из небытия: я не была достаточно хороша, чтобы стать певицей, я не была красива – в общепринятом смысле, я не была женщиной – такой, как от меня ожидали, я не была помощницей ни Грасе, ни кому-нибудь еще. Убежденность во всем этом всегда жила во

мне, да и сейчас живет, но я научилась загонять ее поглубже, прикиривать на нее, если она мешалась под ногами у моего нового «я». Но после появления сеньора Пиментела убежденность эта подняла голову. И в ту ночь на корабле я поняла: то же самое он сделал и с Грасой. Поначалу он перевозносил ее, а потом мало-помалу растравил ее старые раны, воскресил ее угасшие было сомнения, заставил Грасу критично взглянуть на то, какой она стала. А ведь мы такие, какими себя представляем. Кем была Граса без своей дерзости? Кем была я без Грасы?

– Помнишь ту исполнительницу фаду в Ресифи? – спросила я.

Граса кивнула, ее волосы щекотнули мой подбородок:

– Наверное, сидит сейчас в какой-нибудь помойной яме, поет за еду.

– Какая разница, где она! – выкрикнула я. – Для меня она – всегда на сцене. Всегда волшебница. Именно такой я буду ее помнить.

– Я тоже, – прошептала Граса.

И вдруг зашептала слова песни, которую мы никогда не забывали:

Там, где кончается улица,
Плещется океан,
Плещется.
Над ним висит обломок луны,
Судьбы моей серебро.

Я вздохнула, от моего горячего дыхания колыхнулись волосы Грасы. Я тоже начала шептать слова той песни – я помнила их не хуже Грасы. И вскоре мы уже пели, вдвоем. Обнявшись, мы качались из стороны в сторону, как двое пьяных на исходе долгой ночи. Голос Грасы перекрывал мой, он был выше, красивее. Но мелодия бедна и одинока без поддержки, которая делает ее насыщеннее, подчеркнет ее – как фон на портрете или декорации на съемочной площадке. Мы не пытались подстроиться друг под друга, каждая пела по-своему, но мы пели вместе.

Где ты, судьба моя?
Где ты, мой дом?

Отыщу ли я место в мире?
Иль одиночество – мне закон?

Когда мы допели, наступила тишина. Болтовня на палубе под нами стихла, не звенели больше бокалы, замер разговор в столовой позади нас. Мы слышали только, как волны плещут о борт. Потом на нижней палубе захлопали. Мы перегнулись через перила. Мужчины и женщины улыбались нам, аплодировали. Какой-то мужчина засвистел, сунув в рот два пальца. Граса рассмеялась и помахала. Захлопали и у нас за спиной. Аплодировал, улыбаясь, Чак Линдси, хлопали «лунные» мальчики.

– Мистер Чак просит вас войти, – сказал переводчик. – В салоне есть пианино.

Я крепко обнимала Грасу за талию. В ту минуту, на палубе, мы снова стали девочками, которые поют перед граммофоном. Я знала, что этот момент продлится ровно столько, сколько продлится песня, но все же была разочарована, когда Граса засмеялась, кивнула и высвободилась. Она направилась к Линдси, Винисиусу и ребятам, и тут появился сеньор Пиментел. Граса резко остановилась. Ее отец присоединился к мужчинам. Но на лице его были не удивление и не восхищение. На лице его застыла маска гнева. Испуганная, Граса отступила назад.

Этот шажок заставил меня увидеть то, чего я не видела до сих пор: Граса не намеревалась выбирать между мной и сеньором Пиментелом. О выборе и речи не шло. Не имея родителей сама, я была настолько простодушна, что собиралась соперничать с человеком, который качал Грасу на коленях и который теперь дарил и забирал любовь когда хотел. Даже закон был на его стороне: пока сеньор Пиментел жив, он владеет Грасой, как фермер владеет коровой, и может торговать ее талантами, будто мясом. Он не заявлял свои права напрямую, зная, что Граса взбунтуется против такой демонстрации власти. Нет, сеньор намеревался сделать кое-что похуже: он хотел заставить Грасу бояться. Хотел воспользоваться своим влиянием, своим неодобрением и заставить ее сомневаться в себе, в своем таланте, в том, чего она достигла. Он собирался отделить ее от

«Голубой Луны» и от меня, стать единственным человеком, способным указать ей путь в жизни.

Судите меня, если хотите. Скажите, что в своем стремлении контролировать Грасу я была ничем не лучше сеньора Пиментела. Может, так оно и есть. Долгие одинокие годы я стирала пыль со старых воспоминаний, перепроверяла их, поворачивала мотивы так и сяк, отыскивая тот самый, единственно верный. То, что я сделала, я сделала из страха. А еще – из любви.

И в тот вечер, когда Граса отступила на шаг, я положила руку ей на плечо и подтолкнула вперед:

– Иди. И пусть им всем жарко станет.

Через окно я смотрела, как Граса поет. Как злится сеньор Пиментел. Видела, как замер на краю стула Чак Линдси, внимательно слушая Грасу и явно подсчитывая ее стоимость. Я молчала, пока мы, подсакивая на волнах, возвращались на берег. Винисиус спросил, в чем дело, но я не ответила. В ту ночь я плохо спала, мне снова и снова снилось, как сеньор Пиментел в салоне Риашу-Доси притворяется, будто сейчас ударит меня, а потом смеется мне в лицо. Проснувшись на рассвете, я тихо, чтобы не разбудить Грасу, оделась и отправилась к Мадам Люцифер.

На полке над его письменным столом красовались десять призов за карнавальные костюмы: сколько бы раз Мадам ни участвовал в конкурсах, он неизменно брал первое место. Я оглядела его трофеи – крылатые бронзовые женщины вздымали меч к небесам – и вывалила и про сеньора Пиментела, и про все, что он мне сказал в доме Льва.

Когда я закончила, Мадам предложил мне воды. Дождался, когда я допью, и только потом заговорил.

– Успех – как мед. Он манит к себе пчел, но привлекает и мух с крысами. Насколько я вижу, милая Дориш, у нас возникли затруднения. И нам надо решить, будем ли мы справляться с ними как в Лапе или как в Санта-Терезе.

– А в чем разница? – спросила я.

– Вы выступали в особняке Льва. Ты же видела, где он живет. В этом районе все люди исключительно вежливы. Они выжидают. Сидят по своим особнякам и пишут письма с угрозами, потом пьют чай и ждут, когда проблемы решатся. Твоя Граса – из таких людей. Ее отец

делает все, чтобы напугать тебя, и ждет, когда ты уберешься. Но мы с тобой, милая Дориш, не этой породы, верно? Мы с тобой не можем позволить себе ждать.

– Я не могу выгнать его. Он пойдет в полицию или к судье, скажет, что Граса находится на его попечении. А потом вытолкает нас всех в шею.

Мадам кивнул.

– И чего ты хочешь?

– Я хочу, чтобы он оставил нас в покое.

Сидя по разные стороны стола, мы с Мадам Люцифер глядели друг на друга. Его молчание меня злило и слегка нервировало. Но я не отводила взгляда и не заговаривала первой. Мы изучали друг друга. Точнее сказать, Мадам Люцифер изучал меня. Слова были бесполезны, да и опасны.

– Я никогда не поворачиваюсь спиной к друзьям, – сказал он, выждав несколько минут. – Но тебе придется попросить меня о помощи.

Язык у меня во рту вдруг сделался шершавым и сухим, словно покрылся коркой песка.

– Помоги мне.

И как только я это выговорила, во мне поднялся жар, разбух, подобрался к щекам, мочкам ушей, макушке. Я снова оказалась в Риашу-Доси, пряталась в темноте, смотрела, как мужчины подносят факелы к тростнику. Только так можно получить хороший урожай, только так можно истребить змей и скорпионов, затаившихся в тростнике. Тростник необходимо поджечь, это делает его сильнее. Конечно, когда поджигает, никто ничего не гарантирует. Ты можешь сделать просеки, насыпать песка, проложить дороги шириной в две тележки. Говоришь себе, что пламя можно держать под контролем, постоянно проверять, блокировать. Но огонь делает рывок. Двигается. Танцует. Как любая природная стихия, он не имеет моральных принципов – только потребности.

Мадам кивнул:

– Давайте выпьем, все втроем. И проследи, чтобы ее папаша собрал чемоданы.

На следующий вечер, пока Граса и мальчики выступали, я пригласила сеньора Пиментела выпить. Он принял мое приглашение, не выказав ни замешательства, ни любопытства, столь уверен он был в собственных силах. Думаю, он ожидал, что я стану сражаться за свое право быть при Грасе.

Перед встречей я попросила у Винисиуса ключи от его комнаты, которую он против воли продолжал делить с сеньором Пиментелом. Поколебавшись, Винисиус дал мне ключ.

– Что-то забыла?

– Блокнот свой, – ответила я, не глядя на него. – Не могу найти. Может, у тебя оставила.

Матроне в доме Винисиуса я сказала, что он забыл свой инструмент и отправил меня за ним. Почтенная дама и раньше видела, как я прихожу с Винисиусом, и потому впустила меня без вопросов. Оказавшись наверху, я, соблюдая предосторожности, вступила в пространство, которое Винисиус отгородил для сеньора Пиментела. Под раскладушкой я нашла маленький потертый чемодан, с которым сеньор Пиментел приехал из Ресифи. Трясущимися руками я открыла платяной шкаф, который у сеньора Пиментела был на двоих с Винисиусом. Покрылась холодным потом, когда на углу засигналил автомобиль, и еще раз – когда где-то в недрах здания загудело в трубах. Я вдруг опять стала Ослицей, которая роется в вещах сеньора. Мне пришлось прерваться, закрыть глаза и велеть себе не сходить с ума.

Я набила чемодан: несколько белых сорочек, манжеты, галстуки и несколько новых костюмов, купленных Грасой. Прибавила ботинки, жестянку помады для волос и бритвенный прибор. Нашла конверт, набитый деньгами, и сунула его туда же. Потом защелкнула чемодан и снесла его вниз, к такси.

Бар выбрал Мадам Люцифер, хотя сеньор Пиментел этого не знал. Дешевая дыра в неблизкой Ипанеме, возле лагуны. Было уже очень поздно, в баре почти никого, за исключением небритого бармена и пары дюжих парней, сильно похожих на наших поклонников из тех времен, когда мы были нимфетками у Коротышки Тони. Я заказала пиво и села в углу. Липкая столешница. Чемодан я пристроила под столиком.

Вскоре в бар неторопливо вошел сеньор Пиментел. Громилы коротко глянули на него и отвернулись. На сеньоре был сизого цвета

костюм из тонкого льна, кубик алмазного сахара искрился в шелковом галстуке. Сеньор Пиментел улыбнулся и сел напротив меня, потом махнул бармену, который не обратил на него никакого внимания.

– Ты часто здесь бываешь? – спросил он. Его улыбка угасла.

– Я здесь в первый раз.

Сеньор Пиментел с вожделением поглядывал на мое пиво. Я обхватила теплый стакан ладонями.

– Ну, вот я, – сказал сеньор. – Чего ты хотела?

– Поговорить.

Улыбка сеньора Пиментела вернулась: он заметил чемодан у моей ноги.

– Сбегаешь, Ослица?

Появился Мадам Люцифер. Он коснулся пальцами шляпы и грациозно подплыл к нам.

– Здравствуй, Дориш, – начал Люцифер, – как я рад, что мы можем выпить все вместе, прежде чем отправимся в путь.

Сеньор Пиментел изучал Мадам. Он, разумеется, заметил, что, за исключением цвета, их костюмы абсолютно одинаковы – пошиты у одного портного.

– Это еще кто? – спросил сеньор Пиментел.

Улыбка Мадам не угасла, но глаза сузились.

– Ты не заказала нашему другу выпить, милая Дориш?

Мадам поднял два пальца. Бармен тут же налил два стаканчика рома и принес нам. Сеньор Пиментел настороженно воззрился на свой стакан.

– Выпейте, – предложил Мадам. – Я подожду.

– Чего подождете? – спросил сеньор Пиментел.

– Когда вы допьете.

Сеньор Пиментел взглянул на меня, потом на Мадам Люцифер и снова на меня:

– Ослица, что происходит?

– Ослица? – Мадам рассмеялся. – Это еще кто? Ослиц я здесь не вижу. А вот осла – да.

Сеньор Пиментел поднялся. Мадам загородил ему дорогу.

– Допивайте, – велел он. – Ром пойдет вам на пользу.

– Что еще за польза? – выкрикнул сеньор Пиментел. – С дороги!

Мадам скучливо вздохнул. Здоровяки поднялись со стульев и встали по обе стороны от него. Сеньор Пиментел притих.

Однажды мы с Винисиусом пошли в Севилье посмотреть бой быков, и когда я увидела, как стремительно и грациозно матадор втыкает быку в загривок длинные зазубренные пики, то вспомнила тот бар и тех громил. Вспомнила, как один из них выхватил из-за спины бутылку рома и обрушил ее на голову сеньора Пиментела.

Я закрыла глаза рукой. Осколки рассыпались по кафельному полу. Лиф моего платья намок от рома. Мадам Люцифер буркнул: «Хотя бы чисто сработали», – и промокнул лацканы своего пиджака платком. Бармен куда-то делся. Громилы с натугой подняли сеньора Пиментела. Его глаза сначала бессмысленно блуждали, потом закрылись. В волосах краснела глубокая рана. Голова свесилась на грудь. Леняной костюм усеяли красные капли.

Нога у меня в туфле стала скользкой; пиво, выплеснувшееся через край, дробно капало мне на ноги и на забытый под столом чемодан.

Громилы держали сеньора Пиментела с двух сторон, он словно обнимал их за шеи, – приятели после дружеской попойки провожают друга домой – богатого друга, ведь одет он в роскошный костюм. Я выхватила из-под стола чемодан:

– Подождите!

Я попыталась загородить дверь. Мадам Люцифер зло глянул на меня. Не успела я и слова сказать, как он выдернул сахарный кубик из галстука сеньора.

– Нечего ждать.

И громилы вытащили сеньора Пиментела в ночь.

Я забралась в кровать. Голова болела, как если бы я всю ночь пила, хотя на самом деле я бегала по Ипанеме, рассовывая содержимое чемодана по мусорным бакам, – не выбросила только конверт с деньгами, сунула под матрас. Я представляла, как Мадам и его парни сваливают сеньора Пиментела на палубу какого-нибудь грузового судна до Ресифи. Он очнется, не соображая, где находится, с разбитой головой, пустым кошельком и костюмом в кровавый горошек и, может, вспомнит, что произошло накануне ночью, а может, нет. Или решит, что его ограбили по дороге в бар. Но в конце концов он поймет: то, что он очутился на корабле, который направляется на север, – не

случайность. Он станет искать, чем подкупить капитана, чтобы тот повернул корабль назад. Решит расплатиться своей бесценной алмазной булавкой и не найдет ее. Люцифер забрал булавку именно для того, чтобы сеньор Пиментел не смог вернуться в Рио. Я повторяла и повторяла это себе, зная, что все это неправда.

Вечером сеньор Пиментел не вернулся в комнату Винисиуса. Граса думала, что отец основательно загулял, и думала так, пока Винисиус не постучался в нашу дверь с известием, что сеньор Пиментел забрал всю свою одежду. В его комнате Граса осмотрела пустые вешалки, открытые ящики, обыскала их, проверяя, что исчезло. Потом села на незастеленную кровать сеньора Пиментела и закрыла лицо руками. Она не плакала, просто сидела неподвижно. Мы с Винисиусом сели справа и слева от нее. Через несколько минут Граса заговорила, так и не убрав от лица ладоней.

– Он не взял свой любимый костюм. А деньги забрал.

– Ты давала ему деньги? – спросила я.

– Неважно. – Граса наконец отняла руки от глаз.

– Сколько там было? – спросил Винисиус. – Может, он хочет выкупить ферму?

– Это была не ферма! – огрызнулась Граса. – Это была, мать ее, плантация в десять раз больше Лапы. Он не смог бы ее выкупить, даже если бы захотел. Да, он старый напыщенный пьяница, но мне нравилось, что он рядом. Я так радовалась, что кто-то на моей стороне.

– Мы на твоей стороне, – сказала я.

Граса покачала головой:

– Не всегда. Вы в основном друг за друга. А папа всегда был за меня.

– Потому что ты платила ему, – сказала я.

Граса зло взглянула на меня:

– Ну и что? Все равно это было умереть как хорошо.

Потом она тяжело поднялась с кровати и заперлась в ванной.

– Нашла свою книжку? – шепотом спросил Винисиус.

Я подумала о чемодане сеньора Пиментела, засунутом в мусорный бак. Подумала о Мадам и его людях, как они тащат сеньора через дверь. Я заставила себя взглянуть Винисиусу в глаза и сказала:

– Нет. Ее здесь не было.

Через пять дней в «Урку» явились лейтенант и еще один полицейский. Из лагуны выловили утопленника. Труп страшно раздуло, но на нем был костюм, сшитый лучшим портным города. Решив, что покойный – какая-то важная шишка, полицейские, обычно равнодушные недотепы, допросили портного, тот заглянул в свои записи и установил, что номер на металлическом ярлыке костюма числится за его клиенткой Софией Салвадор.

– Портной сказал, что сшил костюм какому-то вашему родственнику, – сказал лейтенант, немолодой человек с густыми усами. – Вам надо опознать тело.

Граса тяжело прошла к себе в уборную и закрыла дверь. Притихшие ребята выстроились вдоль стены у двери, они не любили полицию, не доверяли ей. Иметь дело с полицейскими пришлось мне. Я дернула Винисиуса за рукав:

– Проверь, как она. Нельзя оставлять ее одну.

Винисиус послушно скрылся за дверью.

– Вы видите – сеньорита Салвадор расстроена, – начала я. Желудок у меня свело, и я с трудом стояла прямо. – Что случилось с тем человеком из лагуны?

Лейтенант пожал плечами:

– Пьяные вечно падают в воду. Поверите ли, мы чуть не каждый день их вытаскиваем. А этот был одет лучше многих.

– Даже богатые не знают меры, – вздохнула я.

– Особенно богатые. – На губах лейтенанта зазмеилась улыбка.

– Мне бы не хотелось, чтобы газеты начали докучать сеньорите Салвадор. Если вы сможете замять дело, она будет вам весьма благодарна, и казино тоже. Когда речь идет о безопасности, казино охотно платит за советы.

– Газеты – просто бумажки со сплетнями, – сказал полицейский. – Я на них и не смотрю.

Я вручила полицейским контрамарки в первый ряд на следующие пять концертов Софии Салвадор. Мне вспомнился шофер, который, когда мы с Грасой были посланницами Люцифера, украл буханку с кокаином, а потом пропал без следа; вспомнился Коротышка Тони, его обезображенное лицо. Я представила сахарную булавку на полке у Мадам, среди прочих его трофеев. Едва за полицейскими закрылась дверь, как я кинулась в нашу личную ванную и меня вырвало.

После морга мы с Грасой и Винисиусом отправились к лучшему гробовщику Лапы. На деньги, которые я ей дала, – деньги из конверта сеньора Пиментела – Граса купила гроб, обитый изнутри бархатом, и место в пижонском мавзолее на кладбище Сан-Жуан-Батишта.

– Откуда у тебя столько? – спросила Граса, когда мы покидали гробовщика.

– Скопила, – ответила я.

– Ага. На черный день, – сказала Граса, глядя в окно такси.

Несмотря на роскошную поминальную службу, сами похороны были простыми, присутствовали только ребята из группы и несколько друзей. Пришли Анаис, портниха Грасы и Мадам Люцифер.

Служба началась в одиннадцать утра – уже много месяцев Граса и ребята не просыпались так рано. Полусонные, торжественные, они стояли под полуденным солнцем и смотрели, как гроб скользит в могилу, словно сеньора Пиментела отправляли на вечное хранение в некий ящик. Граса рыдала совсем как одна из ее будущих киногероинь: плечи вздрагивали, но косметика под черной вуалью оставалась безупречной. Винисиус поддерживал ее под локоть с одной стороны, я – с другой.

Когда служба кончилась, Винисиус увез Грасу в наш пансион, отдохнуть перед выступлением в «Урке». В тот вечер Чак Линдси снова собирался прийти в казино послушать нас, а Граса твердила, что ей лучше на сцене, чем в нашей квартирке. Я задержалась, чтобы оставить на чай кладбищенским служителям и попрощаться с гостями.

– Какая ты худая. – Анаис погладила меня по щеке рукой в перчатке. Она выглядела очень элегантно: прямое черное платье, шляпка с вуалью. Если бы она попросила меня бежать с ней в тот момент, я бы согласилась без колебаний. Но она лишь подняла вуаль и поцеловала меня в губы, а потом попрощалась.

Позже Анаис с модисткой болтали у ворот кладбища, поджидая Мадам Люцифер. Он стоял передо мной – черный костюм и лавандовый галстук. Широкие поля шляпы отбрасывали на лицо тень.

– Не понимаю, что случилось, – сказала я.

Мадам коротко глянул на двух рабочих, которые в нескольких метрах от нас цементировали края могилы сеньора.

– Похороны закончены, милая Дориш. Думаю, тебе пора уходить с жары.

– Я хотела, чтобы он уехал, – прошептала я. – И все!

В глазах защипало. Я вытерла их ладонью, на перчатке остались мокрые следы. Мадам приобнял меня. От него пахло сандаловым деревом и крахмалом.

– Не теряй голову, дружок, – мягко сказал он. – В такие дни легко сбиться с пути. Мы партнеры. Мы оба заботимся о Гресе. И ты, и я заинтересованы в ее успехе.

– Мне ее успех был не нужен, – сказала я.

Мадам вздохнул.

– Окажи мне услугу, не изображай, что ты удивлена. Когда мы с тобой останавливались на полпути? Нам с тобой, в отличие от других, приходится принимать тяжелые решения. Мы делаем дело, иногда – не самым приятным способом. Но главное, милая Дориш, результат.

Мадам цепко держал меня за плечо. На следующий день я обнаружила четыре идеально круглых синяка.

Но тогда я села в его «линкольн», на заднем сиденье которого уже сидела Анаис; машина зигзагами спускалась с холмов в Лапу. Меня высадили у пансиона. Я вошла, но подниматься в комнату не стала. Греса наверняка спит или, что даже хуже, не спит и нуждается в утешении. Быть с ней в дни, следовавшие за смертью сеньора Пиментела, было трудно – в каждом ее взгляде я видела подозрение, в каждом ее вопросе крылась тяжесть, какую не выдержать. Поэтому я поручила Винисиусу и успокаивать ее, когда появились полицейские, и поддерживать ее в морге, и отвезти домой после похорон. Но в тот день я сама нуждалась в Винисиусе. Убедившись, что блокнот в сумочке, я вышла из пансиона и быстро зашагала к его дому.

Дверь в комнату была заперта. Внутри возились. Его голос. Голоса. Дверь открылась.

Винисиус стоял на пороге, все еще в белой сорочке и в брюках, в которых был на похоронах. Рубашка нараспашку. Галстука нет. Винисиус не любил галстуки, всегда старался поскорее избавиться от них. Длинные волосы растрепаны, обычно он зализывал их назад, но сейчас они торчали во все стороны. Черная прядь упала на глаза. Губы слишком красные и влажные.

– Дор! – выдохнул он.

– Я подумала – может, попробуем что-то написать?

Винисиус кивнул, но не сдвинулся с места, чтобы впустить меня. За его плечом я увидела Грасу. Черное траурное платье как-то странно провисло на груди. Глаза все еще припухшие. Босые ноги свешиваются с кровати, не доставая до пола. Граса пошевелила пальцами ног.

– Она не хотела оставаться одна, – сказал Винисиус.

– Я пойду. – Голос гулко отдавался в голове, уши словно набили ватой.

Винисиус поймал меня за руку:

– Увидимся вечером, на роде.

– Конечно, – пробормотала я.

– Я выдохлась, – промурлыкала Граса. – Застегни мне, *amor*. Я пойду с ней.

Винисиус глянул на меня и повернулся к Грасе. Я уставилась в пол, на треснувшие плитки. Услышала, как вжикнула молния. Шепот. Влажные звуки поцелуев. И вот Граса уже рядом, засовывает черные чулки в сумочку, духи тошнотворно сладкие. Я испытала страстное желание бежать прочь, вниз по лестнице, через дорогу, по переулкам, не останавливаясь. Граса подцепила меня под руку – и через минуту мы на улице, жмуримся на предвечернее солнце.

– Не сходи с ума, Дор. Я знаю, что для тебя это неожиданность. Я сначала тоже удивилась. Ну то есть чуть-чуть – я всегда подозревала, что нравлюсь ему, но он, упрямец, не хочет этого признавать. После того как папа... после той ночи, когда приходили полицейские... Винисиус был здесь, обнимал меня. Между нами как будто все время была дверь, и вот кто-то открыл ее, и он вошел.

Самое главное – результат. Так сказал мне Мадам, так я сама сказала Грасе через несколько лет, во время нашей последней, страшной ссоры. Всегда легче думать, что твои намерения важны не меньше, чем то, что получится на выходе, но это неправда. Главное – результат. То, с чем тебе предстоит жить дальше.

Самба, ты была моей когда-то

Самба, ты была моей когда-то.
О, как хорошо нам вместе пелось!
Я держала гриф твоей гитары,
Колокольчики агого нам звенели.

Кожу твоих тамборимов
Мои пальцы ласкали.
А стоны куики
Наш грех прогоняли.

Что ж, я сделала ошибку,
Думая, что тебя произвела я на свет.
Ах, самба! Самба!
Ты теперь другого секрет.

От тебя я уехала так далеко,
Туда, где снега, где ветра свист.
Флиртвала с танго и фокстротом,
За мной увивались румба и свинг.

И какая разница, где я жила,
Куда меня заводила судьба.
Сладость твоих мелодий
Была у меня на губах всегда.

Но вот я подумала о тебе,
Оглянулась – а тебя и следа больше нет.
Ах, самба! Самба!
Ты теперь другого секрет.

Никого не осталось, кто знал меня в дни моей юности, некому воскресить ту высокую темноволосую девушку из Лапы, которой я когда-то была. Я не воображаю, что еще молода, но меня все же пугает женщина, которая смотрит на меня из зеркала: спина колесом, как у креветки, кожа рыхлая, точно овсяная каша, волосы такие жидкие, что просвечивает кожа на голове. Женщина щурится. Она даже не выглядит как «она» – это просто груда костей в дурно пошитом кожаном мешке.

Все мы – все до одного – пойманы в капкан наших тел, не способных нас удержать. Нас определяют эти тела и их части. Человеческие голоса могут быть высокими или низкими лишь в таком вот диапазоне. Пальцы, лежащие на струны, могут растопыриться лишь на такую ширину. Губы и язык могут вибрировать о металлические мундштуки лишь с определенной скоростью. Даже у самого совершенного инструмента есть ограничения: струну можно натянуть лишь настолько туго, деревянную дощечку изогнуть лишь настолько тонко, лист металла свернуть лишь вот таким образом. Но музыка, что звучит у нас в голове, может все. Она способна взлететь к любой ноте, течь с какой угодно скоростью, звучать настолько громко или тихо, насколько позволит воображение. В самых сокровенных, самых чистых уголках нашего воображения нет ни мужского, ни женского, нет ни плохого, ни хорошего, там нет злодея или героя, там нет «ты» или «я». Есть только чувство и опьянение чувством.

Когда я вспоминаю наши песни, на меня снисходит именно эта чистота. В своих воспоминаниях я играю самбу, она звучит как настойчивое обращение к кому-то любимому, как безупречно составленное важное сообщение. В музыке, что играет в моей памяти, есть восхитительное совершенство фантазии, но есть и свойственная фантазии пустота. Чтобы прожить песню по-настоящему, надо услышать ее. Поэтому я честно ставлю наши пластинки на вертушку и слушаю. Голос Грасы иногда заглушен тамбором Ноэля, ударные Кухни диссонируют с нежностью мелодической линии, Винисиус так резко заиграл вступление, что отвлек нас от тихих стонов куики. Звучание было безупречным лишь в моем воображении. Но все эти несовершенства возвращают меня в тесные студии и долгие ночи, в ту ускользящую, непознанную магию, которая рождалась, когда мы сидели в кругу – не гордые, ничего не ждущие – и обретали гармонию

и ритм, с которыми можно было войти в утро. Настоящая музыка всегда возвращает меня к девочке, которой я когда-то была. Потому-то она и драгоценна.

С трепетом я достаю «Самба, ты была моей когда-то» из конверта, кладу пластинку на диск проигрывателя, опускаю иглу и внутренне готовлюсь. Такое странное подобие благочестия, словно я в покаянии хлещу себя плетью.

Риашу-Доси больше не существует. Я выяснила, что землей теперь владеет какая-то корпорация, господский дом, завод и часовню снесли, чтобы освободить место для тростника – производить этиловый спирт и ром. Урожай убирают машины. Никто ничего не сжигает. Нет больше ни Пиментелов, ни тех, кто работал на полях или в доме. И нет мне утешения.

Приходит ли он ко мне по ночам, словно привидение из фильма, – оставляя лужицы по всему дому, шикарный костюм сочится водой, глубокая рана на голове, рыба в карманах? Так мне было бы легче.

Все мы несем свою ношу по-разному и так, что порой удивляемся. Выбор, который мы делаем – в жизни ли, в студии, – никогда не бывает сам по себе, хотя может казаться, что это так, когда мы принимаем решение. Ничто не существует само по себе – ни нота, ни мелодия, ни ритм, ни решение, все под конец образует единое целое. Должно образоваться.

Зачем я слушаю эти песни, от которых меня пробирает дрожь, от которых я слабею, которые словно вдавливают меня под воду, и нет возможности вынырнуть, глотнуть воздуха? Затем, что пусть лучше будут они, чем этот голос, что шипит мне, вот и сейчас шипит: *Ослица, тебя разоблачат, ты всего лишь испорченная девчонка, руки твои пусты, ты помеха и дармоедка*. Шепот этот столь тихий, что я очень долго принимала его за свой собственный. И я записывала пластинки. Устраивала выступления. Отслеживала авторские права на каждую песню. Подписывала контракты. Дружила с репортерами светской хроники. Вела переговоры с агентами и руководителями студий. Я гарантировала, что София Салвадор и «Голубая Луна» вовремя явятся на съемочную площадку и придут на все премьеры, даже если мне приходилось тащить их силой, подгоняя пинками и криками. Я расчищала каждую тропку с угрюмой решимостью ветерана сахарной плантации. Я никогда не слышала целого – только части.

Самба, ты была моей когда-то

Граса и Винисиус выказывали все досадные признаки того, что они – парочка в начале отношений. Под разными предлогами касались друг дружки – стряхнуть крошку с уголка рта, похлопать по колену, завязать галстук, поправить шляпу. Каждое идиотское открытие («Ты спишь на боку!», «Ты тоже не любишь кокосовое молоко!») вызывало у них такой восторг, словно они только что постигли тайну Вселенной. Они шли по переулкам Лапы, держась за руки, ничего не видя, будто брели сквозь туман, а во время роды не сводили друг с друга глаз, точно никого больше не существовало. Они создали особый язык – из улыбок, приподнятых бровей, шлепков и закушенных губ, – который мы видели, но расшифровать не могли. На сцене этот язык становился еще многословнее. София Салвадор пела и танцевала, как и раньше, но центр ее внимания сместился. Слушатели это уловили и, подобно нам с парнями, чувствовали себя свидетелями какого-то очень личного разговора. После концерта Граса и Винисиус бросались в гримерную и запирались.

Парни по-разному реагировали на брачные игры Грасы и Винисиуса. Братья – Банан и Буниту – отпускали шуточки на их счет. Худышка, вдохновившись, лихорадочно крутил романы с официантками и девицами из кабаре. Маленький Ноэль, чье сердце оказалось разбито, запил. Кухня вел себя стоически, как пожилой государственный деятель, который понимает, что трудности грядут, но какие именно – молчит.

А я? Я досадовала, что Винисиус пропускает наши встречи или, того хуже, притаскивает с собой Грасу и строит ей глазки, вместо того чтобы работать. После выступлений в «Урке» никто, кроме Винисиуса, не заходил в гримерную Грасы, и я спрашивала себя, кто помогает Софии Салвадор снять грим, намазать кольдкремом лицо и шею, аккуратно промокнуть его горячим полотенцем и втереть в кожу гаммамелис, как делала прежде я. Глядя на закрытую дверь уборной, я спрашивала себя, снимает ли Граса грим сама или у нее для этого есть Винисиус. После роды они, сцепив руки, отправлялись к Винисиусу, и он тайком проводил Грасу к себе. А я, не желая возвращаться в пустую комнату, гуляла ночь напролет. Просыпалась в незнакомой постели или

на полу у кого-нибудь из «лунных» ребят: ночью меня впускали, и я падала на пол; утром в голове у меня стучало, глаз оказывался заплывшим, а костяшки сбиты в кровь – последствия драки в баре. Несколько раз я просыпалась на пляже неподалеку от «Копакабана-Палас» босой – сколько обуви я потеряла в те недели? – песок в ушах, песок повсюду. Я не отрываясь глядела на башни отеля и думала: *Это просто вопрос времени.*

Я верила, что знаю Грасу и Винисиуса лучше, чем они знают себя сами. Граса никогда не скупилась на физическую близость, это было ее оружие. Другьям и любовникам она садилась на колени, целовала в щеку, слишком тесно прижималась в танце, шептала на ухо, держала за руку. Поначалу, когда на тебя щедро проливался весь этот поток, тебе казалось, что это доказательство особых отношений между вами. Граса и правда привязывалась к людям без оглядки, но в проявлениях привязанности не знала меры. Каждый для нее был особым, а значит, особым не был никто. Чем скорее ты это понимал, тем лучше было для тебя. Когда Граса вдруг начинала засыпать тебя знаками внимания, ты ощущал себя избранным. Как будто она отныне принадлежала только тебе. И, чтобы удержать благосклонность Грасы, надо было уступить ее требованиям. Служить ей, прогонять ее страхи – что ее отвергнут, разуверятся в ней, что ее предадут. Очищенное от страха желание было для нее утешением. А утешение Граса могла получить легко и от кого угодно. И человек, дававший ей все, чего ей хотелось, терял ее навсегда.

Так что я ждала того момента, когда Граса использует меня как предлог, чтобы порвать с Винисиусом, когда она меня, а не его затащит в примерную и скажет: «До чего же мне надоел этот старый башмак». Винисиус, конечно, будет рваться к ней, но в конце концов его гордость возьмет верх и он вернется к нашим послеобеденным встречам, и мелодий у него будет больше прежнего, и мы вместе посмеемся над их маленьким романом. Жизнь войдет в прежнее русло, только станет еще лучше, потому что благодаря мне София Салвадор и «Голубая Луна» превратятся в звезд кино.

Вот такой историей я утешала себя, пока Граса и Винисиус разыгрывали представление, целуясь на палубе «Уругвая», а толпа восторженных поклонников и фотографов наблюдала за нашим отплытием из Рио.

В черном платье, черном тюрбане, с единственной ниткой жемчуга, Граса больше походила на девушку из высшего общества, чем на обожаемую всеми Софию Салвадор. После похорон сеньора Пиментела Граса объявила, что будет носить черное каждый день, она явилась в черном даже на прощальные торжества в порту Рио. За несколько дней до отплытия она выкрасила волосы в угольно-черный и по этому поводу пребывала в полном раздрае. «Я похожа на стервятника», – рыдала она и чуть не отменила нашу поездку в Лос-Анджелес. Я сунулась было утешать, но ее уже утешал Винисиус – дескать, он в жизни не видел стервятницы прекраснее, и убеждал ее все-таки собираться в Штаты.

Решение погрузиться на корабль далось нам легко. «Лунным» мальчикам и Грасе надоели и концерты в «Урке», и жизнь в пузыре славы. Надоело до бесконечности записывать песни для «Виктора», в этом мы ничем не отличались от любого другого самба-бэнда. После смерти сеньора Пиментела мы были готовы сменить обстановку, и я – больше всех. Каждый раз, когда официант или не в меру восторженный поклонник барабанил в дверь гримерной, у меня внутри все холодело: не полиция ли? Лежа без сна одна в нашей комнатухе, я думала, не явится ли сейчас ко мне Мадам Люцифер с требованием сменить имя и убраться в Буэнос-Айрес, потому что полиция у меня на хвосте. То были страхи, порожденные чувством вины и чрезмерным увлечением голливудскими фильмами. Булавка с сахарным кубиком все еще находилась у Мадам Люцифер, но мне чудилось, что она разоблачающим булыжником оттягивает мой карман. Поэтому, когда Чак Линдси предложил Софии Салвадор небольшую роль в фильме «Прощай, Буэнос-Айрес», мы все ухватились за эту возможность.

Еще несколько месяцев назад я оцепенела бы от такого поворота: бросить славу и твердый доход ради путешествия в неизвестность. Деньги за тот первый фильм были небольшими – пятьдесят долларов в неделю плюс жилье, – но Чак сказал, что это обычное дело. Студия проверяла нас, хотела посмотреть, справимся ли мы с работой на съемочной площадке. На время нашего отсутствия Мадам лишился своей еженедельной дани, но он пришел в восторг от новости, что мы плывем в Штаты. Уж он-то мгновенно понял, что такая курица сможет нести золотые яйца. Даже если мы сделаем всего один успешный

фильм, то по возвращении в Бразилию любое казино или кабаре, любая звукозаписывающая компания станет платить Софии Салвадор и «Голубой Луне» по самому высшему разряду! Мадам Люцифер, как и мы, как и вся остальная страна, верил, что наша вылазка в Голливуд окажется успешной и в то же время не затянется надолго.

Большинство пассажиров «Уругвая», североамериканские туристы, не могли понять, по какому поводу в порту такое светопреставление. Они недоуменно смотрели, как наша маленькая компания посылает воздушные поцелуи толпе.

– Здесь какая-то знаменитость? – спросила меня по-английски туристка, стоявшая рядом. – По какому поводу шум?

Я поняла вопрос и страшно возгордилась. Перед отъездом я несколько недель изводила себя английским – отчасти чтобы подготовиться к жизни в Соединенных Штатах, отчасти чтобы развеяться. Я больше не ждала, когда Винисиус вспомнит о наших рабочих встречах, и погрузилась в изучение языка, к которому сеньора Пиментел приобщила меня много лет назад. И на борту «Уругвая» я уверовала, что тяжкие труды наконец дают плоды.

– Мы знаменитые маэстро, – сообщила я по-английски бледной даме.

– Художники? – уточнила она.

Я затрясла головой и объяснила, что мы исполнители самбы и плывем завоевывать Голливуд! Мы будем петь и танцевать в кино, студия «XX век Фокс»! Мой голос, произносивший английские слова, звучал почему-то пискляво и незнакомо. Язык устал уже через несколько минут. С удивлением, даже страхом я увидела на лице американки смущение и сочувствие. Она кивнула и отошла. Я почувствовала себя невежественной дурындой. Над головой взвыла сирена. Толпа в порту разразилась восторженными воплями.

Толпа была не слишком большая, но изрядная настолько, чтобы привлечь внимание. Люди размахивали бразильскими флагами, держали транспаранты «Мы любим тебя, София!».

Мы станем первыми бразильцами, кто будет сниматься в серьезной кинокартине, – факт, о котором государственные газеты Льва и президентский Отдел пропаганды начали трубить за несколько недель до нашего отплытия. И если прежде София Салвадор была просто местной знаменитостью и звездой самбы, то теперь она

становилась национальным символом, ценным предметом экспорта. Ее успеха ждала вся Бразилия.

Я стояла на палубе и смотрела, как Бразилия исчезает из виду. Солнце село. Пароход медленно полз, словно пробирался сквозь сироп. Луны не было, и океан сливался с небом. Глядя на эту бескрайнюю черноту, я ощутила головокружение и эйфорию, будто долго постилась и забыла, что значит голод. Интрижка Грасы и Винисиуса уже меньше задевала меня. Рио с его выступающими холмами, с крикливыми огнями кабаков, с его особняками и трущобами, казино и театрами, с омерзительным ассортиментом Мадам Люцифер, Лев и сеньор Пиментел – все осталось позади. Теперь есть только мы и наша музыка.

Океан дыбился и опадал, заставляя огромный корабль подо мной тоже подниматься и резко опускаться. Я цепко держалась за поручни, но морская болезнь, что изводила меня во время первого морского путешествия, когда мы много лет назад плыли в школу «Сион», снова настигла меня. Сжавшись в клубок, я лежала у себя в каюте и не выходила из нее несколько дней, пока не заявила Граса.

Дикой кошкой она ворвалась в каюту:

– Ну и видок у тебя!

– Не нравится – не смотри. – Я снова скорчилась на койке.

Граса поставила банку с крекерами и графин с водой на стол, заваленный окурками и заставленный пустыми стаканами. К счастью, дежурный успел забрать ведро, в которое меня рвало, и принести чистое. Граса носком туфли сдвинула его, а потом пнула меня по ноге.

– Подвинься, – велела она и уместилась на узком матрасе рядом со мной. Я повернулась к ней спиной. Граса вжалась в меня, ее колени уперлись сзади под мои, грудь прижалась к моей спине, Граса обняла меня за талию. Я ощутила запахи – розовые духи и пудровый след кольдкрема – и крепко зажмурилась.

– Поругалась с Винисиусом? Поэтому и приползла?

Граса убрала руки и словно окаменела.

– Вы оба считаете себя такими умными, – сказала она. – Говорите умные слова, спрашиваете о чем-то, только не меня. Меня он никогда ни о чем не спрашивает. Мы вообще мало разговариваем.

Сколько раз я воображала себе их вдвоем, за запертой дверью примерной? Воображение – ненадежный дар, оно то благословение, которое позволяет тебе сбежать, то враг, которого надо победить, чтобы выжить.

Я повернулась к Гресе:

– А каких разговоров ты от него ждешь?

– Мне страшно, – прошептала она. – Из-за этой поездки. Я боюсь Голливуда.

– Боишься?

– Меня никто на пароходе не знает. В столовой гринго смотрят на нас с ребятами так, будто нам там не место. Как будто наше дело – убирать их каюты, а не обедать за соседним столом. Капитан даже ни разу не подошел к нашему столу, чтобы поздороваться со мной.

Я улыбнулась.

– Он, наверное, очень занят – ведет корабль.

– Хватит, – огрызнулась Греса. – Ты как Винисиус, смеешься надо мной. Как бы мне... – Она покачала головой и перевернулась на спину, крепче прижав меня к стенке.

– Тебе – что?

– Как бы мне хотелось, чтобы папа был рядом.

Желудок совершил кульбит.

– Если бы он был рядом, не видать нам этого парохода. Он бы не пустил тебя в Голливуд. Пела бы ты оперные арии на чайных вечеринках у каких-нибудь богатых сук из Санта-Терезы.

– Они бы хоть знали, кто я такая.

– Точно. Они бы все про тебя знали: отставная самба-певичка, которая изо всех сил пытается быть уважаемой. Дочка мелкого плантатора хочет завоевать их приятным голосом. Стала бы предметом пересудов. Хуже того – посмешищем стала бы. Знаешь, чего богатые терпеть не могут? Когда им подражают. А знаешь, что их пугает? Когда кто-то по-настоящему талантливый делает что-нибудь неожиданное – то, про что они ни разу не слышали. А почему? Потому что вдруг понимают: целый мир музыки и талантливых людей существует не оттого, что они так захотели. Не они создали его, не они за него заплатили, и они не могут ни купить, ни контролировать его. И это их до смерти пугает.

– Но, Дор, я не хочу пугать людей. Я хочу, чтобы они желали меня. Не в смысле постели. Хочу, чтобы они слушали меня и забывали обо всем. Ни жен, ни мужей, ни детей, ни работы. Чтобы у них была только я. Я для них все, но владеть мной они не смогут. Так я им никогда не надоем, они не станут насмехаться надо мной, не станут думать, что я простушка или бесполезная дурочка. Я всегда буду для них совершенством, я останусь в их памяти, и каждый раз, вспоминая меня, они будут создавать меня заново. А не любить собственное творение невозможно.

– Это не любовь, – прошептала я.

– Да ну? Откуда ты знаешь?

Ее плечо прижалось к моему, и моя кожа вдруг стала болезненно чувствительной, словно я обгорела на солнце.

– Я и не знаю.

– Тогда я думаю, что это любовь. Самое главное.

– А Винисиус? – спросила я. – Он что думает?

Граса пожала плечами:

– О своей музыке. Говорит о ней как о религии. Если бы я не пела его песни, я бы была не нужна.

– Это и мои песни тоже.

– Вы как близнецы.

Я поймала ее руку и переплела наши пальцы.

– Когда мы записали «Дворнягу», ты сказала мне – хватит киснуть, радуйся, вернись к жизни. И ты была права. Великий день я превратила в праздник жалости к себе. Думала только о том, чего мне не досталось, а не о том, что мы приобрели. И теперь я скажу тебе то же самое о Голливуде: радуйся, вернись к жизни. Мы будем сниматься в кино! И ты окажешься на экранах всего мира! Бояться нечего.

– Если дело с кино не выгорит, вы с Винисиусом мало что потеряете, у вас есть ваши песни и роды. А я? Если я не понравлюсь голливудским гринго, если не стану гордостью Бразилии, то превращусь в жалкую неудачницу. В «Урке» теперь вместо меня Араси. Если я не получу ангажемента в кино, то и казино мне больше не видать. Чем выше мы забираемся, тем больше падать. Мне, во всяком случае. А какая у меня страховка?

– Она тебе не нужна. Я поймаю тебя.

Граса рассмеялась:

– Вы с Винисиусом будете так заняты песнями, что даже не заметите, как я шлепнусь на асфальт.

К тому дню, когда «Уругвай» плавно вошел в нью-йоркскую гавань, брюки на мне болтались, ремень я затягивала на последнюю дырочку. Подкрашивая губы перед зеркалом в каюте, я смотрела на свои острые скулы и угловатые черты и вдруг поняла, что у меня тоже есть своеобразная – резкая – красота. Когда я вышла на палубу, где мы уговорились встретиться, Худышка засвистел. Ребята засмеялись и принялись хлопать меня по спине, дразня морской болезнью. Винисиус улыбался так широко, что игнорировать его (что мне удавалось в последние несколько недель) было невозможно.

– Сфинкс восстал! – объявил он, простирая ко мне руки.

Граса, вся в белом с головы до ног и в тюрбане цвета слоновой кости, который прикрывал ее стервятнические волосы, проскользнула между нами.

– Ты вовремя, – сказала она, словно наше прибытие в Нью-Йорк было заранее назначенным свиданием, на которое я могла легко опоздать. Она обняла меня и не выпускала, пока мы спускались по трапу.

Великий Нью-Йорк я видела как сквозь коричневую пленку, отчего все казалось запачканным и темноватым. В центре города сгрудились серые здания. Ветер продувал мое хлопковое пальто. Стоял ноябрь, и я еще никогда в жизни так не мерзла. Мне стало ясно, что наше путешествие только начинается.

В порту нас встретил человек со студии «Фокс», который растолкал нас по трем желтым такси и доставил на Пенсильванский вокзал, где мы сели на поезд до Чикаго. В Чикаго, полумертвые от усталости, мы погрузились на знаменитый экспресс «Суперчиф» и покатали в Лос-Анджелес.

Больше всего из этой поездки мне запомнилась еда. После тринадцати скудных дней в море я ела как изголодавшееся животное: жареную картошку, филе по-канзасски, свежую форель, романовскую икру, яйца, салаты, ржаные булочки. *О, Америка!* – думала я, собирая хлебом остатки соуса. – *Страна роскоши!* Пульмановские проводники всегда старались запихнуть нас в угол поукромнее. Я думала, что с их стороны это любезность – мы были шумной компанией, всегда что-то

отмечали, а другие обедавшие, вероятно, хотели тишины и покоя. Но когда мы высадились в Лос-Анджелесе, я поняла, что не производимый нами шум не нравился другим обедавшим – им не нравились мы сами. Формально в «Суперчифе» не было отдельных секций для белых и для черных, но имелись свои обычаи, от которых пульмановские проводники – тактично и почти деликатно – старались нас оградить.

Когда я думаю, как мы ввосьмером – Граса, я, Винисиус, Маленький Ноэль, Худышка, Кухня, Банан и Буниту – ехали на том поезде, как восхищались льняными салфетками и серебряными посудинами для ополаскивания пальцев, как провозглашали тосты за наш успех, как шумно рассуждали, каких кинозвезд мы сможем повидать, мне представляется компания детей, что играют в роскошном доме, не ведая о том, как устроена жизнь в большом мире за дверью.

Я живо помню наше прибытие в Лос-Анджелес не только потому, что это было новое место, но и потому, что мы стали там новыми людьми – другими людьми. В Рио мы были закаленной командой известных музыкантов – здесь мы ощутили себя никому не известными детьми, которым еще только предстоит найти свой путь в Голливуде. Поначалу это не умеряло нашего восторга, напротив, подстегивало его.

«XX век Фокс» выслал молодого блондинчика встречать нас на обветшавшем вокзале Санта-Фе. Несколько недель спустя мы узнали, что настоящих кинозвезд встречают на куда более живописном вокзале Пасадена. Но в день нашего прибытия мы находились в блаженном неведении. Мы последовали за бодрым юнцом сквозь пелену дождя и, промокшие насквозь, разместились в два черных авто с тонированными стеклами. Блондин рассадил нас так: Винисиуса, Маленького Ноэля и Грасу в одну машину; Худышку, Кухню, Буниту и Банана – в другую. Изучив меня – мое лицо, дорогое дорожное платье и гармонирующий с ним ярко-зеленый жакет, – он подвел меня к машине Грасы. Черные машины потащились сквозь дождь и ветер в Лос-Анджелес, словно погребальная процессия – к вырытой могиле.

Блондин из «Фокс» ехал в нашей машине. Он доставил нас в отель «Плаза» на углу Вайн-стрит и Голливудского бульвара, который

назвал отелем класса люкс для «проезжающих звезд». Окна в лобби затянуты шторами из красного дамаста, потолки такой высоты, что здесь с комфортом уместился бы жираф, мои двухдюймовые каблукки утопали в ворсе толстых ковров. У Грасы тут же заблестели глаза. Она стащила мокрые перчатки и пихнула меня локтем:

– Скажи парнишке, что мне нужна дамская комната. Не могу же я предстать перед прессой мокрая как мышь.

Не успела я обдумать, как изложить просьбу Грасы на своем дубовом английском, как мальчик с «Фокс» заговорил, громко и медленно:

– «Фокс» будет платить за вас одну неделю, пока вы снимаетесь. После этого ищите другие норы. Тут в городе много чего сдается внаем. Чем скорее вы обзаведетесь подержанной машиной, тем лучше. Лос-Анджелес – большой город, пешком не находитесь и автобусом не наездитесь. Вот автобусное расписание. – И он сунул мне в руку брошюрку. – До студии добираться часа полтора. На съемочной площадке надо быть ровно в шесть утра. А сейчас я вас размещу.

Я посмотрела на расписание, пытаюсь осмыслить то, что удалось понять из слов молодого человека. Прежде чем я начала переводить, заговорила Граса:

– Где журналисты?

Я покачала головой:

– Их нет.

– А где другая машина? – спросил Винисиус.

Маленький Ноэль кивнул:

– Ребятам уже пора бы приехать.

Я постаралась изложить их вопросы блондину. Улыбка у него сделалась неуверенной. Он ответил длинной тирадой, в которой я разобрала только «другая гостиница. “Дунбар”. Шикарное место».

– Ребята ни слова не знают по-английски. – Винисиус провел пятерней по мокрым волосам. – Они должны быть здесь, с нами.

Граса комкала мокрые перчатки.

– Дор, скажи этому фоксику, что мы в Бразилии были ого-го, – распорядилась она. – Здесь мы, может, и никто, но пусть нас хотя бы поселят вместе. Мы можем жить по двое в номере, поплотнее.

Ассистент из «Фокс» холодно смотрел на нас, поигрывая ключами от номеров. Я откашлялась и объявила:

– Мы вместе. Другие ребята? Здесь.

Брови блондина полезли вверх, словно я попросила его раздеться.

– В здешних отелях некоторым нельзя останавливаться, – сказал он, понизив голос.

– Каким некоторым? – спросила я, хотя уже все поняла.

– Неграм.

Такое слово существует в португальском языке. Оно произносится не как «ни-грамм», как выговорил его своим гнусавым голосом этот мальчик. Мы говорим *neh-grew*, хотя в большинстве случаев обходимся без «р». Обычно произносится просто *neh-goo*. И хотя это слово означает черный цвет, оно может означать и много чего еще. *Meu nêgo* – мой друг, любовник, брат, душа моя. В моем кругу это слово произносили с сильным чувством. Но мы не были ни слепы, ни глупы; логика «чем светлее, тем лучше» не ускользнула от нас, хотя настойчивость, с какой ее выражали в Голливуде, стала для нас сюрпризом.

Будучи исполнителями самбы в Бразилии, мы всегда пользовались грузовыми лифтами и ходами для прислуги и жили в районах вроде Лапы. Но мы были вместе, мы были одной компанией, музыкантами. По фильмам мы думали, что хотя в США насчет черной кожи строго, Голливуд может оказаться богемным местом, где возможно все. Вскоре мы узнали, что настоящий Голливуд – это бизнес, где все решают несколько мужчин с кожей цвета очищенного сахара.

Парнишка из «Фокс» что-то пробормотал, прощаясь, и сунул ключи мне в руку. Я оглянулась на Грасу, Винисиуса и Маленького Ноэля.

– Такие тут правила, – сказала я. – Ребятам сюда нельзя.

Винисиус сгорбился на диванчике. Маленький Ноэль закурил. Граса снова натянула мокрые перчатки.

– Вызови такси, – велела она.

Через двадцать минут наша машина остановилась у входа в отель «Дунбар». Этот отель, как мы узнали, служил домом для черных артистов, которые развлекали белых жителей Лос-Анджелеса, но которым не дозволялось ночевать по соседству с белыми. Выдержанный в испанском стиле (фирменный знак Лос-Анджелеса, как мы потом узнали) отель мог похвастать выложенным плиткой полом, впечатляющими колоннами ар-деко и громаднейшей

хрустальной люстрой. В «Дунбаре» имелись собственный ресторан, мужская парикмахерская и даже ночной клуб «Плавучий театр». Там-то мы и нашли Кухню, Худышку, Буниту и Банана – те выпивали и слушали трио, игравшее бибоп.

Во время нашего долгого путешествия мы фантазировали, как пройдет наша первая ночь в Голливуде. Он представлялся нам волшебным местом, с лучшими в мире музыкантами и скандальными клубами. Столица развлечений! Мы думали, что сможем вновь пережить наши самые дикие ночи Лапы. Но в свой первый голливудский вечер, сидя в «Плавучем театре» и пытаясь выпить, мы осознали: съемки и ночные развлечения несовместимы. Клубы, включая «Театр», закрывались в одиннадцать. Единственные стоящие вечеринки в Голливуде происходили по воскресеньям, во второй половине дня, когда студии бывали закрыты, но даже эти вечеринки заканчивались не позднее полуночи.

В десять тридцать прозвучал последний звонок. Музыканты заиграли что-то медленное. Худышка, Банан и Буниту флиртовали с девицами. Кухня воодушевленно жестикулировал, пытаясь пообщаться с каким-то музыкантом. Граса и Маленький Ноэль скользили по танцполу. Я сидела одна за столиком у стены, там меня и отыскал Винисиус.

– Этот отель получше нашего, – заметил он, усаживаясь рядом со мной, его нога прижалась к моей. – И уж точно лучше, чем наши комнаты в Лапе. Если нас и дальше будут держать по отдельности, ребята хотя бы поживут шикарно.

Я допила и со стуком поставила стакан на стол.

– Сколько еще ты собираешься наказывать меня молчанием?

– Пока ты не скажешь что-нибудь интересное.

– Кто бы говорил!

Я округлила глаза:

– Удивительно, что ты вообще выпустил ее из рук. Я уж было думала, что завтра на площадке вас придется отдирать друг от друга силой.

– Она пожаловалась, что я наступаю ей на ноги, и прогнала, – кисло сказал Винисиус. – На ссору нарывается. Нервничает перед завтрашним, из-за съемок. Она в этом не признается, но я-то вижу. Я тоже нервничаю.

– Твое дело завтра – играть наши песни. Они в жизни не слышали настоящей самбы, вот мы им завтра и врежем. Мы станем самыми знаменитыми самбистас в мире. Мы им всем покажем.

– Что покажем?

– Что мы не однодневки. Что нас нельзя отшвырнуть с дороги, точно мы никто.

Мозолистые пальцы Винисиуса легли на мою руку.

– Я не собирался крутить с Грасой.

– Но всегда хотел. – Я убрала руку. – Когда ты приглашал меня на те первые роды, у Сиаты, то надеялся, что она тоже придет? Да?

– Нет. – Винисиус отвернулся. – Или... Черт, Дор, я не знаю. Какая теперь разница? В одиночку я бы никогда не написал таких песен, какие написали мы с тобой. Ты увела меня от старого. Мы с тобой делаем такое, чего свет еще не видел.

– Ничего мы не делаем, – сказала я. – Для тебя сейчас ничего, кроме Грасы, не существует.

– А для тебя? – Винисиус схватил меня за руку, на этот раз сильнее. – Не суди меня так строго, Дор. Ты знаешь, что я чувствую. Только ты меня понимаешь.

Я не отрываясь смотрела на его кок надо лбом, на густые бакенбарды; темные блестящие глаза казались налитыми какой-то жидкостью, и я вспомнила, как в первый раз посмотрела ему в глаза в клубе у Коротышки Тони. Мы больше не делились на исполнителя на сцене и глупую девчонку, сидящую в зале. Теперь мы на равных, вместе.

Ни я, ни он не заметили, как в клубе стало тихо, музыка смолкла. Возле нашего столика стояла Граса со скрещенными на груди руками.

– Вечеринка окончена, ребятки, – сказала она и увела Винисиуса.

На следующее утро солнце едва успело встать, как мы уже были на студии «XX век Фокс». Пройдя в ворота, мы еще полчаса пытались отыскать нашу съемочную площадку. «Фокс» была городом в городе: административное здание с кондиционером, которые в то время еще были в диковинку; огромные склады, где хранилась мебель, костюмы и бутафория; пятьдесят человек охраны; зубо-врачебный кабинет; поликлиника, электростанция, салон красоты, научно-исследовательский отдел, кафетерий, школа. На территории студии

можно было найти все необходимое, именно этого и хотел «Фокс»: время, проведенное вне студии, считалось потерянным временем.

Наш фильм назывался «Прощай, Буэнос-Айрес», снимали его на пленку «Техниколор», бывшую тогда новшеством. Сюжет фильма повторялся потом почти во всех фильмах с участием Софии Салвадор: милостивая пышногрудая американка отправляется за границу, знакомится с мужчиной своей мечты, ссорится с ним, но в финале они падают друг другу в объятия. Действие разыгрывается на круизных лайнерах, на ипподромах, в лобби отелей и дорогих ночных клубах. В этих-то клубах и появляются София Салвадор и «Голубая Луна».

Действие по сюжету должно было происходить в столице Аргентины, однако на самом деле «Прощай, Буэнос-Айрес» снимали в калифорнийских кинопавильонах. В настоящем Буэнос-Айресе ездили автомобили, по широким тротуарам и в парках прогуливались дорого одетые мужчины в костюмах, сшитых на лондонской Сэвил-роу. А в фильме Буэнос-Айрес представлял провинциальным городком, смахивающим на гасиенду. «Фокс» выстроила целый ночной клуб, выкрашенный белым, прибавила громадные греческие колонны и повесила голубой занавес с намалеванными звездами. На фальшивой сцене крестики из черной липкой ленты указывали, где Граса и ребята должны стоять, исполняя две наши самые популярные песни, «Девушка из Баии» и «У нее – есть! У меня – нет!». Мы ожидали, что съемки не будут отличаться от выступления в «Урке», за исключением, конечно, камер.

В шесть тридцать утра Граса, мальчики и я были на съемочной площадке; кофе мы пили как воду. Площадка оказалась закрытым душным ангаром. Два десятка стационарных вентиляторов работали на полную мощность, но в помещении все равно стояла духота. Вокруг сцены установили три огромные черные камеры на металлических подставках – одна в центре и две по краям. На столбах-лестницах крепились большие прожекторы, заливавшие сцену светом, отчего белый фон резал глаза. Перед самыми съемками по павильону забегали рабочие, выключая вентиляторы.

У Грасы и ребят роль была эпизодическая, не стоящая ресурсов «Фокс», то есть своими прическами и гримом они занимались сами, то же самое касалось одежды: мальчики были в смокингах, а Граса – в своем красном платье «под байяну», с открытыми плечами и широкой

юбкой с разрезом впереди, открывающим ноги. Черные, коротко стриженные волосы, кроваво-красная помада, в ушах качаются массивные серьги.

По знаку режиссера Граса направилась к отмеченному для нее на сцене месту, ее огромные платформы громко стучали по деревянному полу.

– Стоп! – взревел режиссер. – Лео! Наклей, что ли, войлок ей на подошвы. Топочет, как кобыла.

После того как костюмер вернул ей туфли, Граса и мальчики снова получили указание пройти к своим меткам. Настала тишина. Затрещала камера.

Если не считать съемочной группы, клуб был пуст. Здесь не сновали официантки. Не позванивали бокалы, не стелился бархатистый сигаретный дым. Никто не смеялся, не переговаривался. Не аплодировал. Но Грасе надо было делать вид, что все это есть. Надо было улыбаться и изображать, что на нее смотрят сотни людей. Погрозить пальцем воображаемому мужчине в первом ряду и подмигнуть его даме. К концу первой песни Граса стояла на краю сцены, ее грудь вздымалась и опадала, над губой блестели капли пота.

– Стоп! – распорядился режиссер. – Припудрите ее, что ли.

Появилась гримерша, заставила Грасу поднять руки и припудрила ей лицо, грудь и подмышки.

– Мисс... э-э... Салвадор, давайте еще раз, – прокричал режиссер. – Не промахнитесь мимо своей отметки, не заходите на другой край сцены. И не размахивайте руками перед лицом, мы должны его видеть... Господи! Да она вообще понимает, что я говорю?

Музыкальный номер в фильме – и мы быстро это поняли – совсем не то что живое выступление. Здесь промокали каждую каплю пота, срезали каждую выбившуюся нитку, заглушали каждый внешний звук. Граса не могла танцевать, как танцевала обычно, передвигаясь по сцене. Она должна была встать на свою отметку и изогнуться к камере. Ребятам следовало улыбаться, не открывая рта. Парикмахеру пришлось подстричь Винисиуса, чтобы волосы не падали на лицо, когда он склонялся над гитарой. Ребята, стоявшие по трое по обе стороны от Грасы, держались натянуто – нельзя было отодвигаться друг от друга слишком далеко, нельзя было придвигаться друг к другу слишком близко.

Спустя пять часов полностью отсняли только один номер. Грасе и раньше случалось отрабатывать длинные выступления, но ее всегда подбадривали слушатели. Не слыша аплодисментов, Граса не могла оценить, хорошо ли она поет. На площадке царил тишина, и казалось, что звуки падают плашмя. А когда Граса входила в ритм и начинала чувствовать себя уверенно и свободно, ее прерывал режиссер: то свет слишком яркий, то серьга покосилась, то декорация испачкалась. Поначалу я думала, что режиссера зовут Занук. На площадке все повторяли это имя – шепотом и почтительно-испуганно.

– Мистер Занук не одобрит.

– Занук просто взбесится, когда это увидит.

– Мистер Занук хочет убедиться, что украшения мисс Салвадор не слишком блестят.

В полдень режиссер скомкал какую-то телеграмму и проорал имя Занук – так я поняла, что Занук все-таки не он. Мистер Дэррил Ф. Занук, как мы вскоре узнали, был главой студии «Фокс».

В четыре часа дня режиссер объявил второй вожделенный перерыв. Мы с мальчиками заказали сэндвичи, Граса съела маринованный огурчик и выпила еще кофе: она не могла петь и танцевать на полный желудок. Ступни у нее горели.

Мы присели на складные стулья. Я положила ноги Грасы себе на колени и расстегнула ремешки ее золотистых туфель на платформе. Туфли упали на пол с глухим стуком. Золотые цепочки и нитки фальшивого жемчуга мешали Грасе двигаться, украшения были тяжелыми, и ей приходилось беречь силы. Она едва не засыпала, ее ноги неподвижно лежали на моих коленях, и тут ассистент продюсера прокричал, что режиссер готов.

С подавленным видом Граса отыскивала свою отметку на сцене. Но как только в павильоне настала тишина и заработала камера, Граса засветилась улыбкой. Зубы в обрамлении губ со свеженаложенной красной помадой казались поразительно белыми. Глаза огромные. Руки описывали круги у лица, но не загорали его. Бедра ходили из стороны в сторону, отчего юбка будто плескалась. Голос летел. В первый раз я отвела взгляд от Грасы и посмотрела на оператора, на ассистентов, художников-постановщиков и съемочную группу. Они улыбались и не отрывали взгляда от сцены, глаза замаслились, словно они выпили во время перерыва. Один покачивал головой. Другой

отстукивал такт ногой. Губы шевелились во время припева, который мы выслушали в тот день раз десять. К концу песни Граса замерла, улыбаясь. Режиссер прокричал: «Снято!» – и помещение снова наполнилось гулом голосов.

Прихрамывая, Граса сошла со сцены, отцепила огромные серьги, которые качались почти над плечами, и сунула их мне.

– Господи, неужели все закончилось. Давайте выпьем.

Но мы не успели вернуться в наш маленький трейлер – нас остановил режиссер. У него за спиной стоял человек, которого мы не знали, – темные волосы в беспорядке, глаза сонные, будто его растолкали, когда он сладко спал. Он заговорил с нами по-испански, который был гораздо ближе к нашему языку, чем английский, но все же оставался чужим. Мне пришлось попросить его говорить помедленнее.

Человек оказался актером массовки с другой съемочной площадки. Режиссер позвал его в качестве переводчика. Я смотрела на режиссера – тот улыбался и быстро говорил по-английски. Я уловила несколько слов, сонный тип перевел на испанский, а я изложила по-португальски Грасе. Режиссер предложил:

– А что, если София Салвадор будет не только петь и танцевать, но и произнесет несколько реплик?

Граса заломила руки.

– Он что, хочет, чтобы я говорила по-английски?

Мы с актером снова затеяли игру в перевод. Режиссер помотал головой. Пусть София Салвадор произнесет свои реплики по-португальски, а ее партнер по сцене, приятель героя, ответит по-английски, тем самым давая зрителям понять, о чем речь. Режиссер медленно и не без труда растолковал нам сцену: безымянная героиня Софии Салвадор из ночного клуба встречает приятеля героя и ссорится с ним. София – брошенная любовница, она ссорится со своим неверным красавчиком-гринго. Эпизод должен длиться пять минут максимум.

– А сценарий? – спросила Граса. – Что я должна говорить?

Когда мы перевели режиссеру ее вопрос, он рассмеялся.

– Сценария нет. Мне просто пришла в голову такая идея. Пусть говорит что угодно. Все равно никто ничего не поймет.

В трейлере Граса, чтобы взбодриться, залила в себя еще две чашки черного кофе: к тому времени съемки длились уже двенадцать часов. Пока мы ждали ее партнера, Граса снова и снова репетировала свою пятиминутную сценку.

Впервые в жизни ей предстояло выступать совершенно самостоятельно, рядом не было ни меня, ни ребят, чтобы поддержать ее, и выступать ей надлежало перед самой строгой аудиторией, какую только можно вообразить, – перед вымотанной съемочной группой кинокомпании «Фокс».

– Ну как? – спросила она меня после сотого повтора. – Как, по-твоему, оскорбленная девушка скажет это без слез? Наверное, нужно заплакать.

Так Граса толковала свою героиню: девушке изменили, и она в ярости.

«Лунные» мальчики ждали снаружи, пока ассистентка гримерши поправляла Грасе пудру и помаду. Платформы туфель Грасы были такими высокими, что она смотрела мне в глаза, не поднимая головы.

– Если я не сыграю как следует, то умру прямо там, на съемочной площадке.

– Всего несколько фраз, – подбодрила я. – Справишься на отлично.

– Вот ты всегда так, – прошипела Граса.

– Как?

– Делаешь вид, что все чертовски легко. Но нет. – Она застегнула серьги. – Петь легко, а все остальное? Мне гораздо тяжелее, чем тебе.

Граса сморгнула слезы. Я не успела ответить: ассистентка открыла дверь трейлера и утащила Грасу с собой.

Как только застрекотала камера, Граса мастерски симпровизировала по-португальски:

– Ах ты собака! Ты сломал мне жизнь! Как ты мог?..

С каждой ее фразой партнер прерывал Грасу, пытаясь смягчить гнев рассерженной девушки, говорил, как ему жаль, а сам тем временем пятился. Чем дальше он отступал, тем ближе Граса к нему подступала; вся сцена выглядела как песня и танец. Граса выпила слишком много кофе, отчего возбудилась почти до неистовства. К концу сцены ссора стала столь жаркой, Граса так яростно встряхивала головой, что одна из ее гигантских серег начала съезжать, повисела

немного на мочке, а потом сорвалась, скользнула по груди и исчезла в декольте. Граса схватилась за вырез, глаза ее расширились.

Оператор фыркнул. Другой покраснел и попытался – без особого успеха – подавить смех. Захихикала секретарша режиссера, и вот уже вся съемочная группа качалась от смеха. Не смеялись только мы с парнями.

– Стоп! – выкрикнул режиссер. – Ну же, ребята. Держите себя в руках.

Кто-то, пытаясь подавить смешки, уставился на носки ботинок, но плечи все равно тряслись. Другие переглядывались и ухмылялись, как школьники, которых учитель призывал к порядку.

Граса, очень бледная, держалась за сердце.

– Все в порядке? – спросил ее партнер. – Слушай, Джордж, – обратился он режиссеру, – думаю, нам нужен перерыв.

– Пять минут, – распорядился режиссер. – Перерыв!

– Перерыв!

– Перерыв!

– Перерыв!

Ассистенты эхом повторили «перерыв!» по всей площадке. Я подбежала к Грасе. Она упала на меня, с такой силой вцепившись в мою руку, что я чуть не вскрикнула. Даже оказавшись в безопасности нашего маленького трейлера, у двери которого несли вахту ребята, Граса не отпускала меня.

Винисиус описывал рядом с нами круги, нервничая так, будто Грасе предстояло вот-вот родить. Я не могла придумать, чем ее утешить. В первый раз в жизни ее, стоящую на сцене, осмеяли.

Граса наконец отпустила мою руку, схватила мусорную корзину, и ее вырвало. Потом тяжело осела на пол у двери, не выпустив корзины, Винисиус тут же оказался рядом, погладил по спине. Я встала на колени с другой стороны.

– Боже мой, – прошептала Граса. – Я все испортила. Они надо мной смеялись. – Ее лицо скривилось. – Как мы теперь вернемся домой? После такого? Что напишут в газетах?

Я взглянула на Винисиуса и провела рукой по влажным от пота волосам Грасы.

– Мы все устроим. Снимем сцену еще раз, без серег. Я скажу режиссеру – пусть все уйдут с площадки.

Дыхание Грасы билось где-то в горле. Тушь расплылась.

– Не заставляй меня снова выходить туда, – прошептала она.

Мы поставили Грасу на ноги, подвели к кушетке и уселись все втроем, Граса посредине, мы по бокам. Я держала ее за ледяную руку.

– Давай уедем, – сказала Граса. – Давай?

– Я вызову такси, – ответила я. – Мы отдохнем, а завтра утром начнем со свежими силами.

Граса замотала головой:

– Нет, из Лос-Анджелеса уедем. Я хочу домой.

– Ну-ну, успокойся, – заворковал Винисиус, словно утешая ребенка. – Давай сначала поговорим с ребятами...

– Только и думаешь, что о своих ребятах! – Она повернулась спиной к Винисиусу и лицом ко мне. От нее пахло потом, рвотой и пудрой, которой гримерша пудрила ей подмышки. – Дор, я хочу домой.

– Мы не можем уехать. У нас контракт.

– Да подтереться этим контрактом! – выкрикнула Граса и обняла меня так, что у меня перехватило дыхание. – Можно жить, как раньше. Только мы вдвоем, ты и я. Черт, а может, купим собственный клуб? Будем работать, когда захотим, я буду петь, что захочу. И ты будешь петь, Дор. Станем опять нимфетками, только лучше. Без грязных костюмов. Без дурацкого грима. Будем петь твои песни. Мечта. Как когда мы в первый раз вышли на сцену вместе. Помнишь?

Собираясь бежать, она выбрала меня, даже если ее бегство было лишь фантазией. Если бы мы сожгли мосты, порвали бы и с «Голубой Луной», и со студией «Фокс», и с нашим американским охотником за талантами Чаком Линдси и уплыли бы домой, у нас не было денег купить клуб. Немногие в Рио решились бы нанять нас. Мы вернулись бы туда, где начинали, но мы были бы вместе.

– Я скажу мальчикам, что мы уезжаем, – объявила я.

Граса улыбнулась и отпустила меня.

В голове у меня как будто ураган поднялся. Я вскочила и одним длинным шагом оказалась у двери трейлера. Винисиус дернулся за мной, удержал за локоть.

– Дор, – зашептал он, чтобы его не услышала Граса, – день был длинным. Ты сама знаешь, что она несет, когда устанет. На самом деле она так не думает. Давайте отдохнем и завтра все обсудим. – Он

говорил отечески, словно он, единственный взрослый среди нас, понимает вещи, мне недоступные.

Я вывернулась.

– Ты ее не знаешь. И меня не знаешь.

Винисиус вздрогнул, и я испытала удовольствие. Сейчас я ранила его, как они с Грасой ранили меня своими шуточками на двоих, своим особым языком прикосновений и взглядов.

В дверь трейлера постучали. Я открыла, передо мной стоял режиссер.

– Ну, как наша девочка? – улыбаясь, спросил он.

Бросив быстрый взгляд на Грасу, он убедился, что она еще одета, и без стеснения шагнул внутрь. За ним следовал человек из массовки, он же переводчик, глаз он не поднимал.

Граса схватила платок и вытерла глаза. Нос был красным, помада размазалась. В трейлере пахло рвотой.

– Прошу прощения за свою группу, София. – Режиссер говорил очень медленно. Артист из массовки, не отрывая взгляда от пола, повторил слова режиссера по-испански. – Мне жаль, что вы так расстроились, – продолжал режиссер. – Я тоже. Мне чертовски неловко, но сцену придется повторить. Она вышла лучше, чем я рассчитывал. Я позову гримершу, и вы снова станете краше всех. И что, если оставить сережку болтаться? Вы сможете сделать, чтобы она снова упала вам в платье? Это было уморительно.

Граса сглотнула. Я перевела слова человека из массовки с испанского. *Ему понравилось. Он хочет, чтобы ты осталась и повторила сцену.* Но Граса, наверное, и так поняла. Она взглянула мимо меня, на режиссера, и просияла своей самой широкой улыбкой.

– Отлично, – сказал режиссер. – Занук был прав насчет вас: вы всех затмите. Та еще штучка!

Шутка – это способ овладеть языком. Нужно чувствовать ритм и обладать беглостью хорошего музыканта. Мы с ребятами способны были шутить лишь на родном языке. Когда переезжаешь в чужие места, ты или замыкаешься в себе, становясь (снаружи, по крайней мере) молчаливым, напряженным слушателем, или устраиваешь шоу из своих ошибок, гордо бравируя ими. И то и другое – попытка не травмировать людей своей инаковостью. Выбираешь первое –

выбираешь, чтобы люди тебя не помнили. Выбираешь второе – делаешь себя шоуменом. Какой выбор был у Грасы?

Эпизод, где София Салвадор подает реплики, сняли еще раз, но теперь Граса вела себя преувеличенно: чаще взмахивала руками, больше надувала губы, шире округляла глаза. Когда режиссер крикнул «Снято!», оператор, осветители, звукоинженеры захлопали и засвистели. Граса улыбнулась, коротко поклонилась, а затем запечатлела на щеке режиссера поцелуй, оставив красный отпечаток губ – так, чтобы все видели. Ее недавний стыд и отчаянные планы бегства были уже забыты – и я вместе с ними.

Не сказав ни слова ни Грасе, ни ребятам, я дохромала до ворот студии и вызвала такси до «Плазы».

Бар в нашем отеле был, как я вскоре поняла, местом притяжения для безымянных актеров массовки и старлеток. На съемочной площадке таких девиц называли Дурашка Дора. Эти нимфы каждое утро десятками наводняли «Фокс», «Метро Голдвин Майер», «Уорнер Бразерс» и другие крупные студии, чтобы играть гардеробщиц, соседок, безымянных посетительниц клуба и прочие роли без слов, для которых требовалась хорошенькая мордашка. Одни Дурашки Доры были высокими, другие – малютками. Одни закалывали каштановую гриву вверх, по последней моде, волосы других были высветлены до белизны. И все как одна безупречны: тщательно нарисованные брови, сливочная, без веснушек, кожа, пышная грудь, осиная талия.

Я успела опрокинуть в баре «Плазы» три стакана, а потом какая-то Дора попросила у меня сигарету. Невысокая, темно-русые волосы спадают ухоженными волнами – как у Грасы до того, как она коротко остриглась. Рост и телосложение как у Грасы, а платье сидело так тесно, что казалось купальным костюмом, к которому пришита юбка. Она заметила, что я люблю ее, и улыбнулась, явив милую щербинку между передними зубами. Я представила себе, как провожу языком по ее зубам и проникаю в эту щербинку. Девушка была из какого-то западного штата – я о нем не слышала, пока она его не назвала: Монтана, Вайоминг? Через ее родной город можно было проехать и не заметить его. Она сама мне так сказала – медленно и помогая себе жестами. Девушка понравилась мне, потому что происходила из ничего, из ниоткуда и, кажется, не смущалась этим. Ее имя прозвучало

для меня как название ее родного городишки – что-то пустынное, зернистое, простое.

– Сэнди, – прошептала я.

Она поглядела на меня и улыбнулась:

– Как мне нравится твой акцент.

Через час мы уже были в моем номере размером с обувную коробку. В окно светили фонари гостиничного дворика, вырезая желтый квадрат на ковре. Темно-русые волосы Сэнди мягкими волнами падали ей на плечи. Хрупкая, а ноги сильные. От нее пахло дрожжами и чем-то сладким, как от только что вынутого из печи кекса. Сэнди долго-долго смотрела на меня, изучая мои глаза. Я не могла понять, произвела я на нее впечатление или у нее какая-то задняя мысль, и решила дать ей возможность отступить, если ей этого захочется.

– Если нас увидит кто-нибудь со студии, – начала я, и слова были у меня во рту, словно галька, – ты потеряешь работу. А я... Для моей подруги тоже не будет ничего хорошего... Софии Салвадор.

– Да ну. – Сэнди улыбнулась. – Студиям наплевать, что мы делаем за закрытыми дверями. Девушки вроде нас могут отлично проводить время вместе. Нам только среди бела дня нельзя делать что-нибудь ужасное – например, держаться за руки. Но сейчас мне не хочется держаться за руки. А тебе?

Я не ответила.

Рот у нее был широкий и мягкий. Я ощутила вкус воска, вкус ее губной помады, а потом, когда мы уже целовались всерьез, – вкус дыма, смешанного с мятой, как у тех красно-белых леденцов, что насыпаны в баре в особую чашу. Я представила себе, как Сэнди перекачивает такую конфету во рту, пока она не растает полностью.

Маленькие руки Сэнди скользнули мне под блузку. В номере была кровать на одного – узкая, как корабельная койка, – и мы двигались, словно стали волнами, между нами установился ритм. На ее пояске была блестящая пряжка, на спине платья – длинная молния, лиф разошелся с шорохом, как конфетный фантик. Комбинации она не носила – только полупрозрачное белье, которое я быстро сняла. Я подержала в ладонях ее лицо, потом провела вниз по шее, к груди, которая поднималась и опускалась под моими руками, потом – по бедрам и дальше, и вот она раскрылась передо мной полностью,

мягкая и сладкая, словно ломтик папайи, медленно скользнувший мне в рот.

«Понимаете ли вы, какое чудо – наши тела?» – говорила Анаис во время уроков пения. Что такое песня, учила она нас, как не сокращение мускулов в гортани? Связки влажные и оттого пластичные, они колеблются одна относительно другой не слишком быстро и не слишком медленно, не слишком жестко и не слишком мягко, но напрягаются и расслабляются ровно так, чтобы выпустить из нас на волю звук, песню.

Это был побег, хоть и мимолетный. Через час Сэнди ушла, и я снова осталась одна.

В лобби было пусто, в баре тихо. Актеры массовки и Дурашки Доры или разошлись по домам, или поднялись к себе в номера, готовиться к ранним съемкам. Я сунула бармену в лапу, он тайком выдал мне бутылку джина, и я отправилась к бассейну отеля.

На улице было холодно. Пахло эвкалиптами. В кустах стрекотали сверчки – тысячи сплетников, повторявших одну и ту же историю. Я сидела одна в темноте, опустив ноги в теплую воду бассейна, и разглядывала «Плазу», считала этажи, нашла окна наших номеров – три подряд, с коваными балкончиками. Балкончики были всего нескольких дюймов в глубину – как и многое в Лос-Анджелесе, просто для вида. Шторы в моем номере были раздвинуты. У Маленького Ноэля окна зашторены, темные. В номере Грасы и Винисиуса раздвинуты, и там горел свет. Когда они вернулись со студии?

Я поднесла бутылку ко рту и сделала большой глоток.

По ту сторону двора появился силуэт, освещенный сзади огнями лобби. Я узнала знакомую сутулость, широкие плечи, кок надо лбом. Фигура неподвижно стояла в освещенном проеме, а потом нырнула в темноту, направляясь ко мне.

– Ты что, сыщик? – спросила я.

Винисиус сел, скрестив ноги, на бетон рядом со мной.

– Я спросил в баре. И посчитал, что ты не могла далеко уйти.

Я снова уставилась на окна Грасы:

– Почему ты не там, не укладываешь ее спать?

– Впал в немилость. – Винисиус пожал плечами: – Не пытался ей угождать, как остальные.

Над бассейном горели фонари. Отсвет ложился на наши лица, голубая зыбь ходила по щекам и губам, отчего казалось, что нас насильно держат под водой.

– Я ей не угождала, – сказала я.

Винисиус засмеялся.

– Она захотела свалить отсюда – и ты тут же собрала чемоданы. Ты нас всех бросишь, если она только заикнется.

– А сам-то? Черт, да ты давно уже всех бросил.

– Хватит с меня ссор на сегодня. – Винисиус покачал головой: – Тем более с тобой.

Я протянула ему бутылку. Он сделал большой глоток и вытер рот.

– Она меня тоже из себя выводит. – Винисиус провел рукой по волосам. – Иногда мы с ней будто наказываем друг друга.

– За что?

– За то, что мы не такие, как хочется другому. Она хочет, чтобы я был как один из тех несчастных засранцев в зале. Смотрел на нее, открыв рот от восхищения.

– А ты не восхищаешься?

– Восхищаюсь, но в меру. Я хочу, чтобы она слушала меня, понимала меня, как...

Винисиус положил руку мне на колено. Внезапный жар пробежал по моим бедрам, вверх, к животу.

– Придется вам стать лучше. – Я стряхнула его руку. – Обоим.

– Прости. – Винисиус сконфузился.

– Толку от этих прощений-сожалений. Если мы хотим стать великими артистами, нам нельзя сожалеть.

– Я не хочу быть артистом.

– Тогда что мы здесь делаем? – спросила я, обводя взглядом темный дворик «Плазы». – Сегодня я спросила себя – а вдруг сеньор Пиментел был прав? Вдруг кинобизнес не для нее – или, может, она не для него? Можешь представить, что сделал бы ее дражайший папенька, если бы увидел ее с нами здесь, в Лос-Анджелесе? А в одной кровати с тобой?

– Но он ничего этого не увидит, верно? – Голос Винисиуса упал до шепота. Я едва его расслышала. – Не знаю, что с ним произошло. Но если в итоге мы вместе, то его судьба меня не заботит.

Сверчки трещали невыносимо громко. В голове вибрировало.

– Кто – мы? – спросила я. – Глупый вопрос, да? Ты даже не хочешь больше писать песни. Столько дней прошло – я все ждала, ждала... – Я сглотнула, пытаюсь унять дрожь в голосе. – Думаешь, можно просто не обращать внимания? Думаешь, можно снова и снова отодвигать музыку в сторону, как будто она ничего не значит? Она не станет ждать тебя вечно. Не сможет.

Винисиус долго смотрел на бассейн, потом перевел взгляд на меня.

– Подожди здесь, – велел он.

Он сбегал в отель и вернулся через пять минут с гитарой и запасными агого Кухни. Продолговатые колокольчики, один больше, один меньше, были сварены вместе и напоминали окаменевшие фрукты на ветке.

– Вот, – сказал Винисиус, вручая мне колокольчики и палочку.

– Кухне не понравится, что я их трогаю.

– Да ну? Кухня только рад будет, если какая-нибудь девчонка потеряет его агого.

Я рассмеялась – в первый раз за день.

– Хочешь, съезжу в «Дунбар», украду у Буниту его куику? – улыбаясь, предложил Винисиус. – Ты будешь ее тереть, а она – стонать.

– Да ну тебя. Главное – держи подальше от меня кабакиню Худышки.

– Инструмент небольшой, но могучий.

И мало-помалу инструменты ребят зажили собственной жизнью. А потом Винисиус напел несколько звуков, а я наполовину запела, наполовину зашептала.

Самба, ты была моей когда-то.
О, как хорошо нам вместе пелось!
Я держала гриф твоей гитары,
Колокольчики агого нам звенели.

Иногда Винисиус подбирал идеальную ноту, идеальный ритм для моих слов, и тогда я ощущала, как тепло охватывает шею и ползет вниз, по спине. Мы работали в унисон, кивая друг другу, не зная, какой

звук или слово будет следующим, но ожидая их с дрожью восторга. Иногда проскакивали банальная строка или фальшивая нота, и мы с Винисиусом смеялись над своей неуклюжестью. Но вскоре уже не останавливались, не смеялись, не нарушали ритм. Между нами воцарилось доверие. Если Виинсиус хотел двигаться мягче, я давала ему эту мягкость. Если я хотела медленнее, он подавался мне медленнее. Не было ни заминок, ни опасливого ожидания. Мы двигались вперед с безупречной синхронностью, мы кончили одновременно. Настала тишина.

Окно Грасы, выходявшее на бассейн, теперь было открыто. Номер еще освещен, но ни теней, ни движения. Когда Граса подняла окно? Сколько успела услышать? Я испытала радость при мысли, что она слышала нас, и одновременно – странный укол страха: неужели ничто и никогда не будет только моим? Неужели если одна из нас обретет, то другой суждено потерять?

На следующее утро нас отвели в административное здание, где мы последовали за какой-то дородной дамой по лабиринту коридоров. Наконец мы оказались возле двух высоких деревянных дверей. За ними распласталась на полу львиная шкура. Войдя, мы увидели оскаленную пасть зверя, пустые желтые глаза. Вокруг ковра стояли невероятных размеров кожаные кресла и диван – широкий, как кровать.

Стены кабинета были завешены фотографиями в рамках. Я узнала знакомые лица, все – рядом с одним и тем же человеком. Тот же самый человек стоял сейчас перед нами во плоти: невысокий, усатый, щербатая улыбка. В руках он держал длинную деревянную клюшку. (Клюшка, как я потом узнала, была для игры в поло – мистер Занук любил эту игру почти так же сильно, как кино.) За спиной у него стоял высокий мужчина, чья красота казалась почти неестественной, как будто его произвели на киностудии фабричным способом. Кожа цвета молочного ириса блестела; темные, глубоко посаженные глаза были грустными, словно он постоянно печалился о ком-то. Я видела афиши с его изображением по всей киностудии – Рамон Ромеро, сердцеед, всегда игравший вторую скрипку в фильмах, где царил какой-нибудь более молодой, более белокожий, более известный актер из списка «Фокс». Ромеро кивком поздоровался.

Глаза Занука внимательно рассматривали Грасу – прошлись по ногам от ступней до бедер, по груди и остановились на лице. В этом осмотре не было ничего похотливого. Я представила, как Занук так же оценивает лошадь для игры в поло: изучает окрас, стати, мускулатуру.

– Рамон! – позвал Занук. – Скажи мисс Салвадор, что она просто сразила всех в «Прощай, Буэнос-Айрес». Вчера поздно вечером я смотрел отснятый материал – вы чуть из экрана не выпрыгивали, милая! – Кончик розового языка мелькнул между зубами.

Рамон услужливо перевел слова руководителя студии на испанский.

– Дайте-ка мне послушать португальский, – распорядился Занук.

Рамон вздохнул и повторил его желание.

Граса взглянула на меня:

– Что ему сказать?

Она заговорила со мной в первый раз после того вечера в трейлере, когда она набросала сюжет нашей новой жизни и тут же отправила его в мусорную корзину.

– Расскажи, как мы ехали сюда, – предложила я.

Граса кивнула и пустилась перечислять по-португальски все роскошества «Уругвая». Занук, улыбаясь, сел в кресло.

– Великолепно! – прервал он. – Да, мисс Салвадор, я не собираюсь проворачивать вас на фарш.

Я встревоженно взглянула на Рамона:

– Он хочет, чтобы она ела мясо?

Рамон рассмеялся, но, прежде чем он успел объяснить, Занук продолжил, не обращая на нас внимания:

– Вы не как все. Тут на каждой студии толпы роскошных Лупит и Долорес. Людям они, конечно, нравятся. Но вы ни на кого не похожи – такая стрижка, такой рот... Вы смешная – настоящая комедийная актриса.

Рамон заговорил. Занук отпил из стакана и вдруг воскликнул:

– Фотографию!

Секретарша выбежала из кабинета и вернулась, неся портативную фотокамеру. Занук выбрался из громадного кресла.

– Ну давайте, – скомандовал он. – Не стесняйтесь.

Мы двинулись к Зануку, но он выставил вперед короткопалую ручку:

– Только София.

Перевод нам не понадобился. Ребята глянули на меня, потом друг на друга. Граса встала рядом с Зануком, тот обхватил ее за талию и улыбнулся. Щелчок, вспышка – и на мгновение Граса растворилась в ярком свете.

Говорят, я теперь гринга

Говорят, я теперь гринга!
Карманы от денег лопаются,
На каждом пальце – по брильянту!

Говорят, я весь день танцую —
Мне с людьми и поговорить-то некогда.
Куика стонет для меня впустую —
Я ритм теряю, не то что некогда.

Потому что я теперь гринга.
Карманы от денег лопаются,
На каждом пальце – по брильянту!

Говорят, я выкрасила волосы желтым,
Кокосового молока мне уж не надо.
Что встречаюсь с богатыми шалопаями только,
А счета подписываю губной помадой.

Потому что я теперь гринга.
Карманы от денег лопаются,
На каждом пальце – по брильянту!

Зачем меня так исковеркали?
Зачем эта злобная жижа?
Когда я стою одна перед зеркалом,
Я только Бразилию вижу.

Никогда я не буду грингой,
Я останусь девчонкой из Лапы,
Что поет, беспечная, самбу. Не брильянтов – мне
самбу надо.

* * *

Когда я служила на кухне, я думала, что слава – это голос из радио: ты безымянная, ты лишена лица, но тебя слышат. В Лапе слава означала быть известной, а быть известной означало быть любимой. В «Урке» слава имела отношение не к любви, а к фантазии: ты – это не ты, а образ, который создаешь на сцене. В Голливуде я узнала, что все мои прежние представления ошибочны.

Слава – это вожделение. Не твое, а зрителей. Звезда – это не больше и не меньше, чем частное желание, явленное во многих.

Самые крупные звезды, вроде удачливых диктаторов, реализуют великое множество наших желаний. Они всепрощающие родители, близкие друзья, страстные любовники, братья и сестры, что всегда за нас, строгие учителя и внушающие страх оппоненты. Они все, к чему мы стремимся, и иногда – все, что мы презираем. Из множества талантов Грасы этот был ее величайшим – или самым опасным, в зависимости от того, как посмотреть. Она угадывала, чего хотят зрители, и переплавляла себя в предмет их желаний.

Для рабочих плантации она была хозяйской дочкой, которая выступала перед самыми бедными и бесправными, позволяя им думать, что она находится в их власти, а не наоборот. У Коротышки Тони она была нимфеткой, и нимфеточного в ней было не дурацкий костюм и хвостики, а нервная улыбка и страстная непорочность голоса. Исполнительница самбы в Лапе, Граса стала дочерью улицы, школьницей со жвачкой во рту, и ее принялись копировать прочие. Став Софией Салвадор, она нутром угадала, что Рио требовалось нечто особенное и опасное, только не реальность, поэтому она стала байяной на грани дозволенного: тяжелые украшения, спадающие с плеч блузы, мелькающие в разрезе юбки обнаженные ноги и пение с горловым рыком, словно она вот-вот потеряет сознание. В Голливуде в годы войны Граса стала Бразильской Бомбой – не женщиной, не ребенком, а комбинацией того и другого, сплавом феи и чертенка, испорченное и смешное создание из иного мира – мира «Техниколор».

Скажу так тем, кто не видел ее фильмов: если в Рио София Салвадор была плотком тростникового рома – сладкого, но крепкого

настолько, что от него могло остановиться сердце, – то София Салвадор голливудского образца была бокалом шампанского.

Нет. Неверно. Не шампанского. Она была шипучкой.

Во время войны американцы ходили в кино, чтобы забыть о бомбардировке Перл-Харбора и боях в Европе и Японии. Придя в кинотеатр, они могли девяносто минут не думать о продуктовых пайках, словно у них достаточно мяса и сахара, чтобы дотянуть до конца месяца. Они могли нежиться в свете гигантского киноэкрана, забыв, что пляжи Лос-Анджелеса обнесены колючей проволокой, что их без устали патрулирует Береговая гвардия, высматривая японские подводные лодки. Окруженные смертью и неопределенностью, американцы стремились к побегу. А кто помог бы им в этом лучше, чем София Салвадор и «Голубая Луна»?

После нашего первого фильма Занук распорядился, чтобы Гресе и ребятам из «Голубой Луны» отбелили зубы, сделали стрижки, выщипали брови и назначили регулярный массаж лица. Дерматолог из клиники «Фокс» прописал Гресе «лечение ультрафиолетом»: сжечь слой кожи, чтобы избавиться от веснушек. Там же провели болезненную процедуру вдоль линии роста волос, чтобы приподнять брови. Целую неделю Греса пряталась в их с Винисиусом номере с красным лицом и лбом в кровавых корках. Студийный доктор щедро снабжал ее обезболивающим, а также «голубым ангелом» и амфетамином. Первое вырубало тебя на ночь, а второе взбадривало перед долгими съемками и бесконечными многочасовыми кинопробами, когда следовало убедиться, что каждый стежок на костюме выглядит в кадре безукоризненно.

График у Софии Салвадор и «Голубой Луны» был изнурительным, музыкальные комедии снимали каждые три месяца: «Рядовая Ширли едет в Рио», «Просто куколка!», «Джи Ай любит Уай», «Мексиканское танго» и многое другое. Из-за однообразия сюжетов теперь трудно вспомнить, где именно снималась Греса: то американка отправляется на юг, в другую страну, то на военную базу, выступать перед солдатами, и начинается кутерьма. Из-за ограничений на расход электричества дневное время стало особенно ценным, поэтому съемки длились с шести утра до заката семь дней в неделю. Дни растворялись, превращаясь в череду выездов на съемочную площадку на рассвете, четырнадцатичасовых съемок, репетиций,

примерок и рекламных мероприятий, а топливом служил бесконечный поток «голубого ангела» и амфетамина. Прошло пять лет, а мы могли по пальцам одной руки пересчитать роды, на которых играли все вместе.

С каждым следующим фильмом изображение Софии Салвадор на афишах становилось все больше, а реплики, которые она должна была произносить, все длиннее, но ни в одном фильме она не стала героиней; у нее были музыкальные номера – два, максимум три. Все мы теперь понимали и говорили по-английски, но с запоминанием сценариев у Грасы была беда. Она часто произносила реплики неправильно.

«Она – моя злейшая наперсница», – говорила она в одном фильме. «Я сделала это скрипя сердцем», – в другом.

Когда Граса пыталась исправиться, режиссеры умоляли ее продолжать.

Занук являлся на каждую съемочную площадку. Он распорядился, чтобы режиссеры записывали песенно-танцевальные номера Софии Салвадор одним дублем, непрерывно.

– Если Салвадор начала петь, не прерывайте ее! – требовал Занук. – Не надо кадров из зрительного зала. Не надо реакции. Не надо крупных планов. Снимайте ее в полный рост, и мне наплевать, пусть хоть десять минут это длится.

Некоторые музыкальные номера шли по пятнадцать минут, а так как Занус приказал не прерывать Софию Салвадор, то если Граса или мальчики делали одну-единственную ошибку, им приходилось начинать все заново. Благодаря этому они повторяли каждый номер по столько раз, что в качестве шутки могли исполнить его с завязанными глазами перед съемочной группой и операторами. Граса могла по жару на лице определить, где находится камера и должна ли она повернуть голову хоть на несколько сантиметров, чтобы картинка вышла получше.

В первом фильме ребята снимались в своих собственных черных смокингах, но потом «Фокс» заказала разноцветные: ярко-желтые, голубые, фиолетовые и оранжевые, чтобы они сочетались с платьями Софии Салвадор. С каждым фильмом безумных расцветок и блесток становилось все больше, и в конце концов байяна, которую мы создали в Рио, стала всего лишь тенью, призраком в оборках и блузах с

открытыми плечами. Наряды Софии Салвадор всегда открывали широкую полоску кожи на животе. Разрезы на юбках стали такими высокими и широкими, что Грасе приходилось надевать трусики в цвет. Она продолжала красить волосы в черный и коротко стричься – стиль столь авангардный, что понадобилось полных три десятилетия, чтобы его стали повторять женщины на улицах. В ушах у Софии Салвадор болтались громадные украшения самых невообразимых форм: дельфины, колибри и бабочки, яблоки, клубничины.

Она стала лицом мыла «Люкс» и кольдкрема «Пондс». «Бразильская Бомба никогда не отдыхает, – восклицала реклама, – но даже эта девушка-торпеда останавливается, чтобы смазать лицо кремом “Пондс”!» Репортеры из «Фотоплей» и «Сильвер Скрин» охотились за Софией Салвадор, мечтая взять интервью. В журналах она появлялась на вкладке, которую можно было вынуть и приколоть над койкой в солдатской казарме. На одной такой вкладке София снялась в бикини, ее груди прикрывали два больших ананаса, расшитых блестками. На другой она раскинулась на постели из бананов. Когда София Салвадор и «Голубая Луна» выступали в Голливудском солдатском клубе, солдаты аплодировали стоя.

Несмотря на то, что Граса и Винисиус все еще были парой, «Фокс» отправляла таблоидам «честные» снимки, на которых София Салвадор флиртует со звездами типа Рамона Ромеро или Тайрона Пауэра. Студия оплачивала одежду, обувь и бижутерию Софии Салвадор. Во время ланчей и обеденных перерывов Граса требовала, чтобы омаров с маслом и картофель фри доставляли ей в трейлер, и «Фокс» пошла на это. В конце концов, нам ведь все равно не разрешалось сидеть за одним столом в студийном кафетерии «Париж». А так как Бразильскую Бомбу запрещалось фотографировать садящейся в такси и выходящей из него, студия выделила ей и «Голубой Луне» для ежедневного пользования красный «десото» с откидным верхом. Для студии это была обычная практика – рассматривать начинающих актрис как дорогих скаковых лошадей: баловать их, кормить, холить и ожидать, что они будут приносить деньги, пока не выдохнутся.

Я говорю о нашем «изнурительном расписании», вполне сознавая, что пока мы страдали от мучительных примерок и репетиций танцевальных номеров, за океаном люди сражались и умирали, а

в самом Лос-Анджелесе легионы женщин, мексиканцев и горожан, чья кожа была темнее, чем считалось в то время приемлемым, строили самолеты, производили бомбы и месили в чанах синтетическую резину. Летом 1943 года жара и дым заводов накрывали Лос-Анджелес, как крышка кипящую кастрюлю. А мы были заперты в этой кастрюле.

Толпы белых матросов шатались по центру Лос-Анджелеса в поисках ребят с мексиканской внешностью, чтобы избить их до полусмерти, и один ассистент со студии посоветовал «лунным» ребятам не появляться в городских клубах. К тому времени мы уже жили в доме на пустынной улице, по которой изредка медленно ползли трамваи из Сан-Фернандо. Там имелись бассейн размером с оперную сцену и достаточно спален, чтобы разместить футбольную команду. Соседей у нас было не много, и никому не было дела до присутствия таких, как Кухня, Худышка, Банан, Буниту и я, – в конце концов, темнокожая прислуга имелаась во многих домах Лос-Анджелеса, – и мы жили, как хотели. К тому времени Бразилия уже чудилась нам местом из фильма, родина сохранилась в наших воспоминаниях нетронутой, не задетой переменами. Она была нашим талисманом, она оберегала нас от разочарования и усталости. Она была фотокарточкой, которую мы носили в кармане. Нашим десантным люком, благодаря которому мы думали, что Голливуд – это временное приключение, а его правила, бунты, иерархия, которые заставляют нас страдать, ненадолго. Мы настолько привыкли к кинолжи, что сами начали верить в нее.

Голливуд, как оказалось, был не родой, к которой всегда можно присоединиться. Он был громадным господским домом. В нем нам предоставляли – на время – терпимость и роскошь, но дом этот был не наш, и мы не были гостями. Не были мы в нем и слугами, потому что эти роли были закреплены за местными. Нет, нас купили и держали тут с единственной целью – развлекать жителей, как граммофон, радио или пианино в салоне; нас посадили сюда для забавы, чтобы создать хорошее настроение, чтобы мы трудились без усталости и жалоб, а когда нас не использовали, нам полагалось сидеть тихо, как будто нас нет вовсе.

Говорят, я теперь гринга

Единственный сценический костюм Софии Салвадор, который я не оставила у себя, хранится в стеклянной витрине городского музея Рио. Это расшитое золотыми блестками платье – не из фильма, а то, в котором она была на церемонии в Китайском театре Граумана. В витрине есть фотография: София Салвадор стоит на коленях, руки вжаты в сырой бетон, вокруг нее смеется толпа мужчин. В бетоне руки Грасы кажутся маленькими, почти детскими, а ноги – едва ли шестого размера. Музей Рио называет тот день триумфом: София Салвадор – единственная бразильянка, чьи отпечатки рук и ног впечатаны в тротуар у легендарного голливудского кинотеатра, рядом с отпечатками Кларка Гейбла и Джинджер Роджерс. Когда я думаю о той церемонии, я не вижу триумфа. Я вижу начало распада.

Шел 1945 год, война близилась к концу, хотя мы об этом еще не знали. Поклонники и фотографы правдами и неправдами занимали места у Китайского театра Сида Граумана. (Я потом узнала, что «Фокс» наняла поклонников для церемонии. Студия знала, что публики будет немного. Дорогие музыкальные фильмы понемногу сдавали позиции детективам, более дешевым в производстве. Этой церемонией на Аллее славы руководство студии хотело привлечь внимание публики на последний фильм с участием Софии Салвадор, не тратясь на рекламу.) На некотором расстоянии от загончика для поклонников размещались места для почетных гостей, а также небольшая сцена с микрофоном, а в центре, огороженные бархатной лентой, лежали две пластины сырого бетона.

Оркестр заиграл быстрое переложение «Люблю, люблю тебя», песни из последнего фильма с Софией Салвадор. Потом появилась она сама в сопровождении Рамона Ромеро и Сида Граумана – словно двое полицейских конвоировали подозреваемую. На ней была шифоновая юбка и короткая кофточка, расшитая таким количеством золотых блесток, что походила на доспехи. София Салвадор улыбалась. Защелкали затворы, зашипели фотовспышки. Я прикрыла глаза рукой. Когда вспышки прекратились, оставив после себя дым, Граса качнулась. Сид Грауман подхватил ее под локоть, не позволив упасть на влажный бетон.

– Уймись! – рявкнул он репортерам.

Граса только что вернулась из своей десятой поездки в Палм-Спрингс, куда «Фокс» отправляла ее, как это называлось, поправить здоровье. Из-за рациона Грасы в Лос-Анджелесе – алкоголь, омары и картофель фри – костюмерам «Фокс» трудно было впихнуть ее в облегающие лифы и узкие юбки. Каждый визит Грасы в это курортное место продолжался две недели, и возвращалась она исхудавшая и с пустыми глазами. Тамошние жестокосердые медсестры сажали ее на суп и грейпфрутовый сок и заставляли носить резиновый костюм, чтобы лишние пятнадцать фунтов вышли с потом. Наверное, Граса могла бы упереться и не ездить туда, но упрямство одержало победу над здравым смыслом: каждый такой визит Граса рассматривала как вызов. «Стервы! – свирепо улыбалась она. – Они-то думали, что я не смогу. Но к концу – нате-обосритесь, двадцать фунтов исчезло».

Сид Грауман придвинулся к возвышению и принялся читать одобренную студией речь, посвященную Софии Салвадор и пересыпанную словами вроде «чертовщина», «изюминка» и «очуметь». Винисиус, сидевший рядом со мной, вздохнул. Кухня посмотрел на часы. Банан чавкнул жвачкой.

Когда Грауман закончил, София Салвадор выступила вперед и встала своими платформами на сырой цемент. Потом наклонилась и прижала к цементу маленькие ладони. Грауман протянул ей что-то похожее на золотую палочку. Граса написала на цементе:

*Сиду,
Вива Голливуд!
С любовью,
Бразильская Бомба, София Салвадор*

Толпа послушно разразилась криками восторга. Потом началась пресс-конференция – как минимум десятков репортеров желали поговорить.

– Мисс Салвадор! – выкрикнул один. – Напомните солдатам, что вам больше всего нравится в США?

– Хот-доги. Мятый кар-тоу-фий. И-и-и... конечно... мужчинос!

По толпе волной прокатился смех. Винисиус заерзал. Прозвучал второй вопрос:

– Что вы чувствуете, став частью истории Голливуда?

София прижала руку к своей расшитой блестками груди:

– Что мне сказать? Это честь, большая. Кто я? Девочка из Бразилии. А вы обнимаете меня, и я чувствую себя особенной. Очень любимой. – Голос Грасы дрогнул. Она сглотнула и добавила: – Это все, о чем я мечтала.

– София! – раздался голос из толпы журналистов. – Найдутся ли у вас слова для Бразилии?

Акцент у журналиста звучал как мой собственный, как акцент «лунных» мальчиков и прочих бразильцев, которых мы встречали в Штатах.

– Кто вы? – спросила София Салвадор, всматриваясь в толпу репортеров.

Поднялась рука. Я не увидела лица репортера. Ему, наверное, было не больше двадцати.

– Я с радио «Майринк», – прокричал он по-португальски.

– С удовольствием отвечу на ваш вопрос. – София перешла на португальский: – Мои дорогие, самые дорогие мои бразильские братья и сестры. Я говорю с вами из Китайского театра, что в Голливуде, здесь я оставила в цементе свои скромные отпечатки. Это один из самых счастливых дней в моей жизни. В эту минуту я думаю только о вас, мои оставшиеся дома поклонники и друзья, мой любимый, любимый Рио. Вы всегда в моем сердце. Храни вас Господь. Надеюсь, Он поможет мне и ребятам из «Голубой Луны» когда-нибудь – очень скоро – вернуться к вам.

Худышка склонил голову, словно молился. Маленький Ноэль кивнул.

– Вы и правда хотите вернуться в Бразилию?

– Ну разумеется! Почему бы мне туда не вернуться?

– Потому что вы стали американкой, – ответил репортер.

Улыбка Грасы исчезла.

– Мы все американцы: Северная Америка, Южная Америка.

– Почему вы позволяете американской прессе называть вас аргентинкой или мексиканкой? Стыдитесь напомнить им, что вы бразильянка?

– Конечно, нет! Я бразильянка и ею останусь. Не моя вина, что американские журналисты не знают географии.

– Значит, вы говорите, что американцы знать ничего не хотят про бразильцев, хотя мы – среди их самых крупных военных союзников? Вы утверждаете, что США не ценят ни Бразилию, ни жертвы, которые она приносит?

Граса открыла рот, но не издала ни звука. Она сделала глубокий вдох и начала снова:

– Нет. Я не это хотела сказать...

– Что вы скажете в Бразилии людям, которые объявили бойкот фильмам с вашим участием?

– Бойкот?

Репортер кивнул.

– Говорят, вы теперь гринга.

Граса перевела взгляд на Сида Граумана, но владелец театра не понимал, о чем вопрос.

Ко мне наклонился Чак Линдси, наш агент:

– Что он говорит?

– Как по-вашему, вы представляете бразильских аристократов, – продолжал репортер, – или вы и ваш бэнд, как заявляют некоторые газетные критики, – марионетки американских империалистов?

– Я... я не понимаю, о чем вы, – пролепетала Граса.

Я вдруг обнаружила, что вскочила. Люди, сидевшие рядом, оказались далеко внизу, словно я смотрела на них с высоты.

– Ах ты сукин сын! – заорала я по-португальски. – Вон отсюда!

Винисиус и ребята тоже вскочили. Худышка разминал пальцы.

– Я имею право быть здесь, – холодно сказал молодой человек с «Майринка». – Имею право задавать вопросы.

– Он ее расстроил, – прошептала я Чаку по-английски, но это и так уже было ясно. София Салвадор побледнела. Закрыла рот рукой. Защелкали вспышки. Представитель «Фокс» проводил ее со сцены.

– Куда вы, мисс Салвадор? – выкрикнул журналист из американского таблоида.

– В дамскую комнату, – ответил Грауман. – Она расчувствовалась, услышав родную речь. Женщина, сами понимаете.

Он подал знак оркестру, и музыканты заиграли так громко, что заглушили голос журналиста с «Майринка». Я успела увидеть, как охранники спешно выводят парня.

Ребята из «Голубой Луны» покинули театр Граумана через главный вход и на студийной машине, чтобы отвлечь репортеров от Грасы, а мы удалились через заднюю дверь. Кухня, водивший среди нас лучше всех, сел за руль ярко-красной «десото», я заняла место рядом с ним. На заднем сиденье Винисиус не сводил глаз с Грасы, которая съежилась возле дверцы, тихая и настороженная, как раненое животное.

– Не хочу домой, – заявила она, вокруг глаз у нее было серо от туши и слез.

– Может, поедем куда-нибудь выпить? – Я взглянула на Кухню.

– Не хочу на люди, – ответила Граса. – Хочу просто покататься.

Прозрачной ночью мы петляли по дороге, ведущей к скоростной автостраде Лос-Анджелеса, мимо безвкусных кафе в виде гигантских сомбреро и швейцарских шале, мимо неоновых огней аптек и заведений, где подавали крем-соду. Мимо пустого участка в конце бульвара Сансет, заросшего маками, – целое поле, цветы покачивались всякий раз, как мимо проносилась машина. Исчезли фонари: мы поднимались на холмы. Лос-Анджелес раскинулся в долине под нами, город подмигивал огнями и манил к себе, словно шикарная девушка.

– Смотрите, – выдохнула Граса. – Просто волшебю.

Винисиус фыркнул:

– Золото сатаны. Тебе ли не знать.

– О чем ты? – спросила Граса.

– Это место выжимает из людей все хорошее. И остается пустая кожа.

– Значит, я – пустая кожа? – спросила Граса. – Ты говоришь, как тот лживый *filho da puta*^[33] с «Майринка».

– А вдруг он не лжет, – сказал Винисиус. – Вдруг люди нас и правда ненавидят. Я бы не удивился.

– Да с чего им нас ненавидеть? – спросила Граса.

– Вот эти твои «кар-тоу-фий» и «мужчинос» – думаешь, смешно? Думаешь, это оценят по достоинству?

– Я певица, а не училка английского, – огрызнулась Граса. – Посмотрела бы я, как ты стоишь перед сотней людей и говоришь с ними на языке, которого толком не знаешь. Кишка тонка.

«Десото» грохотал и взреывал на извилистых дорогах. Кухня покосился на меня. Я повернулась к Грасе и Винисиусу и сказала:

– Кроме ребят из «Голубой Луны» в этой стране полно людей, с которыми можно подраться. Давайте постараемся не поубивать друг друга.

На голове у Грасы творилось черт знает что. Серьги куда-то делись. Нижняя губа дрожала.

– Он хочет, чтобы я ходила вся насупленная. Хочет, чтобы я была серьезной, как ты. Да если бы я ходила с таким лицом, мы бы отплыли назад в Бразилию после первого же фильма.

– Может, было бы и к лучшему, – заметил Винисиус. – Теперь-то мы туда и сунуться не можем.

Граса покачала головой. Расшитый блестками лиф выглядел в темноте тяжелой броней.

– Тебе легко жаловаться, да? – почти прошептала Граса. – Сидеть в заднем ряду и судить меня за то, что я унижаюсь, за то, что у меня слишком много энергии, что у меня недостаточно энергии, что я слишком самба или что я вообще не самба. Но не все думают так же. Я не хочу никого разочаровать. И некоторые люди любят меня по-настоящему. Я читаю письма поклонников. Вижу солдат в солдатском клубе. Я помогаю им. Я делаю людей счастливее, я развлекаю их. Может, моя музыка отличается от вашей. Но музыка – не ваша собственность. У вас нет права судить, что настоящее, а что нет. А я завтра поеду в посольство Бразилии и попрошу консула дать мне все до единой чертовой газеты, за все время, что мы здесь. Я намерена прочитать все обзоры. Все, до последней строчки.

По воскресеньям студии бывали закрыты, но наш дом на Бедфорд-драйв гудел, как съемочная площадка. Гостившие у нас пилоты бразильских ВВС играли в волейбол. Музыканты, с которыми мы познакомились в «Плавучем театре» и «Коричневой бутылке», частенько заглядывали поплавать, а потом устраивали джем-сейшн у бассейна. В тени навеса сердцеед Рамон Ромеро и его бойфренд Слифтон играли в карты с Кухней. Бледные моли, служившие секретаршами на студии «Дисней», устраивались у бассейна, хохоча шуткам Худышки и изо всех сил делая вид, что не обращают внимания на немногочисленных Дурашек Дор, миленьких актрис массовки, – эти принимали солнечные ванны на лужайке, не отваживаясь лезть в бассейн. Доры полагали, что даже просто появиться на вечеринке в

нашем доме уже рискованно. В Лос-Анджелесе люди старались держаться себе подобных, но двери дома на Бедфорд-драйв были открыты для всех: для черных, белых, красных, коричневых, богатых, бедных, мужчин, женщин и всех, кто между. Мы предъявляли своим гостям лишь одно требование: ты либо со всеми нами – либо ни с кем вообще.

София Салвадор получала только двести долларов в неделю, ребята зарабатывали по пятьдесят. Гроши по сравнению с ее заработками в казино и кабаре, но никто и не говорил, что в Голливуде все по-честному. Если бы не рекламные контракты Софии Салвадор на мыло «Люкс» и крем «Пондс» – контракты, которые я вытянула из Чака, заявляясь каждый день к нему в контору с ворохом дамских журналов и вопрошая, почему София Салвадор не может рекламировать косметику, – мы бы попросту голодали.

За аренду нашего дома на Бедфорд-драйв мы выкладывали целое состояние, хотя по голливудским меркам это был совсем не дворец, и к тому же в стороне от проезжей дороги. Очень немногие сдавали жилье «смешанным группам» вроде нашей, и мы платили за привилегию жить вместе. Наши ограниченные финансы не мешали Гресе и ребятам заказывать по шестьдесят фунтов стейков еженедельно, их доставляли прямо к нашей задней двери – для воскресных вечеринок. Из магазина спиртного каждую неделю привозили десять ящиков лучшего джина, виски и тоника. Из зеленой лавки присылали ящики с лаймами, апельсинами и клубникой. Местные аптекари доставляли – как конфеты – пузырьки «голубого ангела» и амфетамин, прописанные студийным врачом. Пачками сигарет Граса наполняла чаши для пунша, которые к концу дня всегда оказывались пустыми. Она даже велела мне заказать маленькие пластмассовые мундштуки с золотой надписью «Украдено из дома Софии Салвадор».

В воскресенье, последовавшее за злополучной церемонией у Граумана, бразильский консул, генерал Рауль Бопп, и его жена сидели у нас под полосатыми зонтиками и пили джин с тоником. В знак признательности за приглашение консул привез из посольства стопку бразильских газет. Некоторые были изданиями Льва, в которых явно поковырялись цензоры президента Жеже. Другие – подпольными

газетами из Сан-Паулу, они жаловались на ползучую военную инфляцию и принудительный национализм Жеже.

Сидя в шезлонге у бассейна, я читала газеты, обмирая от восторга при виде знакомых глаголов и многосложных прилагательных, от скорости и легкости, с которой я их понимала. Португальский язык был как прохладная вода в жаркий день. Я читали заголовки, прогнозы погоды, некрологи, рекламы – кольдкрем, витамины... новости поинтереснее я зачитывала вслух мальчикам и Грасе, устроившимся в шезлонгах вокруг меня.

– Казино национализированы. Все служащие должны доказать, что они коренные бразильцы.

– И как они это сделают? – спросил Винисиус. – Старик Жеже будет брать кровь на бразильскость?

Мальчики засмеялись. Я читала дальше. По распоряжению Жетулиу ввели восьмичасовой рабочий день. Жетулиу согласен на настоящие выборы, но только после войны. Соединенные Штаты и Бразилия – союзники, но это не сделало их друзьями. Годами насаждаемый Жетулиу национализм наконец пустил корни – Бразилия для бразильцев, а не для коммунистов или прихлебателей Дядюшки Сэма.

– Ну и скучища! – Граса перебралась на колени к Винисиусу. Ее рука полезла ему под рубашку. На Грасе была расшитая блестками туника, сверкавшая на солнце. Глядя на нее, хотелось прищуриться. – Переходи лучше к разделу «Искусство».

Я послушалась. И на первой же странице раздела увидела имя Софии Салвадор. Это была рецензия на фильм «Моя безумная секретарша», который наконец продублировали на португальский и показали в Бразилии, через несколько месяцев после выхода в США. Я пробежала глазами первые фразы.

Что же сделал Голливуд с нашей прекрасной исполнительницей народных песен? Она превратилась в расшитый блестками кошмар. Ее песни и близко не самба.

– В чем дело? – спросила Граса.

– Ни в чем. – Я быстро сложила газету.

– Тогда почему у тебя такой вид, будто кто-то только что умер?

– Давайте выпьем, пообщаемся с гостями. Может, потом прошвырнемся по магазинам?

Глаза у Грасы сузились:

– С каких это пор ты хочешь, чтобы я транжирила деньги? Читай!

– Нет.

Я не успела сунуть газету под мышку и встать: Граса потянулась и выхватила газету у меня из рук. Раскрыла на разделе «Искусство». Глаза забегали вправо-влево. Граса прерывисто, словно после бега, задышала. Газета задрожала у нее в руках.

– Что там? – спросил Винисиус.

Граса снова сунула газету мне:

– Читай!

Я замотала головой, и она ущипнула меня за подбородок, словно непослушное дитя.

– Читай вслух! Пусть тоже знают.

Я принялась читать. К середине статьи во рту пересохло, я с трудом ворочала языком.

– Громче, – велел Худышка. Он сидел, скрестив руки на голой груди, с лица исчезла вся привычная смешливость.

Ее музыканты, игравшие некогда с такой бешеной подлинностью, буквально завораживавшие слушателей, похожи сейчас в своих радужных смокингах на выводок унылых птиц. Да полно, музыканты ли они? Или тоже продали душу американскому конвейеру? В кинотеатре, где наш корреспондент смотрел «Мою безумную секретаршу», было тихо, как в церкви, даже во время так называемых комических вставок. Настоящие бразильцы не понимают шуток гринго. А мисс Салвадор?

Кухня закурил. Ноэль снял передник, поджаренные на гриле стейки истекали на тарелках кровью.

– Бешеной? – спросил Банан. – Мы что, собаки?

– Были когда-то, – сказал Маленький Ноэль. – А теперь мы унылые птицы. Даже не знаю, что хуже.

– Птицы летают, – сказала Граса, глядя на бассейн. – Птицы поют.

– Смотри какая птица, – заметил Кухня. – Некоторые не умеют ни летать, ни петь. Некоторые существуют, только чтобы их поджарили.

Несмотря на мои протесты, все принялись листать остальные газеты.

«От фильма к фильму она все хуже и хуже», – писал о «Мексиканском танго» критик из «Журналь ду Бразил».

«Чем крупнее ее серьги, – замечал другой, – тем меньше вкуса».

«Ах, если бы актерские таланты Софии Салвадор ширились с такой же скоростью, что ее талия!» – исходила ядом заметка о «Джи Ай любит Уай».

«Похоже, с нашей королевой самбы произошло то, чего не ожидал ни один ее поклонник, – постановила очередная газета. – Она превратилась в грингу».

Винисиус выхватил у меня газету и разорвал.

– Увижу этого засранца на улице – измордую, – пообещал он.

– Ты его не увидишь, – заметил Кухня, – потому что мы не едем домой. Мы теперь и тут, и там мальчики для битья. И девочки.

– *Это я-то* превратилась в грингу? – спросила Граса. – Вот придурки. Да они не разглядят грингу, даже если она усядется к ним на колени. Я что, такая бледная? Я хоть раз выпадала из ритма, когда танцую?

Я знала, что был только один способ заставить Грасу и парней забыть про вычитанное в газетах. Хорошая ссора.

– Ну, задница у тебя вполне жирная, – сказала я. – А тощий зад – первый признак гринги, так что не волнуйся.

Мальчики затихли. Винисиус испуганно взглянул на меня. Глаза у Грасы сузились. Она прижала руки ко рту. Я замерла.

– Плоский зад – истинное бедствие, Дор. – Граса улыбнулась. – Кому, как не тебе, об этом знать.

Винисиус позволил себе смешок. Ребята подхватили.

– Э! Проверьте, вдруг у меня обе ноги левые? – Маленький Ноэль пошевелил пальцами ног.

Кроха щелкнул пальцами:

– Так, давайте-ка, хочу проверить, способен ли я еще держать ритм.

Я вытащила из-под матраса блокнот.

– Что ты там пишешь? – спросила Граса. – Письмо редактору?

– Стихи.

Ребята сбегали за инструментами. Мы, не обращая внимания на гостей и забыв о еде, расставили стулья в круг и впервые за много месяцев начали роду. Винисиус подвинул свой стул ближе к моему. Граса устроилась рядом с ним. Винисиус заглянул в мой блокнот, пробежался по фразам, которые я успела набросать. *Я теперь гринга. Больше не в ритм. Мы все заражены бедой.*

– Я думаю, начать надо таким нетвердым звуком, как бы пьяным. Как будто это комедия, – сказал Винисиус.

Я покачала головой:

– Здесь нужна ритмичность. Это же о мести.

Винисиус кивнул:

– Тогда пусть вступает куика – резко, тянуще, чтобы стало жутко-жутко, а потом Кухня заскрежещет на реку-реку.

– Как змея, – подхватила я. – Гремучка, готовая напасть.

– Точно!

Граса отпустила металлические подлокотники.

– Ну что, поехали? Или вы так и будете чирикать весь день вдвоем?

Винисиус повернулся к ней:

– А куда спешить? Мы только начинаем.

– Нет. Это вы с Дор начинаете, – ответила Граса. – А мы дожидаемся, когда ваши светлости соизволят обратить на нас внимание.

Маленький Ноэль не поднимал глаз от своего тамборима. Остальные глядели на меня. Никто не улыбнулся.

– Приглашение на гербовой бумаге никому не требуется, – нерешительно сказал Винисиус. – Мы на роде вместе.

– Да неужели! – фыркнула Граса.

– Зачем нарываться на ссору? – спросил Винисиус. – Мы пишем эту песню, чтобы защитить тебя.

Граса, запрокинув голову, расхохоталась.

– Ах вы мои дорогие! Как жаль, что я недостаточно умна, чтобы добавить в стихи хоть строку, да хоть слово.

– Если ты хочешь петь, так пой, бога ради, – сказал Винисиус. – Никто тебя не останавливает.

– О-о, мы просто не решались прерывать вашу беседу, правда, ребята? – Голос Грасы был ледяным. – Я превратилась в грингу, а рода – в дуэт.

– Так давайте заново. – Я протянула ей блокнот: – Подбери слова сама.

Граса уронила мою старенькую книжку на землю.

– Я сама напишу слова, твои мне не нужны. Я не стану ходить вокруг да около, а начну жестко: «Говорят, я теперь гринга».

Кухня зацарапал свою реку-реку. Худышка затренькал на кавакиню. Ребята вступали один за другим, пока наконец – неуверенно, нерешительно – мы не вошли в темп.

На следующий день начинались съемки «Сеньориты Лимончиты», самого дорогого музыкального фильма студии «Фокс». Фильма, которому суждено было стать последним хитом Софии Салвадор.

«Безумный, полный жизни, самый оригинальный музыкальный фильм в истории!» – так представляла его студия «Фокс». Но у «Лимончиты» был тот же сюжет, что и у всех музыкальных комедий военных лет, киномюзиклов: все герои – артисты, а история сводится к тому, что они едут выступать перед солдатами. И снова у Софии Салвадор была роль второго плана. В мюзиклах главной всегда оказывалась блондинка. Она влюблялась, пела романтические песни, сражалась за своего мужчину. И все девушки в кинозале хотели быть этой блондинкой, но смотреть они предпочитали на Софию Салвадор. Она появлялась в каждой сцене – щипаная стрижка под мальчика, обнаженная полоса живота, массивные серьги, а руки и ноги всегда в движении.

Съемочная площадка – невыносимо тоскливое место. Даже самым большим знаменитостям приходится подолгу торчать в ожидании в темных трейлерах, а для нас с парнями ожидание удваивалось – оркестр нанимали только для музыкальных номеров, меня же не нанимали вовсе. Во время этих утомительных часов Винисиус не

отходил от Грасы ни на шаг, не спускал с нее глаз. Ноэль и братья играли в карты. Худышка соблазнял Дурашек. Кухня общался с другими музыкантами. А я сидела в трейлере Грасы и отвечала на письма ее поклонников, надписывала глянцевитые фотографии от имени Бразильской Бомбы, адресуясь к солдатам, фермерам, бухгалтерам и подросткам одинаково. В начале войны в трейлер Софии Салвадор доставляли по несколько мешков почты каждый день, но к концу войны остался всего один мешок, да и тот неполный.

Когда съемки «Лимончиты» длились уже неделю, в дверь трейлера постучали и вошел Винисиус. Одет он был в фиолетовый смокинг, на плечо закинута гитара.

– Грасы здесь нет.

– Знаю, – ответил Винисиус.

– Если вы опять поругались, не стоит тут отсиживаться. Сам знаешь, какая она становится, когда чувствует себя брошенной. Пусть лучше кто-нибудь из ребят тебя прикроет.

– Я не мальчишка, который прячется от матери. У меня мелодия в голове звучит. Никак не могу от нее избавиться.

Я обвела взглядом бесчисленных Софий Салвадор, лежавших передо мной на столе: пухлые губы изогнуты в бесовской улыбке, глаза широко раскрыты.

– Ну так расскажи ребятам. И Грасе. Устроим вечером роду.

Винисиус упал на стул рядом со мной.

– Да ну, Дор. Сегодня вечером мы так устанем, что на инструменты и смотреть не захочется. Или так взбодримся амфетамином, что не сможем усидеть на месте, двух нот не сыграем. И до воскресенья ждать не хочу. К тому времени мелодия выветрится. Одна умная девчонка как-то сказала мне, что музыка ждать не будет. Не потерпит, чтобы на нее не обращали внимания.

Студийный парикмахер подстриг ему бакенбарды и зализал волосы назад. Мне захотелось взлохматить их, придать им вид, который был у них когда-то. Вместо этого я отложила ручку и сказала:

– Ну выкладывай.

С того случая мы тайком работали каждый день, пока шли съемки. Мы писали песни не для Софии Салвадор и «Голубой Луны» – мы писали песни для нас. Опасаясь, что в похожих на консервные банки студийных трейлерах звук будет слишком громким, Винисиус

касаясь струн очень мягко, а я почти шептала. Многие великие открытия были следствием случайности, наше не стало исключением: мы с Винисиусом неожиданно создали новый жанр – казалось, попросту невозможный. Тихую самбу.

Специалисты по истории музыки продолжают спорить, кто – София Салвадор и «Голубая Луна» или наш дуэт, «Сал и Пимента», как мы с Винисиусом себя называли, – был творцом этого радикального стиля, из которого потом, десятилетие спустя, произрос еще один побег – мягкое бормотание босса-новы. Я не понимаю этих споров. Следуй за музыкой – и найдешь ответ.

Когда съемок не было, мы с Винисиусом ввали в Грасе и ребятам. Винисиус говорил, что хочет прокатиться, проветрить голову. Я говорила, что иду к Чаку Линдси по делам. Когда эти уловки приелись, мы с Винисиусом начали ускользать посреди ночи, пока Граса и мальчишки спали. Сняли студию возле «Диснея» и записывали там новые песни.

Шеллака, который использовали в звукозаписи, в военные годы не хватало, альтернативой ему стал винил. Этот материал оказался прочнее шеллака, его можно было пересылать, он не разбивался на сто осколков. Поэтому мы тайком пересылали наши небьющиеся диски Мадам Люцифер в Бразилию, а он передавал их на радиостанции Рио, не упоминая о нашей связи с «Голубой Луной» и Софией Салвадор, иначе нам бы с самого начала ничего не светило. Нет, мы были чем-то новым, ни на кого не похожим. Глубина и точность, с какой Винисиус играл на гитаре – единственном нашем инструменте, лишь изредка к нему добавлялся реку-реку, – придавала нашим мелодиям обнаженность, ранимость. Их не покрывали несколько слоев перкуссии. А мой голос, шероховатый, с ограниченным диапазоном, идеально подходил этой приглушенной медленной самбе. Мы были Сал и Пимента, Соль и Перец, идеальное сочетание противоположностей, дополнявших друг друга.

У главной актрисы «Лимончиты» было прозвище Святая Блонда. Костюмы Софии Салвадор стоили дороже, чем блондинкины, на них уходило больше труда, ее музыкальные номера были сложнее, трейлер – роскошнее. Это знали все на съемочной площадке, но авторитет все-таки был у Святой Блонды. Шептались, что она – фаворитка Занука и

каждый день после обеда удаляется в его офис, повалиться на монструозном диване. А потому даже обладавший взрывным характером режиссер вынужден был считаться с ее капризами. Святая Блонда держала на съемочной площадке ругательную коробку, и когда кто-нибудь сквернословил, Блонда требовала, чтобы виновник бросил туда пять центов.

– Я, мать ее, ни сентаво не заплачу, – громко объявил Кухня по-португальски. – Она все равно не поймет, говорю я про кино или про ее жопу.

– Да, насчет жопы, – подхватил Худышка. – Бьюсь об заклад, к тому времени, как съемки кончатся, Святая Блонда у себя в трейлере будет визжать подо мной. А потом мы напишем об этом песню.

– Я даже знаю, какой будет первая строчка, – сказал Винисиус. – «Однажды Снежная королева заморозила Худышку внизу».

– «И теперь у меня вместо эскимо фруктовый лед». – Кухня оттопырил мизинец.

Святая Блонда бросила на нас взгляд через плечо и шикнула.

Худышка подмигнул ей. У актриски глаза полезли на лоб. Скрестив руки на груди, она устремилась прочь, но столкнулась с Грасой.

– Кто это сунул ей перцу под хвост? – удивилась Граса.

– Худышка, – сказал Ноэль.

– Я бы ей чего другого присунул, – прошептал Худышка, и все мы захихикали и принялись, как в старые добрые дни, подталкивать друг друга локтями и хлопать по плечу, не обращая внимания на съемочную группу и актеров.

Когда мы на следующий день прибыли на площадку, на дверях наших трейлеров красовались листки, такие же были приклеены к тележкам с кофе и прицеплены к пробковой доске объявлений возле душевых.

На этой съемочной площадке говорят ТОЛЬКО ПО-АНГЛИЙСКИ.

Поддержи наши войска!

Гордись тем, что ты американец!

На этот день были намечены съемки нашего самого длинного и самого сложного музыкального номера. Весь киноряд – пятнадцать минут – предстояло снимать одной камерой, которая двигалась по рельсам. Пение и танец нельзя было прерывать до конца номера.

На «лунных» мальчиках были простые черные брюки и белые рубашки, воротники расстегнуты. Винисиус и Маленький Ноэль час просидели в трейлере, где гримеры покрывали им лица и руки бронзовой краской. Вышли они оттуда оранжевые, как морковки. В обычный день мы бы, конечно, принялись издеваться над ними. Но в тот день мы пытались переварить значение записки «только по-английски».

Вот появилась Граса. Разрез на темно-синем платье открывал всю ногу. Ягоды клубники, с кулак величиной, покрытые блестками, были нашиты по всей юбке и на лифе. За ней следовали двое мускулистых, полуголых актеров из массовки. За ними – дрессировщик с двумя огромными быками. Быки тащили тележку, наполненную бутафорскими бананами.

– Мисс Салвадор, – позвал ассистент, – я помогу вам подняться.

– Куда? – спросила Граса.

– Сюда. – Ассистент указал на тележку.

– Мы все туда полезем? – уточнила Граса.

– Нет-нет! Только вы. Музыканты будут тащить тележку.

Мы притихли. Граса взглянула на меня.

– В сценарии ничего не было ни про тележку, ни про быков, – сказала я ассистенту.

– Они совершенно безопасны! – заверил дрессировщик.

Ассистент улыбнулся:

– София Салвадор спрячется в бананах, а потом внезапно вынырнет. Так ее появление станет более выразительным, эффектным. Мистер Занук придумал! Не беспокойтесь, тележку вы будете тащить не по-настоящему, тележку потащат быки, – жизнерадостно сообщил ассистент.

Один из быков задрал хвост. Едко пахнувшая коричневая куча шлепнулась на зеленый ковер съемочной площадки.

– Я не буду этого делать, – сказал Кухня по-португальски.

Граса вздохнула:

– Это просто бык, не бойся...

– Я не боюсь. – Кухня повысил голос: – Но я музыкант. Я не буду тащить тележку.

– После такого домой дороги не будет уж точно, – сказал Худышка.

– Нам и так нет туда дороги, – заметила Граса. – Так что какая разница.

– Все не так ужасно, – сказал Маленький Ноэль. – Это просто *как бы* дурацкий номер в клубе. Дома мы и похуже видели.

Граса кивнула:

– Это просто *как бы* шутка с перебором. Зрители поймут.

Винисиус глянул на меня:

– Ты что думаешь?

– Ей-то откуда знать? – Граса скрестила руки на переливающейся груди. – Дор же не режиссер.

Худышка покачал головой:

– Мы известные музыканты, а они делают из нас скот. Ты когда-нибудь видела, чтобы американские свинг-музыканты таскали телеги? Нет, на них же смокинги, они сама респектабельность.

– Мы не можем свалить прямо сейчас, – сказала я. – Тем более что это идея Занука.

– Значит, Занук может выставлять нас придурками? – спросил Кухня.

– Нет, конечно, – сказал Банан. – Потому что я этого делать не буду.

– Я тоже, – поддержал Худышка.

Граса побледнела.

– Думаете, мне это нравится? – спросила она, указывая на гигантские ягоды, свисавшие с ее платья. – Мы даем представление, просто играем. Может, сейчас это глупо, но на экране все будет выглядеть по-другому.

– У тебя всё «мы», – сказал Кухня. – Ровно до той минуты, когда ты пройдешь в «Мокамбо», а нас туда не пустят, потому что таких, как мы, в этот клуб не пускают. До той минуты, как мы не сможем пройти по красной дорожке во время премьеры нашего же фильма, потому что студии не нравятся такие, как мы. Тогда ты не часть «мы», да? Ты тогда София Салвадор, а мы – просто какие-то музыканты. Я не впрягусь в тележку, даже если это игра.

– Значит, вы меня бросаете?

– Никто никого не бросает, – сказал Худышка. – Мы просто не станем тащить тележку.

– Всего одна минута в одной сцене. Если вы не готовы поддержать меня сейчас, то не трудитесь поддерживать меня вовсе.

– Никто никуда не уходит, – вмешался Винисиус. – Давайте все успокоимся.

– Не говори мне «давайте успокоимся»! – взорвался вдруг Кухня. – Ты вообще больше не руководишь «Луной».

– С каких это пор?

– С таких, как вы с Дор учинили собственный дуэт.

Винисиус оглянулся на меня.

– Она никому не проговорила, – сказала Граса. – Но мы же не дураки. Мы знаем, что вы записывали пластинки у нас за спиной.

– Не за спиной, – пролепетала я. – Это просто другая музыка.

– Не для наших умов, – съязвил Худышка.

– Все не так. – Винисиус провел руками по волосам. – Просто дуэтом лучше звучит. Ничего серьезного. Просто шутка.

– Шутка? – повторила я.

Граса расхохоталась.

– Вот видишь, Дор? Всего лишь маленькое развлечение на стороне. Ни хрена серьезного.

– По-моему, ты забыла. У тебя сцена скоро, так что лучше уговори ребят сниматься. Я больше не буду никого уговаривать.

– Отлично. – Граса не сводила с меня глаз. – Сама все сделаю. Надо будет – одна потащу эту сраную тележку. А вы мне не нужны.

– Вот, значит, как. – Кухня усмехнулся. – А кто будет тебе аккомпанировать? Какие-нибудь гринго?

Граса так близко подступила к нему, что они чуть не стукнулись носами.

– Люди покупают билеты, чтобы посмотреть на меня, а не на вас.

– Вот и тащи тележку, гринга.

Граса пошатнулась, отступила назад. Маленький Ноэль подхватил ее за локоть.

– Давай-ка спокойнее, Кухня!

– Ты чего мне указываешь? – ответил Кухня, очень тихо.

Худышка встал между ними:

– Давайте сделаем перерыв. Думаю, нам...

– Только по-английски! – раздался пронзительный вопль. Личный ассистент белокурой старлетки с властным видом шагал к нам. – Вы задерживаете съемки. Режиссер вернется через пять минут, а вы еще не заняли свои места.

– Это личный разговор, – сказала я.

– Тогда, может, и вести его следует лично, а не посреди площадки? Хотите говорить здесь – говорите по-английски. Читать умеете? Или вам все надо писать по-испански?

Разумнее было проигнорировать его и Святую Блонду и сосредоточиться на Гресе и ребятах. Несколько лет назад я именно так и сделала бы. Но мы уже не первый год варились в Голливуде, и наше терпение истощилось. Так что я, не обращая внимания на этого козла, повернулась к Кухне:

– Дай пятьдесят долларов.

– Зачем?

– Господи. Дай деньги, и все!

Кухня сунул руку в карман, достал и вручил мне полтинник. Не глядя на ассистента, я протиснулась мимо него и других и направилась к белобрысой старлетке. Дамочка, полностью загримированная и в костюме, потягивала через соломинку колу и глядела на нас. Крутившийся рядом ассистент держал под мышкой ругательную коробку. Я подошла к нему и сунула в прорезь пятьдесят долларов.

– Вот, – сказала я Святой Блонде по-английски. – Теперь мы можем посылать тебя в жопу, сколько захотим.

История с ругательной коробкой появилась в голливудском таблоиде, но я в ней не фигурировала. Все было представлено так, будто поцапались София Салвадор и Святая Блонда: темпераментная Бразильская Бомба ревнует партнершу по фильму. Меня вымарали из этой истории с такой легкостью, с какой вымарали «лунных» мальчиков из сцены. И поскольку в газетах напечатали эту версию, именно ее люди и запомнили. Никто не упомянул о появлении на съемочной площадке таблички «Только по-английски». И даже при том, что все актеры и съемочная группа видели, как я пихаю деньги в жалкую коробочку Святой Блонды, много лет спустя, когда биографы Софии Салвадор и Святой Блонды печатали в книгах интервью, члены

съемочной группы лишь подтверждали изложенную таблоидом версию. Меня это не удивило: так история звучала интереснее, а именно этого, в конце концов, всем и хотелось.

В реальности Святая Блонда обвинила меня в том, что я ей угрожала, хватала за руку. (Я такого не помню; сразу после того как я сунула деньги в коробку, поднялся страшный гвалт.) Что бы ни случилось, Блонда великолепно разыграла перед режиссером жертву, заявив, что опасается за свою безопасность. Мне было велено покинуть студию и впредь не появляться. Мое счастье, сказал режиссер, что он не призвал студийную охрану. Отпуская меня с миром, он делает великое одолжение Софии Салвадор.

Мне позволили зайти в трейлер, собрать вещи, у меня там не было ничего важного, но мне хотелось увидеть Грасу. Какая-то часть меня надеялась, что Граса покинет студию вместе со мной, не станет сниматься в «банановой» сцене, устроит так, что съемки застопорятся.

Граса бездумно смотрела в зеркало. Она расстегнула массивные серьги-клубничины и с глухим стуком уронила их на туалетный столик. Глаза ее метнулись ко мне.

– О, вот и героиня.

– Ты о чем?

– Ты дала ребятам то, чего они хотели, – предлог взбунтоваться против меня.

– Ребятам разрешили остаться, только если они сами хотят.

– Но они не хотят. Если ты уйдешь, уйдут и они.

– Было время, когда ты поддержала бы меня. Я же для тебя старалась.

– От твоих стараний толку чуть.

– Тебе необязательно туда возвращаться. – Я положила руку ей на плечо. – Необязательно сниматься в той сцене.

Граса стряхнула мою ладонь.

– Мы теперь не девчонки из Лапы. Нельзя больше разбивать людям носы или устраивать так, чтобы кто-то исчез без следа.

Ее глаза в зеркале встретились с моими. Я схватилась за спинку ее стула.

– Если я не вернусь туда, если не сыграю эту сцену, Святая Блонда и съемочная группа скажут, что мы – стадо человекообразных, не имеющих понятия о профессионализме. Ты сама знаешь, они хотят

именно этого. Чтобы мы сдались. Чтобы они могли рассказывать направо и налево, что мы слабаки. Я не собираюсь делать им такой подарок. Я дотяну эту сцену, даже если потом сдохну.

– Не преувеличивай. Там одна песня и один танец.

– Я устала.

– Ты же хотела именно этого?

– Правда? – Граса снова перевела взгляд на свое отражение в зеркале. – Я опять потолстела. Когда съемки закончатся, меня снова отправят в какую-нибудь клинику в пустыне, где морят голодом и закачивают в тебя воду через задницу, чтобы прочистить изнутри. Я вернусь домой или тощая, или в гробу. Но в гробу хоть уже никого не разочаруешь.

У меня в ушах зазвенело.

– Меня ты никогда не разочаровывала.

Граса замотала головой.

– Я недостаточно упорно работаю. Я мало репетирую. Курю и порчу свой голос. Много ем. Слишком поздно встаю. Много трачу.

– Я все это говорю, чтобы помочь тебе стать лучше.

– Я не хочу становиться лучше! – выкрикнула Граса. – Я хочу быть той, кто я есть.

– И кто ты?

– Я больше не знаю, кто я. Благодаря тебе.

– Сделай одолжение, не разыгрывай страдалицу, – попросила я. – Ты ни дня в своей жизни не страдала.

– Думаешь, легко знать то, что знаю я?

Кожа на груди у Грасы пошла красными пятнами, словно она коснулась какого-то жгучего растения.

– И что же ты знаешь? – спросила я.

– Что ты здесь только благодаря мне, – сказала Граса. – Я тебя спасла. Я всегда тебя спасала. А ты меня – ни разу. Ты спасаешь только себя.

Сцену с Софией Салвадор из «Сеньориты Лимончиты» показывают в киношколах как лучший образец кино того времени. Я сама смотрела ее десятки раз. Даже по нынешним меркам цвета «Техниколор» поразительно яркие. Камера едет через то, что кажется водой (синее покрытие), въезжает на экзотический берег (зеленое

покрытие, утыканное бутафорскими пальмами), на нем одинаковые девушки, все в ярко-синих тюрбанах. Музыка звучит громче, островитянки танцуют. Появляется тележка, влекомая быками. Рядом с ней, опасливо поглядывая на быков, идут пятеро полуобнаженных мускулистых мужчин, которых режиссер выклянул с других съемок.

Единственными «лунными» ребятами на съемочной площадке тогда были Винисиус и Маленький Ноэль, они остались, чтобы поддержать Грасу, но в кадре не появились. Стояли за камерой и смотрели. Как только начинается фонограмма, София Салвадор выныривает из тележки. С этого момента всё – островитянки, быки, мускулистые чурбаны – перестает существовать, есть только София Салвадор.

Почему все замирают, только в комнату вхожу,
Иль на рынок, иль к колодцу, где я время провожу?
Мне все это безразлично, так вам прямо и скажу,
Сеньоритой родилась я Лимончитой!

Разве девушка способна столько на себе носить?
Белокурые мальчишки все хотят меня спросить.
Но все яблоки мои целомудренно прикрыты,
Сеньоритой родилась я Лимончитой!

Это первая и последняя песня, которую она исполнила по-английски полностью. Она подмигивает в камеру и спускается с тележки. Играет на ксилофоне. Взмахивает руками. Улыбается. Кошкой проскальзывает в толпу девушек-островитянок, они расступаются, и она следует дальше, покачивая бедрами. Двое полуобнаженных мужчин поднимают Софию Салвадор. (Режиссер едва не выкинул этот эпизод: какие-то христианские группы усмотрели в нем вульгарщину, однако комиссия Хейса^[34] разрешила оставить эпизод в фильме.)

Молодые бразильянки – такие скромницы,
Не раздают плоды свои кому попало,
Но если угостят – награды слаще нет.

Сеньоритой родилась я Лимончитой!

София Салвадор соблазнительно покачивается и улыбается. Камера отъезжает. Теперь вокруг Софии Салвадор зеркальные стены, теперь ее сотни – калейдоскоп из цвета и улыбок уводит зрителя в бесконечность. Трюк очевидный, но именно эта очевидность делает сцену гениальной.

Ходили слухи, что после исполнения «Сеньориты Лимончиты» аплодировала вся съемочная группа, кроме блондинки, разумеется. Когда я ушла, Граса отработала сложнейшую сцену единственным безупречным дублем.

На Бедфорд-драйв было пусто. Граса, Винисиус и Ноэль в студии. Остальные разбрелись кто куда – кто в «Плавучий театр», кто с девушками, кто-то решил прокатиться. Куда мне было податься после изгнания? Кто я теперь?

Ты здесь только благодаря мне.

Я побрела вверх по винтовой лестнице, собираясь запереться у себя, но увидела, что дверь в главную спальню, где обитали Граса и Винисиус, открыта.

Постель была не застелена, простыни сбились. Я щелкнула выключателем. Туалетный столик Грасы был немногим меньше самой спальни и, по ее настоянию, выкрашен фламингово-розовым. Стойки с вешалками укреплены скобами с обоих концов, чтобы выдержать тяжесть ее костюмов. По контракту с «Фокс» Граса получала меньше других артисток, но ей разрешали оставлять все наряды и украшения. Костюмы для танцевальных номеров свисали с вешалок, как пустые оболочки каких-то странных, экзотических насекомых, – радужные, жесткие, острые. Я старалась не касаться их, осматривая шкаф.

На полке над костюмами выстроились болванки – безлицые, безволосые, – на которых София Салвадор держала шляпы, диадемы, береты и головные уборы из перьев. Выше располагались ящики – россыпи браслетов, ожерелий, сережек. У самой стены, за обувными стойками и бельевыми ящиками, находился узкий отсек – купальники и домашние платья, совершенно одинаковые во всем, кроме цвета.

Простого покроя и из тончайшего хлопка. Граса носила эти платья только дома, когда скидывала личину Софии Салвадор.

Я взглянула на часы: парни, наверное, всю уже пьют. Граса, скорее всего, еще снимается.

Я всегда тебя спасала. А ты меня – ни разу.

На туалетном столике целая лаборатория: кремы и тоники, стеклянные пробирки с резиновыми пипетками, комки использованной ваты, скомканные салфетки, накладные ресницы, приклеенные к столешнице, похожие на раздавленных жуков. Я глубоко вздохнула и села на пуфик перед столиком. Шпильки, державшие прическу, больно кололи голову. Валик, в который я пыталась уложить свои короткие прямые волосы, развалился, и прическа напоминала не волну, а сплюснутую тортилью. Я вытащила шпильки. Тюбики с помадой Софии Салвадор раскатились по всему столику, большей частью незакрытые. Это была совсем не та помада, что мы когда-то покупали в аптеке, – красивые золотые патрончики тяжело лежали в моей ладони, будто драгоценности. Я выкрутила одну. Помада пахла воском и ванилью.

Я посмотрела в зеркало: бледные узкие губы, уголки опущены вниз. Я потыкала в них помадой и поерзала губами. Помада была приятной на вкус, губы сразу стали мягкими. Я выкрутила побольше и обвела контур, прихватывая кожу вокруг губ, чтобы они казались пухлее, – так делала София. Яркое пятно на моем лице выглядело пугающе. Коралловый оттенок, скорее оранжевый, чем красный. Следовало уравновесить его. Провела пуховкой по щекам, поставила кляксы румян. В ящике столика нашла подходящие серьги – клипсы-розы, каждая размером с детский кулачок. Я защелкнула клипсы на мочках.

Снизу донесся шум. Я оглянулась на приотворенную дверь. Задержала дыхание, ожидая услышать шаги. Кто-то из ребят вернулся? Сердце пропустило удар: неужели Винисиус? Оставил Грасу, чтобы проверить, как там я? Я представила, как он поднимается по лестнице и обнаруживает меня в их с Грасой комнате.

Я метнулась к двери, тихо закрыла ее, повернула замок. Снова сев за столик, я поразилась отражению в зеркале. Бледное от пудры лицо, на щеках кривоватые пятна румян. Режущая глаза помада. Мочки ушей налились кровью от тяжести роз. Я походила на пьяницу, упавшего

лицом на столик гримера. Я прижала ладони к глазам. Шум внизу стих – может, то был сквозняк, может, просто старый дом скрипел. Но я торчу здесь уже слишком долго. Я стащила клипсы, щедро намазала лицо кольдкремом и стерла косметику.

У изгнания и славы имеется одинаковый побочный эффект: твой мир сужается, и единственные люди, которых ты можешь выносить, – единственные, кто тебя по-настоящему понимает, – это те, кто в одной лодке с тобой.

После «Лимончиты» на всех нас – Грасу, мальчиков и меня – навалилась тяжесть, мы с трудом двигались, ели, разговаривали. Ссора на съемках все изменила, и мы все это ощущали. Каждый из нас чувствовал себя преданным.

Мы продолжали жить под одной крышей даже после окончания съемок – отчасти потому, что нам не хватало денег, чтобы вернуться домой, отчасти потому, что дома нас не особенно и ждали. Нас связали мучительные узы изгнания и славы.

Через три дня после ссоры и до того, как Софию Салвадор выслали в очередную жирогонку, мы с Винисиусом отправились на зарезервированную на полночь студию возле «Диснея», где «Сал и Пимента» записывали свои тайные композиции. Но в ту ночь мы не стали таиться, Граса и ребята и так уже все знали, к чему унижать и себя, и их.

– Мы уже заплатили за запись, – сказала я ребятам, когда все собрались у бассейна. – Глупо терять деньги.

Мы набились в «десото» и в последний раз поехали на студию – все вместе. И записывались тоже вместе. Мы тянули песни, растягивали их, замедляли их до пределов, казавшихся невозможными физически. Граса держала ноту, пока она не умирала, а потом делала паузу. Эти паузы такие длинные, что когда слушаешь альбом (наш последний, самый последний совместный), то кажется, будто у нее пропал голос. И тебя накрывает паника: как она выберется из этой тишины, этой пустоты? Потом проступают шорохи – Граса набирает воздуха, пальцы Винисиуса касаются струн, Худышка чуть слышно посапывает, легко вздыхает Кухня, Маленький Ноэль, Банан и Буниту осторожно шаркают ногами, облизывают губы. В ту ужасную ночь мы записали все это, все наши звуки – исходя потом в тесной и душной

лос-анджелесской студии. Изгнанные родиной, изгнанные друг другом, мы пытались найти утешение в звуках.

Между мной и тобой

Все было шуткой
Между мной и тобой.
Все на минутку
Между мной и тобой.
Глупые просьбы,
Яблоки и гроздья,
Засмеемся, заплачем,
На двоих сигарету заначим
Мы с тобой.

Все было разговором,
Пока другие спят.
Все – наши следы
У кромки воды.
Все было
Голосом твоим,
Запахом твоим,
Ртом твоим, хранящим
Тайны, твои и мои.

Я срывалась с проволоки —
А страховку сняли.
Я ныряла в волну —
И не было спасателей.
Я пила яд —
Не было противоядия.
Все, что мы прежде знали, —
Все куда-то пропало
Между мной и тобой.

Все было песней
Между мной и тобой.
Все было бесчестно
Между мной и тобой.

Все было стихом,
Молитвой,
Грехом
Между мной и тобой.

Я срывалась с проволоки —
А страховку сняли.
Я ныряла в волну —
И не было спасателей.
Я пила яд —
Не было противоядия.
Все, что мы прежде знали, —
Все куда-то пропало
Между мной и тобой.

Но надежда – талант мой,
И в пару к нему – терпение.
Ждать ведь несложно, если
Нечего больше делать.
Не уплыло ничто без следа
Между мной и тобой,
У всего есть цена
Между мной и тобой.
Все запомним,
Забудем,
Все друг другу простим
Мы с тобой.

* * *

В молодости я ходила на роду каждый день. Я слушала. Я ждала. Я пообещала музыке, что открою в себе пространство для нее. Я доказала свою преданность – и в ответ музыка вознаградила меня словами, способностью творить. Минуты творчества были заряжены страстностью любовного романа, ибо музыка требовала всего моего

времени, всего моего внимания, меня целиком. И пока я служила музыке, она разрешала мне оставаться в ней, погружаться в пространство внутри себя, где она обитала, где времени не существовало.

Иные артисты, если они мудры и удачливы, хранят верность своему делу – отдавая ему время и внимание, каких оно требует, – всю жизнь. Но многие из нас сбиваются с пути. Мы прекращаем создавать пространство внутри себя, мы ищем предлоги. После смерти Грасы я не писала музыку двадцать пять лет. Винисиус появлялся, приносил радио, пластинки, вытаскивал в клуб, и это помогало мне слушать, но не создавать. Бывали минуты – точнее, вспышки, – когда я ловила мелодию у себя в голове, возникали слова, и я бросалась записывать их. Мои запущенные жилища были усыпаны бумажными клочкам, как опавшими листьями.

Потом Винисиус притащил меня в студию в Лас-Вегасе, записываться с тем молодым самцом, который «тропикана», – и во мне как будто с чуть заметным щелчком открылась запертая дверь. Медленно, много месяцев, я поворачивала ручку, чтобы заглянуть, что там, по ту сторону. Я подстриглась. Начала регулярнее принимать душ и есть что-то помимо черствого хлеба и яичницы. Даже купила новую одежду. Пить я не бросила, но алкоголь перестал быть необходимостью. Я начала сопровождать Винисиуса на студию, хотя сама не записывалась. В те месяцы мне казалось, что я вернулась из долгого изгнания; я смотрела на знакомых некогда людей новыми глазами.

Мне было пятьдесят три, Винисиусу – шестьдесят два. Он много курил. Все его лицо было в морщинах, а кок надо лбом давно уже поседел. Он был красив той сумрачной красотой, какой еще восхищались женщины, каждую неделю у него в койке оказывалась новая подруга. Но хотя женщины были новые, песни оставались старыми – Винисиус тоже ничего не писал. Последние два десятка лет он записывал каверы наших прежних песен.

Однажды я сидела в студии и слушала, как Винисиус с другими музыкантами-изгнанниками записывает давно уже надоевшие песни, переложенные на «тропикана-твист». Грустные мелодии звучали болезненно-жизнерадостно, как если бы кого-то заставили танцевать самбу с перебитыми лодыжками.

– Какая нелепость, – сказала я.

Винисиус попросил музыкантов оставить нас одних.

– Ну ты и нечто. Двадцать лет просидела на скамейке запасных, а теперь оказывается, что у тебя есть собственное мнение?

– У меня всегда было собственное мнение, просто я им не делилась.

Я ощутила внутри знакомую резкую боль, словно многие годы я была немая и вдруг заговорила. Стало трудно дышать. Во рту пересохло. Я оглядела студию, надеясь обнаружить бутылку пива, недопитый стакан, хоть что-нибудь. Но в студии был только Винисиус – старый, с седым коком, ссутуленный; он курил, сидя передо мной. Я отобрала у него сигарету и сунула себе в рот.

– То, что ты сейчас играл – просто непристойно. Ты слишком талантлив для такого дерьма.

– Никого эгоистичнее тебя я в жизни не видел. Я думал, что самая большая эгоистка – Граса, но нет. Это ты. И всегда была.

Имя, произнесенное вслух, заставило меня дернуться.

– Неужели говорить правду – это эгоизм? Ладно, давай, выставь меня мерзавкой. Мне не привыкать.

– Мне не нужна твоя правда. Ты меня бросила. Кухня умер. Худышка после удара не может играть. Домой нам нельзя, потому что говнюки в погонах сбрасывают таких, как мы, с вертолета. Все развалилось к чертям. И где ты была все это время? Сидела в мусорной куче, проклятая зомби.

Он вдруг спрятал лицо в ладонях. Я опустилась на колени рядом с ним.

– Я здесь. Ты помог мне очнуться. И это хорошо, потому что музыка, которую ты играешь сейчас, – настоящее дерьмо.

Винисиус убрал руки и посмотрел на меня мокрыми глазами:

– Иди к черту, Дор.

– Не могу. Это слишком далеко.

– Откуда?

– От тебя.

Винисиус встал. В студии было пианино, он подошел к нему, со стуком откинул крышку, перебрал ноты. Вернулся с блокнотом и огрызком карандаша, бросил их мне на колени:

– Удачная строчка. Запиши.

Я покачала головой. Мы смотрели друг на друга, как два тигра, ожидая малейшего движения, сокращения крошечного мускула – как оправдания для прыжка. В дверь студии постучали, просунулась голова одного из студийщиков:

– У вас тут все нормально?

– Иди домой, – сказал Винисиус, не отрывая от меня взгляда. – Мы с Дор хотим поработать. Только дверь запри.

Мы сидели лицом к лицу, как в прежние времена. Мы бились над нотой, словом, бросали, начинали снова. Мы вздыхали, ругались, проклинали, швыряли смятые листы на пол. Мои стихи были грубыми, полными брани. Его мелодии были скудными, скупыми, обрывочными. В юности мы могли сражаться за музыку ночь напролет, но годы здорово прошлись по нам. Через несколько часов мы выдохлись. Потные, обессиленные, мы сумели выдать из себя одну жалкую песенку. И мы сыграли ее – от начала до конца.

– Что думаешь? – спросил Винисиус.

– Катастрофа.

Винисиус положил гитару.

– Как нам быть, Дор? – Голос его дрожал.

– Писать дальше. Писать лучше. Записать эту сраную пластинку.

– Ты и я?

– А у тебя есть компания получше?

С той ночи мы упорно работали, выносливость наша постепенно крепла. За работой мы пили только яблочный сок да забивали пепельницы окурками. Через несколько месяцев у нас было больше кошмарных песен, чем мы могли сосчитать, но и приличных появилось достаточно – набралось на полноценный альбом. Винисиус позвал на запись тропикана-изгнанников – длинные волосы, узкие штаны. После того как был записан последний трек, один из этих юнцов поцеловал меня в щеку.

– Не знаю, что вы сделали, чтобы родить эту крошку, но она просто монстр, – сказал он. – В лучшем смысле слова.

В Бразилии всю свирепствовала цензура, и звукозаписывающие компании не захотели продавать нашу пластинку. В Соединенных Штатах в семидесятые годы люди не проявляли никакого интереса к стареющему самба-дуэту. Со временем пластинки «Сала и Пименты» все-таки разошлись, даже стали культовыми – дань уважения, как

писали критики, «тихому стилю, который София Салвадор создала для своей последней записи». Даже лучшую нашу пластинку приписали ей, но мне было все равно. Однако самая первая наша запись так и не увидела свет. Молодая Дориш впала бы от этого в неистовство, но старой Дориш было достаточно самой записи. Я сидела в студии, держала в руках мастер-диск, и мне казалось, что прошел не один час.

– Какая красавица, – сказала я наконец, и у меня перехватило дыхание.

Винисиус сидел за спиной. Его большие морщинистые руки лежали у меня на плечах. Подбородок с удобством устроился в выемке между шеей и плечом, его губы касались моего уха. Я закрыла глаза, вспоминая схожее объятие. Что-то росло во мне, жар поднимался от основания позвоночника, разливался выше и шире. Жар знакомый и все же другой – не вожделение, но что-то еще, семя, вышедшее из того же плода.

– Мы запишем другие пластинки, лучше, – шептал Винисиус. – Не пропадай больше. Ты нужна мне.

Я отложила катушку и вывернулась из его рук.

– Знаешь, что сказала мне Граса однажды, когда мы сидели на пляже Копы? Что мне дан только один талант – прилипнуть к тем, кто по-настоящему талантлив. Таким, как она. Как ты.

– Когда она злилась, она говорила вещи, которых на самом деле не думала, – сказал Винисиус.

Я покачала головой:

– Она не злилась в ту ночь. В ту ночь злилась я.

– Ты не могла спасти ее. Если ей что-то втемяшилось в голову, она шла напролом. Не думала о последствиях, думала только о себе. А ты всегда думала о нас – обо мне, о ней, о ребятах. Я знаю, что ты сделала для нас. Давно знаю, только я в те дни был слишком эгоистичен, чтобы увидеть тебя.

– И что ты видишь сейчас? – Я боялась взглянуть на него.

– Великого музыканта. Партнера.

Когда я оглядываюсь на нашу с ним совместную жизнь (я говорю про нашу жизнь, а не наши жизни по отдельности, потому что мы слишком крепко сплелись друг с другом), я думаю о нас как о двух атлетах на беговой дорожке, соревнующихся за один приз. Иногда Винисиус вырывался вперед, иногда я. Когда мы поженились, мне

было пятьдесят четыре, Винисиусу – шестьдесят три. Мы, побитые, в синяках, охромевшие, далеко отклонились от нашей дорожки, и приз наш потерялся в номере отеля в Копакабане несколько десятилетий назад. Но мы с Винисиусом, все еще вместе, видели друг в друге юных, которыми были когда-то, давным-давно, мы напоминали друг другу о нежности. Мы делили и постель, хотя слухи правдивы: у Винисиуса были его подружки, у меня – мои. Но все эти скоротечные союзы порождались вожделением, а не любовью. Музыка мы создавали только друг с другом.

Между мной и тобой

Конец войны принес освобождение узникам концлагерей в Европе, а в американских городах торжественно встречали героев, солдаты и матросы целовали девушек посреди Таймс-сквер – словно в сцене из цветного фильма с участием Софии Салвадор. Но за яркими красками и конфетти, за песнями и танцами скрывался гнойник угрюмой тревожности, от которой мы страдали еще долго после окончания войны. Как будто мир сражался с болезнью – точнее, с зависимостью, – которую мы сами заработали; болезнь эта растянулась на много лет, она опустошила нас, мы не знали, что делать с этой пустотой, война наглядно обнажила самую суть нашей природы. Миллионы погибших. Атомные бомбы, сброшенные на Японию, спустили с цепи технологию, которая угрожала теперь абсолютно всем. Люди не знали, сколько продлится мир, купленный такой ценой, но Америка твердо намеревалась радоваться и улыбалась в камеру – неважно чему.

В послевоенные месяцы индустрию развлечений залило сиропом, никакого намека на остроту. Знаменитейшему американскому певцу в одной из песен пришлось лаять собакой. От серьезных актеров ждали, что они станут поскальзываться на банановой кожуре, смешая зрителя. И София Салвадор танцевала в своих сверкающих юбках, с оголенным животом, хотя двигалась она теперь медленнее, фигура ее стала какой-то усохшей, и костюмы, казалось, ей теперь тяжелы. В тех немногих фильмах, в которых она снялась после войны, «Голубая Луна» еще была рядом с ней, хотя ребята выглядели не столько жизнерадостными музыкантами, сколько скучающими санитарями, приглядывающими за пациенткой.

Кое-кто из «лунных» парней откладывал деньги, чтобы уехать домой – в ту страну, которой стала Бразилия за пять лет нашего отсутствия. С деньгами было туго, фильмов теперь снимали меньше, паузы между съемками становились все длиннее. Банан, Буниту и Маленький Ноэль подхалтуривали, сочиняя музыку для диснеевских мультфильмов, они надеялись накопить на три билета в Рио. Кухня почти не показывался на Бедфорд-драйв, он околачивался по клубам на Центральной авеню, учился бибопу и джазу, а других музыкантов учил

самбе. Худышка закрутил серьезный роман с какой-то диснеевской секретаршей, и мы почти не видели его. И все мы принимали что-то, дабы пережить бесцветные месяцы после ссоры на «Сеньорите Лимончите», – алкоголь, кокаин, амфетамин, демерол, нембутал, кодеин.

Мы продолжали читать газеты Льва, хотя в них больше не писали ни о Софии Салвадор, ни о «Голубой Луне», теперь в газетах царил один Жеже, но уже в качестве неудачника. Конец войны принес и демократию из Европы, Старик Жетулиу не сумел остановить эту заразу, и она подобралась к его порогу. Иштаду Нову заменили новой конституцией и настоящими выборами. Эурику Гаспар Дутра на пятнадцать лет стал первым демократически избранным президентом Бразилии.

Соединенные Штаты и Бразилия снова заделались лучшими друзьями, русским вновь отвели роль врага. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности вызывала в суд киношников, подозреваемых в симпатиях коммунизму. По Голливуду прокатились забастовки профсоюзов, после чего студии взвыли, что забастовщики – леваки и извращенцы, а незаменимых у нас нет. Полиция нравов провела рейд в баре «Плазы» и арестовала Сэнди, мою давнюю любовь, и с десятков других «имеющих сафические наклонности» женщин; их потащили в тюрьму прямо в вечерних нарядах и меховых накидках. Забастовки нарушили график съемок на студии «Фокс», и в наших и без того скудных доходах зазияли бреши. Платить за дом на Бедфорд-драйв стало нечем. Мы начали поговаривать о том, чтобы продать кое-какую бижутерию Софии Салвадор, о том, не дать ли несколько представлений в Лас-Вегасе, который после войны набирал популярность. Вот только Граса отказывалась.

– Я не буду петь для кучки каких-то бродяг в пустыне, – объявила она.

Когда Чак Линдси вызвал нас к себе, мы с замиранием сердца приготовились, что нас выкинут из списка клиентов. Однако Линдси помахал перед нами желтой телеграммой, которую он сжимал в наманикюренных пальцах.

– Вас хочет нанять «Аэровиас Бразил»!

Мы не поверили своим ушам.

– Для рекламы? – уточнила Граса.

Линдси покачал головой:

– Полет из Майами в Рио. Это будут ваши самые легкие деньги.

Бразильская авиакомпания «Аэровиас» во время войны помогала Соединенным Штатам, выполняя грузовые рейсы. В благодарность за службу «Аэровиас» предоставили право совершить первые международные пассажирские перелеты. В те дни воздушные путешествия были более или менее экзотичными и в известной степени опасными, потому пассажирам требовались гарантии. Кто лучше Софии Салвадор мог продемонстрировать пассажирам, что полет может стать вечеринкой в небесах? А «Аэровиас» могла бы в рекламных целях размахивать новостью, что именно она доставила Софию Салвадор домой, на встречу с соотечественниками. Приманкой был концерт в честь возвращения, который нам предстояло дать в Рио сразу после прилета. Оплачивала его «Аэровиас» на пару с газетной сетью Льва.

– Где мы будем выступать? – спросила я.

Бразильские казино были закрыты: новый президент ввел запрет на азартные игры. Я представила Грасу и ребят, вынужденных выступать в каком-нибудь маленьком кабаре Лапы или в пустом самолетном ангаре за пределами города, – своего рода наказание за взлет и падение. Граса, должно быть, тревожилась о том же. Не успел Чак ответить, как она схватила меня за руку и сказала:

– Мы будем выступать в Копе. Ни на какой другой сцене ноги моей не будет. Или «Палас», или ничего.

«Копакабана-Палас», белоснежная крепость в Копакабане, законодатель вкуса и стиля. Место, которое чуралось нас, потому что мы – самбистас. Место, которым мы с Грасой так восхищались, сидя много лет назад утром на пляже. У Грасы был синяк под глазом, который поставил ей один из ее хлыщей, и, глядя на «Копу», она сказала, что этот отель – ее билет на луну.

Стоя в голливудском офисе Чака Линдси, я думала, что требование Грасы, конечно, глупо – его попросту невозможно выполнить. Упрямство Грасы будет стоить нам единственного заработка, который нам предложили за последние месяцы, равно как и возможности выкупить себя и вернуться домой. Позже я поняла, что Граса была права, требуя луну с неба и звезды в придачу. После войны

письмена на стене ясно гласили: София Салвадор надоела Соединенным Штатам и американским студиям. «Фокс» настолько заездила свою беговую лошадку, что она начала хромать, и ее с легкостью заменили другой. Эпоха музыкальных фильмов завершилась, в моду вошел нуар. Куда нам было податься, кроме как домой? Но, вернувшись в Рио, мы не могли выйти на маленькую сцену. Мы должны были выступать на той единственной сцене, что отвергла нас. Граса не искала спасения, она жаждала мести, она желала воскрешения.

Она позировала с сияющим пилотом. Она махала рукой и улыбалась, поднимаясь по металлическому трапу. Кокетливо отставив ногу в туфле на высоком каблуке, она целовала железный бок самолета, словно возлюбленного. Она сидела в кресле пилота, подмигивая в камеру. Смягченная версия Софии Салвадор в красно-малиновом дорожном костюме с голубым кантом – цвета «Аэровиас».

– Они же не ждут, что я надену киношные наряды! Я же в них просто не пролезу в самолет, – жаловалась Граса, когда «Аэровиас» выразила разочарование настойчивым желанием Грасы появиться в «нормальной одежде».

На одну уступку Граса пошла. В ушах у нее, точно елочные игрушки, висели специально изготовленные серьги: самолеттики «Аэровиас», усыпанные стразами.

Как только мы поднялись на борт, нам выдали свидетельства с печатями, будто мы выполнили нечто важное уже одним тем, что вошли в самолет. София Салвадор позировала со своим свидетельством перед группой фотографов, сопровождавших нас. Когда пилот объявил о взлете, она скользнула за занавес, отделявший секцию, отведенную ей и музыкантам, расстегнула гигантские серьги, швырнула шляпку на сиденье и заказала виски – неразбавленный.

За долгие часы полета мы дважды опустошили имевшиеся на борту запасы виски. Летели мы только в дневные часы, на ночь останавливались в Порт-оф-Спейн, а потом в Белене. Там мы спали в отеле, пока самолет дозаправлялся и пополнял запасы выпивки. Я пронесла на борт склянки с разноцветными пилюлями – амфетамин, секонал, нембутал и прочее, – надеясь, что их хватит, чтобы я, Граса и ребята выдержали дорогу домой.

Во время полета самолет трясло, и мы нервничали, но не из-за турбулентности. Мы знали, что путешествуем вместе в последний раз. Кухня, Банан, Буниту и Маленький Ноэль намеревались остаться в Рио. Остальные планировали этим же самолетом вернуться в Голливуд, но только на время. Надо было завершить все дела с «Фокс», упаковать костюмы и записи. Куда мы собирались отправить все эти ящики после того, как они будут сложены, оставалось загадкой.

Чем ближе мы подлетали к Рио, тем больше Винисиусу хотелось обсудить программу концерта в «Копе» и тем больше Граса избегала его. Она перебиралась из нашей секции к фотографам и репортерам, она скрывалась в дамской комнате, она притворялась спящей. Наконец Винисиус загнал ее в угол.

– Мы не можем импровизировать. Если мы хотим вернуться и остаться дома, мы должны выступить как следует.

– Я что, дура? Думаешь, я хочу провалиться?

– Судя по твоему поведению, да. Мы даже не обсудили программу. Мы не репетировали...

– Мне не нужны репетиции, – перебила Граса.

– Да что ты! Сколько времени прошло с нашего последнего живого концерта? Это не съемочная площадка. Второго дубля не будет.

Граса хлопнула по откидному столику. Ее стакан с виски опрокинулся.

– Ты можешь хоть раз в жизни не быть занудой? – зашептала она, поглядывая на занавес, который отделял нас от репортеров. – Мы летим на распроклятом самолете, нам платят за это больше, чем президенту Дутре, а ты все недоволен? Тупое бревно.

– А ты дура, – спокойно ответил Винисиус. – Мы не знаем, что нас ждет. Готов поспорить на твои деньги, что зрители в «Копе» нас на лоскутья разорвут. А тебе все равно. Хочешь повеситься прямо на сцене – бог с тобой. Только нас в это не втягивай.

Граса улыбнулась:

– Какой кошмар – я обеспечиваю тебе полет первым классом. Я вытаскиваю тебя на лучшую сцену Бразилии. Просто трагедия. Позволь-ка дать тебе маленький совет, *querido*: не тревожься обо мне в «Копе». Подумай лучше о вашем с Дор концертке в Ипанеме. Как там вы себя называете? «Кетчуп и Горчица»?

– «Тунец и Майонез», – подал голос Худышка.

– «Вода и Масло», – внес свое Кухня.

– Ей и читай нотации. – Граса указала на меня большим пальцем. – Вон позеленела вся.

Самолет подбросило, затрясло. Я закрыла глаза. Перед нашим вылетом из Лос-Анджелеса звонил Мадам Люцифер, интересовался, успеют ли «Сал и Пимента» дать небольшой концерт в одном из клубов, кто бы мог подумать, Ипанемы. У нас имелась небольшая, но верная армия поклонников, которые хотели бы увидеть нас вживую. Мадам уговаривал: ничего особенного, просто небольшая сцена, два стула, Винисиус с гитарой и я. Мой голос принимают (пусть только Винисиус и несколько простодушных поклонников) за его шероховатость. Появись такая возможность несколько лет назад, я, наверное, порадовалась бы такой поддержке, но теперь я испугалась, а следом разозлилась на себя за этот страх. Ради Винисиуса я притворилась, что рада предложению. Выступить мы должны были вечером накануне большого концерта Софии Салвадор в «Копе».

– Насчет Дор я не беспокоюсь, – сказал Винисиус. – Наш концерт – безделица. Там нет ничего сложного.

Граса поставила пустой стакан.

– А еще меня назвал дурой.

Мы прилетели под вечер, самолет заложил круг над голубыми водами залива Гуанабара, как птица, угодившая в теплую воздушную полость. Ребята, Граса и я сгрудились у иллюминаторов. Рио раскинулся под нами во всей своей роскоши: изгибы пляжей, плавные холмы, фестончатые, буйные заплатки леса. Мы пытались различить Лапу, Кобакабану, дворец Катете, наши пальцы оставляли отпечатки на стекле. Много лет спустя один молодой музыкант увидит Рио с воздуха – так же, как мы – и напишет знаменитую босса-нову (то тихое, акварельное ответвление самбы пятидесятых, начало которому положили «Сал и Пимента») о его красоте. Каждый раз, слушая эту песню, я испытываю ужасную досаду: это мы должны были написать, что чувствуешь, подлетая к Рио, и написать самбу, а не невнятно-зыбкуую боссу, потому что только самба может передать ту смесь ошеломляющего восторга и опустошительного разочарования, которая неизбежна при возвращении домой.

На взлетной полосе было пусто. Ни восторженных поклонников, ни радостных толп с плакатами «Добро пожаловать домой, София!».

– Как и не уезжали, – пробормотала Граса, пока люк самолета с шипением открывался.

Военный автокортеж быстро повез нас к отелю «Копакабана-Палас».

– Может, заедем в Лапу? – спросил Винисиус, когда наш черный «кадиллак», набирая скорость, выезжал из аэропорта. – Вспомним старые добрые времена?

Прежде чем кто-нибудь из нас успел ответить, отозвался сопровождающий с каменным лицом:

– Этот пункт не включен в список. Мы доставим вас в отель, вас там ждут журналисты.

В «Паласе» нам дали тридцать минут, чтобы привести себя в порядок, а потом представители «Аэровиас» в форменных кителях проводили в зал, на пресс-конференцию. Я проглотила две таблетки амфетамина, чтобы не уснуть. Граса выпила четыре эспрессо.

В зеркальном, сверкающем позолотой зале Софию Салвадор и ребят провели к бескрайнему столу. Перед столом тянулся ряд стульев с красными бархатными сиденьями. Толпа журналистов гудела у задней стены. В центре ее возвышался Лев.

Его седая грива не поредела, глаза были все такими же непроглядно черными и видели тебя насквозь. Если в молодости Лев мог бы сниматься в кино в качестве красивого статиста, то в старости он точно бы получил роль с репликами: финансовый воротила, суровый глава разваливающегося семейства, предприимчивый владелец клуба, загадочный незнакомец, который в баре предлагает герою закурить, а потом, достав пистолет, стреляет ему в живот.

– Вы снова наш хозяин, – сказала Граса, протолкавшись к нему и расцеловав Льва в обе щеки. – Никогда не забуду ту ночь, когда я пела в вашем доме. Как хорошо, что отец был жив и видел это.

Лев разглядывал ее, придерживая за локоть.

– Потрясающе выглядишь. Я читал, что ты раздулась как шар, но не верил.

Граса моргнула и улыбнулась еще шире:

– Не верьте всему, что пишут в газетах. Вы, ребята, врите побольше политиков.

Лев рассмеялся:

– Может, в Штатах так и есть, *querida*.

– У лжецов нет национальности, – сказала я.

– Дориш! Как я рад, что ты осталась верна старой доброй эстраде.

Но я слышал, у тебя теперь собственный ансамбль? Как он называется – «Устрица и Жемчужина»?

– Это Дор-то жемчужина? – Граса захохотала.

Лев покачал головой:

– Жемчужина здесь одна, и это ты. Дориш всегда была песчинкой.

Граса сверкнула улыбкой. Один из военных молодчиков Дутры проводил ее к стулу, поставленному по центру стола.

– Странно видеть вас на таком незначительном событии, – сказала я, глядя, как Граса поправляет шляпку и кивает нашим парням, которые рассаживались по бокам от нее.

– Это главное событие года. У нас сейчас ужасная скука, всем заправляют Старик Дутра и его святая женушка. Но возвращение Софии Салвадор? Эту историю можно продать. Я рад, что «Аэровиас» последовала моему совету.

– Вы велели «Аэровиас» нанять нас?

Лев как будто удивился.

– А ты думала, они сами такое придумали? Но в любом случае для них это великолепная реклама. А ведь мои газеты могли написать, как опасно летать в их самолетах.

– И «Копу» тоже вы нам выбрали, – сказала я.

– Я постарался дать вам то, чего вы хотели. «Коп» – великолепное место, согласна?

Я покачала головой.

– Вы писали отвратительные вещи о ней, обо всех нас.

– Я ничего не писал, – возразил Лев. – Мои журналисты делают свою работу. Только, пожалуйста, не говори мне, что ты обиделась. Я слушал ваши песни, и мне понравились тексты. Ты понимаешь, что нужно людям.

– И что же?

– Мы не хотим слушать о чужом успехе или счастье, такое нас только еще больше расстраивает. Нет, мы хотим слышать о разбитых сердцах, о падении и потерях, если только это не наши собственные падения и потери.

Лев кивнул Гресе и направился к своему стулу. Мне места за столом не выделили, и я отошла к стене, за молчаливую линию из правительственных чиновников и людей из «Аэровиас». В зал вели две массивные двери, и у каждой стояло по двое военных.

Пахло заплесневелым занавесом и несвежим кофе. Лев прошептал что-то человеку из «Аэровиас» и засмеялся. У меня на лбу выступил пот. Я едва сдерживалась, чтобы не начать притопывать. Зачем я выпила столько таблеток? Я оглядела зал, надеясь увидеть стол с кофейником или графином, но ничего такого тут не было. Руководитель рекламного отдела «Аэровиас» шагнул вперед.

– Начнем, пожалуй, – сказал он, прозвучало это скорее приказом, чем вопросом.

Журналисты раскрыли блокноты и отвинтили колпачки ручек. Не поднимая руки, заговорил человек, сидевший в первом ряду, – никто из журналистов не возразил, словно они отрепетировали все заранее.

– Госпожа Салвадор, как вы себя чувствуете в Рио?

– Великолепно, конечно. – Греса улыбнулась. – Мне его очень не хватало.

– Значит, вы его забыли?

– Нет. Скучать не значит забыть. Как я могу забыть этот песок, это солнце, этот город?

Поднялся другой журналист:

– Говорят, что вы вернулись в Бразилию, потому что не можете найти работу в США. Это правда?

Рекламщик из «Аэровиас» выступил вперед:

– Ребята, мы договорились...

В тишине раздался стук – настойчивый, неритмичный, он эхом раскатился по всему залу. Военные повернулись ко мне. Кое-кто из репортеров тоже обернулся. Я поняла, что это я постукиваю каблуком по сверкающему паркету. Греса тоже смотрела на меня, она, похоже, совсем не злилась, что я прервала ее пресс-конференцию, – на лице ее читалось даже облегчение. Встал еще один журналист – такой молодой, словно он прогуливал школу, чтобы попасть в этот зал.

– Господин ди Оливейра, – неуверенно начал он. От неожиданности Винисиус дернул головой. – Вы... как по-вашему, новое звучание, которое вы создали с «Сал и Пимента», – это реакция на войну? Мягкий звук, печальные, мрачные стихи?

Винисиус глянул на меня.

– Ну... Дориш... мы с госпожой Пиментел, моей партнершей, вон она, вовсе не ставим себе цели переключать недавние события в песни. Самба приходит к нам естественно, и мы стараемся уважать ее, прислушиваться к ней. Но война повлияла на всех нас, и я думаю, какие-то моменты просочились в нашу музыку. В конце концов, музыка – это отражение нас самих.

Одни репортеры оглядывались на меня, другие строчили в блокнотах. Щеки Грасы вспыхнули, улыбка застыла. Юноша, задавший вопрос, тоже повернулся ко мне.

– Госпожа Пиментел, что заставило вас согласиться дать концерт после того, как вы столько времени старались избегать внимания?

Граса усмехнулась.

– Дор избегает внимания так же, как пчела избегает меда. Я думала, эта пресс-конференция – о возвращении Софии и «Голубой Луны», а не о «Кетчупе и Горчице», или как там они себя называют.

Кое-кто из журналистов засмеялся.

Следующий вопрос был обращен уже к ней:

– Ходят слухи, что в США вас много раз отправляли в клинику для похудения. Американцы хотели изменить ваши бразильские формы?

На лбу Грасы прорезались морщины. Она сцепила руки в замок так, что побелели костяшки.

– Это было лечебное учреждение.

– Вы чем-то болели? – не отставал репортер.

– Сниматься в кино – тяжелый труд. – Голос Винисиуса прозвучал неожиданно громко. – Она нуждалась в отдыхе.

– Ваши танцевальные номера выглядят спорными, – сказал журналист. – Скажите, будет ли ваше выступление в «Паласе» комедийным, как в ваших фильмах, или вы собираетесь петь настоящую самбу?

Винисиус поднялся:

– Вы переходите границы! Спросите еще, не шуты ли мы...

Защелкали камеры. Репортеры бешено строчили в блокнотах. Лев сиял. Представитель «Аэровиас» бросился к столу, хлопнул в ладоши и объявил, что пресс-конференция окончена – София Салвадор и «Голубая Луна» нуждаются в отдыхе перед концертом. Винисиус

взял Грасу за локоть и помог ей подняться. Граса несколько раз моргнула, словно ей в глаз что-то попало, и крепко схватилась за руку Винисиуса. Он быстро повел ее прочь из зала, к лифтам. Я поспешила следом.

– Спать хочу, умираю, – сказала Граса.

Винисиус погладил ее по щеке.

– Не надо умирать, *amor*. Послезавтра мы дадим сногшибательный концерт, ты покажешь этим засранцам, кто тут главный.

Граса посмотрела на меня:

– Их интересовал не мой концерт.

Бар отеля был странно пустым для вечера пятницы. Небо полыхало оранжевым. На Копакабана-Бич начался прилив. Волны казались охваченными пламенем.

Ребята и Граса разошлись по своим комнатам – нам отвели весь пентхаус. Я приняла столько амфетамина, что даже от мысли о том, чтобы остаться одной в номере, мне делалось плохо, я из последних сил пыталась держаться спокойно. Винисиус отыскал меня в баре.

– Ты сейчас должна спать, – сказал он, влезая на табурет рядом со мной.

– Ты тоже. Впереди трудные дни.

– У нас всегда трудные дни. Если зрители в «Копе» хоть немного похожи на сегодняшних репортеров, тебе придется отскребать нас от сцены, так они по нам пройдутся. А остаток поездки ты проведешь, утешая нас.

– Ты будешь ужасным пациентом-нытиком. А я буду медсестра-сволочь.

– Идеальная пара. – Винисиус улыбнулся.

Я рассматривала пустой стакан.

– Что думаешь насчет завтра, насчет нашего концерта?.. Вдруг мы не понравимся зрителям в Ипанеме?

Винисиус накрыл мою ладонь своей.

– Вряд ли будет много зрителей. Людей наверняка придет так мало, что мы с тобой одолеем их, даже если нам свяжут руки за спиной.

Я кивнула и потеряла глаза.

– Ох, сраные таблетки. Мне надо было спустить их в унитаз.

– Хочешь, пойдём к морю?

Не разговаривая, мы медленно, держась за руки, шли по набережной. Вечер был прохладным. По широкому променаду прогуливались парочки. Как это было утешительно – смешаться с ними, щуриться на вечернее солнце. Уличный продавец жарил кукурузу в мангале-тележке. Винисиус остановился и крепко обнял меня.

– Закрой глаза, Дор. Вдохни поглубже.

Я повиновалась.

– Чувствуешь? – спросил Винисиус.

Вечер пах попкорном, соленой водой, надушенными девушками.

– Как в Рио, – сказал Винисиус.

– Мы и есть в Рио.

– Не в том, каким я его помню. – Винисиус покачал головой. –

Город изменился.

– Или мы изменились.

Какое-то время мы шли молча, глядя на океан; небеса темнели – сначала серый, потом темно-синий.

– Ты нервничаешь из-за концерта, это нормально, – сказал Винисиус. – Ты давно не выступала перед залом.

– Спасибо, что напомнил.

– Ты покажешь класс. Просто представь, что мы в студии, только ты и я.

Он не брился с Майами. Я провела рукой по его щеке, просто чтобы ощутить колючесть его щетины. Винисиус закрыл глаза и мягко отвел мою руку.

– Не знаю, смогу ли я вернуться, Дор.

– В отель?

– Нет, в Лос-Анджелес. Худышка собирается вернуться к своей диснеевской секретарше. Граса – к фильмам и своим нарядам. Ты вернешься за Грасой. Ну а мне ради чего возвращаться?

Океан плескался у наших ног. Когда-то, много лет назад, мы с Грасой купались здесь, океан был спокоен, и волна сбивала меня с ног. Я захлебнулась, наглоталась воды, но когда выбралась на песок, желудок у меня был странно пустым. Словно волна выполоскала меня

дочиста. И в ту минуту, стоя на берегу с Винисиусом, я почувствовала себя так же.

– Граса, – сказала я. – Ты вернешься ради нее.

Винисиус помолчал, потом произнес:

– Эта причина больше не кажется мне веской.

– Значит, дождись нас здесь. Пока мы не вернемся домой.

Винисиус нахмурился.

– После концерта в «Паласе» наша «Голубая Луна» перестанет существовать. А если мы провалим этот концерт к чертям – что очень вероятно, – то не будет и Софии Салвадор. Во всяком случае, здесь. Грасе придется найти новых музыкантов или остаться в Лос-Анджелесе. Когда мы уезжали отсюда, то думали, что это лишь на несколько месяцев, но они превратились в годы. Если вы уедете, то снова возвратитесь не скоро. Я не могу ждать вечно.

– Ты что, хочешь порвать с нами окончательно? – спросила я.

Винисиус взял мою руку.

– Если я сейчас поеду за Грасой, то буду ездить за ней всю свою жизнь. С ней всегда так. Сама знаешь, Дор. Что бы ее ни ждало дальше, я стану довеском к ней. Она будет меняться, а я останусь прежним – лошадь, которую запрягли в другую телегу. А потом или ей надоем, или сам возненавижу ее. А я не хочу ненавидеть ее. Меня это доконает.

Я заметила скамейку у асфальтированной дорожки, поодаль от воды. Мы направились к ней, сели.

Если бы можно было остаться в той минуте навсегда, я бы осталась – с ним, с ребятами, с Грасой, с музыкой. Я не написала бы ни одной песни без Винисиуса. Я верила, что если Винисиус нас покинет, творчество закончится. Вся музыка закончится. А если закончится музыка, то и я засохну, как те букеты, что висели по примеркам Грасы. Стану ломкой, как высохшие лепестки. Рассыплюсь, обращусь в пыль.

– А как же «Сал и Пимента»? – спросила я. – Как же наши песни? Ты просто бросишь их?

– Люди в Лос-Анджелесе не слушают нашу музыку. Она нужна только здесь.

– Можно сделать так, что они захотят слушать ее. Можно сделать так, что ее захочет слушать весь мир.

Винисиус погладил мою ладонь большим пальцем.

– Граса права: когда у тебя что-то не получается, ты пытаешься пробиться силой. Но не все можно взять силой.

Я с трудом понимала, что он говорит, – амфетамин наконец начинал выветриваться.

– Как ты скажешь ей, что уходишь?

Винисиус покачал головой:

– Пожалуйста, не говори ей, хотя бы до конца концерта в «Паласе». Граса такая ранимая. Не хочу испортить наш последний совместный концерт.

– Ну а наш завтрашний концерт? – спросила я. – Ты не подумал, что можешь испортить наш с тобой концерт?

– Я... прости... Я так привык быть честным с тобой.

– Все нормально. – Я поднялась, отряхнула брюки от песка. – Ты сам сказал – это небольшой концертик. Неважный. Наш первый, наш последний.

Винисиус потянул меня обратно на скамейку, но я высвободилась и побрела в темноту, по песку, к отелю. Я смотрела на белый фасад «Кобакабаны», ослепительно яркий в темноте – прожекторы были скрыты в кустах. Швейцар заметил меня, разглядывавшую белую громадину, и, кажется, хотел шугануть. Но тут же заулыбался, разглядев мой дорогой дорожный костюм, и распахнул дверь. Я повернулась, вышла на дорогу и поймала такси – до Лапы.

Анаис, как всегда, была воплощением элегантности – черное платье по фигуре, красная помада, – но лицо ее словно погасло под грузом забот, а волосы были собраны в банальный двойной узел. Когда она увидела меня, глаза у нее расширились. Она обняла меня, а затем, не отпуская моей руки, потащила по лестнице. Наверху какая-то девушка, моя ровесница, курила и слушала радио; она предложила мне кофе и принялась варить его так, будто чувствовала себя в этой квартире как дома. Анаис, вспыхнув, представила нас, но имя у девушки оказалось столь затейливое, что я даже не рискнула его выговорить. Втроем мы уселись за круглым столиком, я слушала о тяготах военного времени, о том, как во время войны шляпный бизнес совсем зачах, зато после ее окончания возродился. Я слушала, не слушая: голос Анаис был фоновой музыкой, давно знакомой, которую включаешь, чтобы обрести спокойствие. Однако когда Анаис

упомянула «Сал и Пимента», я встрепенулась. Она знала все наши записи – пластинки давал ей Люцифер.

– Я ошибалась, – сказала Анаис. – Ты можешь петь. Тебе надо было только найти собственную манеру.

Я улыбнулась.

– Завтра вечером мы даем концерт в Ипанеме. Надеюсь, вы с Мадам Люцифер там будете.

– Как, ты ничего не знаешь? – Анаис побледнела. – Люцифера арестовали.

– За что?

– За убийство.

У меня словно обожгло уши. Я покрепче перехватила чашку, чтобы не уронить.

– Какое убийство?

– Он застрелил одного из солдатов Дутры. Тот обозвал его *bicha* в его собственном кабаре. И вот солдат мертв, а Мадам сидит в Фрей-Канека.

Признаюсь честно: я почувствовала не тревогу, а облегчение.

Ночью я спала беспокойно, проснулась рано. Прежде чем Граса и мальчики успели покинуть свои номера, я проглотила две таблетки амфетамина, вышла из отеля и остановила такси. Когда я попросила водителя отвезти меня к Фрей-Канека, он глянул на меня в зеркало заднего вида и продолжал поглядывать всю дорогу – наверное, спрашивал себя, какие дела могут быть у женщины, проживающей в «Копакабана-Палас», в городской тюрьме.

В зале свиданий пахло луком и тухлыми кухонными тряпками. Надзиратель ввел Люцифера, сопроводил к поеденному ржавчиной стулу напротив меня. Люцифер сохранил благородную осанку аристократа. Чистая роба, ногти в порядке, а волосы, которые он всегда с великим тщанием расчесывал на прямой пробор, закручены в множество хитрых косичек, спадавших на затылок. На шее висел на шнурке кожаный мешочек – я видела такие в доме Тетушки Сиаты. Старожилы называли их *patuás*; в таких носили травы, талисманы, бусины и другие предметы, важные в кандомбле. Я никогда не думала, что Мадам Люцифер суеверен, но тюрьма кого угодно сделает верующим.

– Хорошо, что пришла меня проведать сегодня, – сказал Люцифер. – А то могла и не застать. Меня переводят на Илья-Гранди.

На Илья-Гранди, острове неподалеку от побережья, находилась одна из самых строгих тюрем Бразилии.

– Господи, – сказала я.

– Нет смысла призывать его мне на помощь, – заметил Мадам. – Думаю, кое-кто из здешних служаек решил, что я слишком удобно устроился. Человек с деньгами может купить здесь все, а деньги у меня имеются благодаря тебе и нашей Софии. Так что у меня есть возможность понемногу роскошествовать, на что надзиратели смотрят сквозь пальцы. Конечно, на Илья-Гранди будет иначе.

– Я найму тебе адвоката!

– Не растрачивай зря доллары, – посоветовал Люцифер. – Тем более те, которых у тебя нет. Не смотри на меня так! Я читаю газеты. Вы вернулись, потому что вас выдворили из Лос-Анджелеса.

– Никто нас не выдворял. Мы продолжаем продавать альбомы.

Мадам улыбнулся:

– «Сал и Пимента»? Хорошая музыка, девочка. Но слишком другая, чтобы стать хитом. Голос у тебя как у старого пьяницы. Словно ты вышептываешь секреты, а наутро пожалеешь об этом. Но мне нравится.

– Сегодня вечером мы даем концерт в одном клубе в Ипанеме.

– Место для молодых. И богатых. Забавно, что им нравятся ваши песни. Но молодые слушатели лучше старых. Вы какое-то время сможете двигаться вперед.

– Винисиус не хочет. Он остается здесь.

– А ты?

Я покачала головой.

– Дашь сигарету? – спросил Мадам.

Я раскрыла сумочку и достала из портсигара две сигареты. Надзиратели даже не взглянули в нашу сторону, когда я закурила по одной для каждого из нас. Люцифер сделал несколько затяжек, рассматривая мой костюм, белые перчатки, лодочки с золотыми пряжками.

– Возраст тебе к лицу, – сказал он. – Есть девушки, которые со временем становятся лучше. – Он рассмеялся и покачал головой. – Когда ты работала на меня, была на побегушках, мне нравилось

смотреть, как ты подметаешь. Ты мела пол в борделе так, будто злилась на грязь – чего она сюда заявила. У тебя были честолюбивые мечты, девочка. И всегда будут.

В его голосе звучало сожаление, почти грусть.

– Когда тебя выпустят? – спросила я.

Мадам склонил голову набок:

– Ты разве не понимаешь, девочка? Мы с тобой прощаемся.

– Ты же не всю жизнь просидишь на Илья-Гранди.

– Двадцать семь лет – долгий срок, а жизнь там суровая. – Мадам Люцифер глубоко затянулся. – Значит, эти засранцы все-таки пустили ее в «Палас». Что она будет петь?

– Не знаю. Никто не знает. Она собирается решать на ходу, при том что всю жизнь мечтала петь на этой сцене.

– А ты бы не действовала по наитию?

– Нет. Я – нет.

– Думаешь, она провалится?

Я припомнила, какой Граса была в последний год – много спала, а когда танцевала, было видно, насколько она растолстела; потом ехала в Палм-Спрингс, откуда возвращалась усохшая и апатичная.

– Нет, – сказала я.

– А тебе хочется, чтобы она провалилась? – спросил Мадам.

Наши глаза встретились, мы уперлись друг в друга взглядами, как много лет назад, когда я просила о помощи. На этот раз первым отвел глаза Мадам.

– Даже если она забудет слова всех песен, это неважно, сама знаешь. Люди будут ее обсуждать. О ней еще долго будут говорить. Она лучшая в своем роде.

– И что это за род такой?

– Она настоящая звезда, мирового уровня, рождена и вскормлена здесь, в Бразилии. Может быть, люди ее за это ненавидят, но точно не забудут. Поэтому я ей завидую.

Мадам бросил окурок на пол и растер подошвой сандалии. Нагнув голову, снял с шеи *patuá* и настойчиво вложил кожаный мешочек в мою обтянутую перчаткой ладонь:

– Мы в расчете, девочка. Больше никто из нас никому ничего не должен.

Прежде чем я успела ответить, Мадам заговорил снова:

– На то, что в этом мешочке, вы можете записать очень много пластинок. Продать будет легко. Сделай что-нибудь для себя. Нет ничего дурного в том, чтобы хотеть что-то для себя. Нет ничего неправильного в том, чтобы взять то, что принадлежит тебе.

Я отодвинулась от стола:

– Мне пора. У меня концерт через несколько часов.

Люцифер кивнул.

– Мне бы хотелось быть там, смотреть на тебя, сидя за дальним столиком, как бывало.

Я вышла из ворот тюрьмы, села в такси, и оно быстро провезло меня через весь город, прямо ко входу в отель. В машине я сняла перчатки и потянула кожаные шнурки, стягивавшие *patuá*. В темном зеве мешочка сверкнул бриллиантовый кубик.

В первый раз я увидела его в рабочем кабинете сеньора Пиментела, на сахарном заводе, когда стояла рядом с Грасой, а сеньора просила разрешения отвезти нас на концерт в Ресифи. Я тогда понятия не имела, что такое музыка и почему сеньора решила, что нам необходимо ее услышать; мне хотелось положить сверкающий кубик в рот и посмотреть, растает ли он на языке. Как наивна я была, думая, будто что-то, чему предназначено пережить века, может так просто исчезнуть внутри меня, одной только силой моего желания. И вот, почти четырнадцать лет спустя, кубик тяжело лежит у меня на ладони.

Выйдя из машины у отеля, я не поднялась в наш пентхаус, а перешла улицу и направилась к пляжу. Каблуки увязали в песке. Прищурившись, я прошла между первыми пляжниками и добралась до пустой дорожки у воды. Кожаный мешочек с заключенным внутри него кубиком лежал в кулаке тяжело, как камень. Мадам Люцифер прав – я могу заложить этот кубик и получить пачку купюр. Достаточно денег, чтобы записать с Винисиусом несколько новых пластинок; достаточно, чтобы они помогли мне и дальше жить в Рио, в каком-нибудь пансионе, как когда-то; достаточно, чтобы не прийти на обратный рейс до Лос-Анджелеса. Я представила, как Граса сидит в самолете «Аэровиас» и не отрывает взгляд от иллюминатора, а я стою на берегу, наблюдая, как она уносится в облака.

Я размахнулась и швырнула мешочек в волны.

Клуб в Ипанеме был крошечный, но содержался в порядке: бутылки аккуратно расставлены за барной стойкой; столы и стулья новые, одинаковые, а не собранные кое-как отовсюду; сцена (если можно назвать сценой деревянное возвышение размером с двухспальную кровать) недавно покрашена черным. Запах краски еще держался, и владелец клуба открыл переднюю и заднюю двери, чтобы проветрить. Ни микрофонов, ни динамиков, ни розеток.

– Придется петь громче, чем в студии, – заметил Винисиус, когда мы изучали сцену.

Мы приехали рано, чтобы исключить всякие неожиданности.

– Мы же не орем наши песни, – сказала я. – Не так мы их писали. Они вроде как тихие.

– Значит, надо придумать, как петь тихо и в то же время громко.

Я кивнула. По спине стекал ручеек пота; если я не возьму себя в руки, то к концу выступления промокну насквозь. Я нашла стул в пустом баре и попросила у владельца выпить.

«Что наденешь? – спросила Граса, когда мы с Винисиусом еще только собирались. – Я не могу выпустить тебя на сцену как оборванку», – объявила она и, порывшись в моем чемодане, извлекла широкие черные брюки с атласными лампасами и блузу бежевого шелка. Потом потыкала мне в губы помадой и заколола волосы в элегантный пучок. «Вот, – сказала она. – Теперь ты сила, с которой придется считаться».

В присутствии Грасы я действительно чувствовала себя сильной, но ко второму стакану в Ипанеме помада смазалась, а пучок растрепался.

– Пора за сцену, – сказал Винисиус.

Начала стекаться публика. На эстраду поставили два стула. Возле одного на подставке пристроили гитару Винисиуса, на другом лежали коробок спичек и пандейру Кухни. Я не слишком хорошо играла на нем, но управлялась сносно. Кухня одолжил мне бубен, зная, что мне надо будет чем-нибудь занять руки.

За сценой мы с Винисиусом устроились в тесном кабинетике владельца клуба, заменявшем еще и чулан, где хранились швабры. Винисиус положил руку мне на колено, и я прекратила отбивать ритм пяткой.

– Главное – музыка, – сказал он. – Как будто ты просто записываешь дорожки на студии, ага?

Я кивнула. Мне казалось, будто рот забит ватой. Винисиус предложил мне воды, но я отказалась: при одной только мысли о том, как жидкость потечет в желудок, меня скрутил рвотный спазм.

По полу зала простучали каблуки. Я уловила ее запах еще прежде, чем она вошла в кабинет, – розой пахло так, словно Граса выкупалась в духах.

– Уютное местечко. – Она поцеловала Винисиуса в губы, меня – в щеку.

– Разве ты сегодня вечером не отдыхаешь? – прохрипела я, оттирая с лица ее помаду.

– Думаешь, я пропущу такое событие? – Граса разглядывала швабры. – Они случайно не ждут, что вы после концерта вымоете пол?

– Нам не нужны шикарные гримерки, – ответил Винисиус.

– Если так рассуждать, вам вообще не нужны гримерки, – заметила Граса. – Ну не дуйся, Дор, я же шучу!

Я опустила голову и уставилась на носки своих туфель. Граса нашла стул, подтащила поближе ко мне. Прошелестел шелк, меня обдало запахом роз, маленькая ладонь Грасы легла мне на спину.

– Представь себе, что это рода, – мягко сказала она. – Ты у Сиаты. Я сделала перерыв, и теперь поешь ты. Я сижу в баре, рядом с Винисиусом. Если ты поднимешь глаза, то увидишь меня. Договорились?

Я кивнула, не отнимая рук от лица. Сколько раз я представляла себе, как Граса наблюдает за мной откуда-нибудь из тени, пока я блистаю перед публикой. Моя мечта сбылась, но радоваться не получалось. Может быть, Анаис права и я не выдержу испытания сценой. Конечно, я буду не одна – со мной Винисиус. Но он не Граса. Мне хотелось дуэта, но не этого.

Я подняла глаза, приготовившись упрашивать Грасу присоединиться к нам, но она уже покинула чулан со швабрами.

Послышались аплодисменты. Свист. Заговорил хозяин клуба: «андеграунд, аутентичный, нью-саунд» и прочая ахинея. Потом прозвучало название: «Сал и Пимента»! Еще аплодисменты, еще свист и выкрики. Винисиус поднял меня на ноги, и мы вышли на скудно освещенную сцену. Не помню, как я села, повернув голову так, чтобы

видеть и Винисиуса, и публику. Он улыбнулся, взмахнул рукой, сказал что-то, от чего в зале приглушенно засмеялись. Потом взял гитару и взглянул на меня.

Винисиус заиграл тихое, повторяющееся вступление к «Между нами». Первые ноты должны прозвучать как волны, набегающие на песок. Нам с Винисиусом эта мысль пришла в голову в студии. Ритм должен быть мягким и настойчивым, звуковой прилив.

Винисиус снова проиграл вступление. Его ботинок тихонько пнул меня. Мне пора запеть. Да. Я же теперь пою.

Все было шуткой
Между мной и тобой.
Все на минутку
Между мной и тобой.
Глупые просьбы,
Яблоки и гроздь,
Засмеемся, заплачем,
На двоих сигарету значим
Ты и я.

Голос звучал тихо. Слишком тихо. Гитара Винисиуса, пандейру у меня в руках, слушатели, ерзавшие в темном зальчике клуба, звяканье бокалов в баре – все заглушало меня. Пот мелкими каплями выступил на лбу, словно в кожу впились десятки moskitov. Я стерла их. Винисиус взглянул на меня, округлив глаза. Он продолжал играть. В толпе зашептались.

Все было разговором,
Пока другие спят.
Все – наши следы
У кромки воды.
Все было
Голосом твоим,
Запахом твоим,
Ртом твоим, хранящим

Тайны твои и мои.

Я сморгнула пот с ресниц, посмотрела мимо Винисиуса. Граса сидела в баре, скрестив руки на груди и досадливо сжав рот. Она подняла большой палец и беззвучно произнесла: «ГРОМЧЕ». Я кивнула. Да. Громче. Я закрыла глаза и положила руку на живот, словно снова пела упражнения в шляпной мастерской Анаис. Мой голос поднялся, шероховатый, но полный, отягощенный потерями. Я представила себе, как он шерстяным пледом покрывает зал, каждого сидящего здесь. Шум стих, слышалась только гитара Винисиуса, ноты, которые я знала так хорошо – так же хорошо, как удары собственного сердца.

Все было песней
Между мной и тобой.
Все так бесчестно
Между мной и тобой.
Все было стихом,
Молитвой,
Грехом
Между мной и тобой.

Зрители сидели тихо, но я ощущала их ожидание, их жадное внимание; каждая нота, каждое слово, каждый аккорд были им жизненно необходимы. Я точно знала, что они чувствуют, ибо то же самое чувствовала сама, когда двенадцатилетней сидела с Грасой и сеньорой Пиментел в театре Санта-Исабел и слушала исполнительницу фаду. Она заставила меня забыть обо мне, о моих ошибках и бедности, об одиночестве, о моем имени. Слушая ее, я перестала быть Ослицей. И после уже не могла жить без музыки. Это не была зависимость – с зависимостью можно справиться, это была насущная потребность. Я жила благодаря ей. И поняла, что именно этого мне хотелось – не чтобы меня помнили, а чтобы я была нужной. В эту минуту, в этом клубе я была нужной.

Наступила тишина. Потом раздались хлопки. Восторженные выкрики. Винисиус улыбнулся и кивнул, не одобряя, а спрашивая: «Еще?» Я кивнула в ответ.

Мы провели на сцене два часа без перерыва, а потом еще исполнили две песни на бис. В конце мы с Винисиусом встали. Он поцеловал мне руку, и я снова поглядела мимо него, на Грасу. Она не улыбалась, не хлопала. Она сидела на стуле, скрестив ноги, очень сосредоточенная, словно решала в уме математическую задачу. Греясь в лучах этого выступления, ощущая дрожь восторга от того, что наши песни, обретя слушателей, стали настоящими, я верила, что Граса видит меня в первый раз так, как я сама видела себя в тот краткий миг, – я приехала сюда на взводе, трясясь от страха, а уезжаю полностью изменившейся благодаря музыке.

Выступление в «Копе» было развилкой, после которой наши пути должны были разойтись. Ребята собирались уйти, и мы, конечно, хотели, чтобы наше последнее совместное выступление стало бомбой, а не провалом. Но, думаю, все мы втайне надеялись, что оно будет таким успешным, что нам не придется расходиться. София Салвадор будет реабилитирована, «Голубая Луна» воссоединится, и мы вернемся туда, откуда начинали. Но другая часть меня надеялась, что они провалятся, надеялась, что новое начало даст мне повод остаться рядом с Винисиусом (хотя он и не приглашал меня остаться) и стать «Сал и Пимента». А Граса? В какой точке этого перепутья она стояла? Хотела она остаться Софией Салвадор или пережить падение, чтобы возродиться кем-нибудь еще? Теперь я понимаю: для нее все было не так однозначно. В каждом успехе кроется потеря, а в каждом провале – приобретение. Граса знала это как никто другой.

«Копакабана-Палас» после нашего отъезда из Бразилии перестроили. Главная сцена стала круглой, открытой со всех сторон. Не было больше занавеса, за которым можно прятаться, не было кулис, куда мог отступить артист. Чтобы попасть на сцену, музыканты и певцы входили в огромные зеркальные двери и шли через зрительный зал. Это шествие само по себе было спектаклем. Слушатели сидели за серебристыми столиками на двоих и на четверых, уставленными пепельницами и бокалами. Когда артисты оказывались на огромной круглой эстраде, залитые светом и окруженные слушателями со всех

сторон, им уже некуда было спрятаться. Чтобы уйти, пришлось бы снова пробираться через толпу.

В ночь концерта, посвященного возвращению Софии Салвадор, «Копы» была набита под завязку – больше семисот человек сидели вокруг сцены, теснились на балконах. Здесь были улыбающиеся представители «Аэровиас» и чопорные люди из правительства со своими женами; газетчики, критики и звезды самбы, которые остались в Бразилии и считались патриотами. Здесь были антрепренеры, разбогатевшие во время войны, и представители старинных аристократических семейств Рио. За ближайшим к сцене столиком сидела Араси Араужо с каким-то генералом. Тут же, в первом ряду, был Лев. На дальних балконах угнездились поклонники из Лапы, Глории и городского центра: радио «Майринк» и «Аэровиас» разыграли в лотерею пятьдесят билетов. Президент Дутра не приехал – его жена, которую по-доброму прозвали Маленькой Святой, заболела. Рядом со сценой ждал фотограф, несколько человек из «Майринка», вооруженные аппаратурой, собирались вести прямую трансляцию на всю Бразилию.

Хотя пространства за сценой в «Копе» не предусмотрели, у самой сцены, в ее основании, находилась маленькая незаметная дверь. Она вела в белый проход без окон, где пахло хлоркой и сигаретным дымом. Коридор уходил в самое нутро отеля, мимо открытых труб, дверей с надписью «Не входить!» и намалеванных на стенах знаков, указывающих официантам и персоналу, где кухня и бар. До начала оставалось несколько минут. Ребята из «Голубой Луны» облачились в свои лучшие черные смокинги и выглядели торжественно. Я ходила взад-вперед и курила. Мы ждали Грасу.

Когда она наконец появилась, бусины на подоле ее юбки протащились по полу с таким звуком, словно Граса въехала на роликах.

Костюм ей изготовила «Аэровиас» специально для концерта: укороченный лиф из атласа, массивная юбка, весившая без малого четыре килограмма, расшитая вручную красным и голубым – цветами аэрокомпании. Красная помада; короткая стрижка – волосы она незадолго до выступления покрасила черным; в ушах – серьги-розы с кулак величиной, которые она привезла из Лос-Анджелеса. (Еще раз надеть серьги-самолетики она отказалась.)

– Чертова юбка, – выругалась Граса, когда ткань зацепилась за гвоздь, торчавший из стула в гримерной. Граса рванулась, и юбка порвалась. Бусины заскакали по полу.

– Я сбегаяю за запасной юбкой, – предложила я. – Когда ты выйдешь на сцену, бусины так и будут сыпаться.

Граса пожала плечами:

– Да пусть.

– Но ты поскользнешься, когда начнешь танцевать. Упадешь.

Граса коснулась моей щеки.

– Всегда ненавидела твоё карканье. Но я рада, что ты и правда волнуешься за меня. Кто бы ещё это делал.

Уже во время концерта я поняла, что Граса и не собиралась танцевать. Но в ту минуту меня так потрясла её ласковость, что я даже не услышала стука в дверь гримерной. Служащий сцены объявил, что время начинать. Ребята и Граса взялись за руки и образовали круг, я встала рядом.

Сидеть в зале – это как переходить вброд водоем, в котором полно других людей; они рядом с тобой, и когда кто-нибудь делает движение, даже самое незначительное, по воде идет рябь. Не отдавая себе отчета, ты тоже начинаешь двигаться, и твои движения посылают собственную рябь. Такой обмен происходит во время любого живого выступления – обмен не только между артистом и публикой, но и между теми, кто сидит в зале.

Как только София Салвадор и «Голубая Луна» поднялись на сцену, я ощутила мрачную решимость зала. Со стороны «Аэровиас» раздались жидкие хлопки, которые быстро стихли, словно люди захлопали не вовремя и поняли свою ошибку. София Салвадор улыбнулась.

– Здравствуйте, друзья! – воскликнула она.

Зал молчал. Граса коротко оглянулась на ребят и рыкнула:

– Давайте «Грингу»!

Ребята повиновались.

Я тогда не поняла, почему она выбрала именно эту песню, мне показалось, что она утратила талант читать зал. Слушатели не собирались облегчать Софии Салвадор жизнь, они отнюдь не приветствовали её, вернувшуюся, с распростертыми объятиями, они

собирались заставить Софию Салвадор заслужить их похвалу, ей полагалось просить прощения у них – у всех бразильцев, слушавших в эту минуту радио, – за то, что она их оставила. Но «Гринга» менее всего походила на просьбу о прощении.

Голос Софии Салвадор полетел к балконам. Бусины с ее юбки сыпались на сцену, ноги топтали их, давили. Она взмахивала руками. Она подмигивала мужчинам и женщинам, сидевшим у сцены. Она улыбалась, крутилась и хлопала ресницами. Ребята играли с тем же воодушевлением. Когда никто в зале не улыбнулся Софии в ответ, она подбавила жару, но без своей обычной жизнерадостности. Напротив – ее движения стали резкими, голос зазвучал жестко, словно она вступила в бой и сдаваться не намеревалась.

В конце «Гринги» София Салвадор победоносно вскинула руки. Капли пота усыпали ее лоб. Грудь вздымалась. Компания из «Аэровиас» воодушевленно зааплодировала, но быстро прекратила, сообразив, что они тут белые вороны. Не считая нескольких неуверенных хлопков с балкона, в зале стояла тишина. Репортеры строчили в блокнотах. Лев широко улыбался: провал продаст больше газет, чем триумф.

– Кто-нибудь подаст мне стул? – спросила Граса в зал.

Ледяное молчание. Наконец один из служащих «Аэровиас» отважно вынес на сцену свое кресло.

– Спасибо тебе, *querido*. – Граса села.

Я стояла у задней стены зала, у высоких дверей, через которые входили и уходили музыканты. Увидев, как Граса почти упала на позолоченный стул, я хотела кинуться к ступенькам: если Грасе нехорошо, я попросту уведу ее отсюда! Граса, увидев, как я дернулась к ней, выставила руку ладонью вперед, как охранник, преграждающий путь.

– А еще стул? Для моего гитариста, – спросила она. – Он стар как мир, ему тяжело стоять.

Раздались смешки. Винисиус выглядел ошеломленным. Другой человек из «Аэровиас» вынес на сцену свое кресло.

– Садись, – велела Граса. Винисиус взглянул на Худышку, тот пожал плечами. Винисиус сел напротив Грасы. – Сегодня вечером мне хочется попробовать новое. Может быть, и вам хотелось бы чего-нибудь нового?

Раздались отдельные робкие хлопки.

– Понимаете, – продолжала Граса, – я смотрела в зал, и мне показалось, что вам хочется зрелища. Настоящего зрелища. А не то, что вы уже сто раз видели. Что ж, я живу, чтобы служить вам.

Начались перешептывания. Араси Араужо заерзала в кресле. Зал был заинтригован, взволнован – как и я сама. Может, София Салвадор пьяна или готова пойти вразнос? Что она собирается выдать? Станет ли эта ночь катастрофой или откровением?

София Салвадор расстегнула клипсы – одну, другую – и уронила их на пол возле стула. Провела рукой по волосам, странно взъерошив их. Кончиками ногтей отклеила накладные ресницы и щелчком стряхнула их, будто насекомых. Потом потянулась в вырез и достала белый носовой платок. Но она не стала промокать пот на лице, нет. Она приложила белый квадрат ко рту и стала тереть – в одну сторону, в другую, снова, еще раз, пока ткань вся не стала красной, а губы Софии Салвадор не порозовели, словно лишились кожи.

Она встала, сняла микрофон со штатива, отбросила ногой шнур и села. А потом, не кивнув Винисиусу, даже не взглянув на него, запела нежнейшим шепотом:

Все было шуткой
Между мной и тобой.
Все на минутку
Между мной и тобой.

Винисиус смотрел на Грасу, не веря своим глазам, но быстро собрался и стал подыгрывать. За ним и ребята уловили тему и заиграли негромко и медленно, не перекрывая тихого голоса Софии Салвадор.

Она спела все песни, что я пела в Ипанеме накануне вечером, в том же порядке. Она пела их так же, как я, только лучше. Да, ее голос был глаже, но в нем звучало такое ужасающее одиночество, как если бы она пела сама себе в пустом клубе, а не в лучшем концертном зале Бразилии. Она не путала ни строк, ни ритма, словно знала эти песни всю жизнь, словно они были ее, а не мои, словно песни, которые она украла у меня, были не песнями, а криком души, обращенным к зрителям. Правду знали только я и Винисиус.

Она стала другой Софией – прикрытые глаза, рот в остатках помады, – она стала слабее и старше. Она обнажилась перед залом. И молчание зала ощущалось теперь по-другому: напряженное внимание, интерес, смущение за нее.

Я смотрела на ее взъерошенные волосы, на сброшенные серьги, на испачканный платок возле ноги. Она не попросила салфетку. Не вытерла рот ладонью. Она заранее приготовила платок, спрятала до поры в платье. А ресницы? Они отклеились легко, как если бы лепестки опали с цветка. Маска оказалась снята несколькими грациозными взмахами. Весьма продуманная спонтанность.

В конце выступления Граса закрыла глаза, словно наслаждаясь редким деликатесом. Потом встала и поклонилась. В зале стояла болезненная тишина – можно было подумать, что зрители много раз репетировали молчание и намеревались придерживаться сценария. Хлопали только несколько отчаянных душ на балконе. Сидевшая за ближайшим к сцене столиком Араси Араужо с ошеломленным видом зашептала что-то генералу. Прочие слушатели последовали их примеру, снова повернулись к столам, закурили, стали большими глотками пить крепкие напитки, заговорили приглушенными голосами – как перешептываются свидетели автомобильной аварии, которые не знают, как реагировать и стоит ли спасать пострадавших.

Граса медленно сошла со сцены. Винисиус держал ее под локоть, чтобы она не повалилась под тяжестью своей юбки. Она шла сквозь толпу, высоко вскинув голову, и зрителям понадобилось много усилий, чтобы не смотреть, как она уходит, но я заметила, как некоторые украдкой бросают взгляды – над бокалом, посреди разговора – на Софию Салвадор, которая в последний раз покидает «Копакабана-Палас». За ней следовали «лунные» ребята – сжав губы, с напряженными от ярости челюстями. У Худышки глаза налились влагой. Когда он наконец позволил себе моргнуть, уже у двери, две огромные слезы поползли по его толстым щекам прямо в рот. Прежде чем выйти вслед за ними, я оглянулась на сцену. Брошенные серьги Софии Салвадор лежали, поблескивая, на полу.

Конец меня

Тише, прошу.
Тишины я хочу, чтобы
Выйти из лабиринта, *querida*.
Ты была сахаром на моем языке,
Сладкая песчинка.
Но ты ушла налегке.
Какая тому причина?

Без пути я брожу.
Оставь же меня бродить.
Самбу я сторожу,
А она прочь от меня летит.

Мимо наших старых убежищ,
Мимо всех начинаний наших
Я прохожу в больной тоске,
Глядя, как девушки пляшут.
Что за шутку сыграла со мною жизнь – посмотри:
Оставила лишь тупики.

Без пути я брожу.
Оставь же меня бродить.
Слышу ее, так тихо, но верно,
Песню твою и мою.
Мою и твою.

Листья прощают дерево,
Что сбрасывает их осенью.
Раковина прощает море,
Что ее на песок выносит.
Amor, прощу ли себя я,
Что вырыла эту могилу
Собственными руками?

Тише, прошу.
Тишины я хочу.
Я поймала ее, живую,
но не выпущу до тех пор, пока
не допою эту самбу – самбу «Конец меня».

* * *

Бывают мгновения, за долю секунды до пробуждения, когда я забываю, где я. Скорчилась ли я на жесткой подстилке рядом с Неной? Лежу ли на койке в дортуаре «Сиона»? Я в облезлой комнате в Лапе или в особняке на Бедфорд-драйв? Целый список проносится в моей голове, и самым фактом своего существования этот список говорит: и сами места, и люди, их населявшие, покинули и меня, и этот мир.

Мы с Винисиусом купили этот дом тридцать лет назад, после свадьбы, в те времена, когда Майами-Бич считался обиталищем стариков и выброшенных на обочину жизни неудачников. Мы с Винисиусом упрямо верили, что мы ни те ни другие. Дом был хаотичным, с множеством окон, с внутренним двориком, испанским фасадом, а ванн в нем было явно больше разумного. Словно бы в посрамление господскому дому Риашу-Доси.

Когда мы въехали, во дворе перед домом росли два дерева, большое и маленькое. В стволе большого была трещина, и маленькое проросло в эту трещину. Его корни зарылись под ствол большого, а ветки тянулись вверх. Оно оплело большое дерево сетью отростков, и казалось, что они душат друг друга в объятиях.

– Они танцуют, – говорил Винисиус.

Наш садовник спросил, нельзя ли срубить маленькое дерево.

– Баньян, – объяснил он. – Плохо.

– Пусть останется, – ответила я и нашла другого садовника.

В первый же год мы с Винисиусом увидели, что маленькое дерево догоняет большое. И вскоре они уже были одинаково высокими, с одинаково толстыми ветками, они крепко, будто любовники, держались друг за друга. Со временем маленькое дерево почти полностью перекрыло большое своими жилистыми отростками и

корнями, и в конце концов на виду остался один-единственный толстый сук, протянувшийся из объятий баньяна, – только это и осталось от старшего дерева.

В Майами мы с Винисиусом жили счастливо: утром гуляли по пляжу, после обеда заходили выпить кафесито в одну и ту же забегаловку, записывали новые пластинки. Мы даже съездили на гастроли как «Сал и Пимента» в Европу и на Зеленый Мыс, давали небольшие концерты, пока память не начала подводить Винисиуса. В Бразилии мы не выступали. После смерти Грасы мы так и не вернулись домой. Сначала – потому что мы с Винисиусом злились из-за концерта в «Копе» и его последствий. Потом – из-за военной хунты, подмявшей под себя страну, когда артистов вроде нас либо загоняли в рамки цензуры, либо сажали. Винисиус твердил, что мы вернемся домой, как только Бразилия станет демократическим государством. Это произошло в 1988-м, слишком поздно. Бразилия перестала быть для Винисиуса даже воспоминанием. Если он и тосковал по ней, то так же, как тосковал по всем местам и людям, которых в конце концов забыл, – безмолвно, со слезами. Чаще он бывал жизнерадостным, но выдавались дни, когда он сидел в патио и бездумно смотрел на танцующие деревья, щеки его были мокрыми, из носа текло. Я приносила носовой платок, опускалась на колени рядом с ним и отирала ему лицо. Только в такие минуты он и вспоминал обо мне, вспоминал как о чем-то безопасном и спасительном, вроде любимого кресла или верной собаки. Я тоже сделалась для него пустым местом, начисто стершимся из памяти.

Что осталось, так это песни. Не наши песни, не песни времен «Сал и Пимента», хотя их мелодии были сложнее, а стихи лучше. Нет – песни, оставшиеся с Винисиусом, песни, которые он пел, когда уже не мог удержать вилку, а потом – когда слова стали недоступны ему – песни, которые он гудел про себя, были нашими самыми ранними мелодиями, теми, что мы сочинили еще в Лапе. Он просил меня ставить пластинки без конца, а когда уже не мог просить, когда ему пришлось отправиться в больницу, я притащила проигрыватель в палату и крутила их там. Песни, к которым мы возвращались снова и снова, позволяли нам каждый раз расслышать в них что-то новое. Они были знакомыми и все же загадочными, как самая сильная любовь.

– А где Граса?

Он спрашивал о ней, пока мог говорить. И даже когда имя ее ушло от него, она сама не ушла.

– Она придет? Когда она придет?

– Скоро, – отвечала я. – Ты же знаешь, как долго она собирается.

И он улыбался.

Когда слова окончательно оставили Винисиуса, он просто смотрел на дверь и ждал. Ждал всегда. На лице было написано предвкушение, как у ребенка. Но в дверях появлялась я, и он не мог скрыть разочарования.

В тропических лесах идет жестокая борьба за солнце, в мире под кронами царят вечные сумерки. Как-то раз, давно, я прочла об этом в одной книжке. Узнала я и другие, более добрые названия того отвратительного амбициозного деревца, что росло у нашего дома, того, что проложило себе дорогу по спине другого, – бенгальский фикус, эпифит. Его натура такая: зацепиться, прикрепиться, расти вверх и вниз одновременно. Когда Винисиус умер (так и лежа лицом к больничной двери), большое дерево у нашего дома превратилось в иссохший ствол где-то посреди разросшегося, крепкого баньяна. Сегодня, когда я пишу эти строки, нет больше и мертвого ствола. Баньян не занял его место, внутри баньяна – пустота, но он успешно продолжает свое дело.

Я слушаю наши ранние песни. Каждую ночь. Я делаю это по той же простой причине, что и Винисиус, – не ради нашей музыки, не ради воспоминаний о нас двоих, но чтобы услышать голос Грасы.

Конец меня

Если вам случалось попасть в аварию, или спастись из пожара, или пережить минуты, когда самолет внезапно уходит носом вниз, словно рвется воображаемая нить, что держит его в воздухе, или если вы попадали в менее драматические, но равно опасные положения – сбила машина; кусок застрял в горле и не дает вдохнуть; поскользнулся и падаешь, доли секунды растягиваются и ты замираешь в ожидании удара, – то вам знакомо чувство облегчения, приходящее с осознанием, что вы спасены. Но вместе с облегчением вы чувствуете и другое. Именно в такие минуты мы понимаем: жизни совершенно все равно, выживем мы или нет. Мы отданы на милость сил, которые неспособны постичь, мы считаем, будто контролируем жизнь, но она выскользывает из рук, как рыба.

Так я чувствовала себя в ту ночь, когда Граса закончила петь в «Копакабана».

Мы не успели дойти до двери с надписью «Служебный вход», как к нам подбежал юноша в военной форме.

– Подождите! Не знаю, что там с воспитанием у тех господ на дорогих местах, но, по-моему, вы были просто потрясающая!

Не говоря ни слова, Граса обхватила лицо юноши ладонями и легонько поцеловала в губы. А потом скрылась за дверью с надписью «Служебный вход».

Мы не потрудились зайти в примерку, где ждал нас репортер с радио «Майринк». Официант выпустил нас через кухонную дверь, за которой обнаружился грузовой лифт. В лифте поначалу все молчали. Железная решетка врезалась мне в спину. Голова была как хрупкий инструмент, обернутый в вату.

Винисиус что-то сказал. Что? Я не слышала, но Граса изменилась в лице, черты стали жесткими.

– Нам нужен был шанс, – сказала она.

– Нет. Это тебе нужен был шанс. Это наши песни, мои и Дор. Они не для твоего голоса.

Руки Грасы легли крест-накрест на красный лифт.

– Значит, вы с ней лучше нас? Ты же сам говорил, что никто не может присвоить самбу. Похоже, ты так больше не думаешь? Я не

убила эти песни, я их оживила.

Лифт содрогался и завывал, как раненое животное, и мы были заперты в его брюхе.

– Дор? Как ты? – спросил Винисиус. Его голос был приглушенным, словно он спрашивал из другой комнаты, а я слушала, приложив чашку к стене. Не помню, что я ответила, но Винисиус вдруг сгорбился, и лицо стало беззащитным.

– А что я, по-твоему, должен был сделать? – спросил он. – Бросить все и удалиться? Отказаться играть? На нас смотрели семьсот человек. Я же не знал, что она затеяла.

Наконец лифт добрался до нашего пентхаусного этажа, дернулся и остановился. Мальчики вышли, но Винисиус остался в лифте. Я чуть не осталась с ним, но Граса потащила меня за руку:

– Не бросай меня!

Идя по длинному коридору, она крепко сжимала мою руку, будто понимала: стоит ей ослабить хватку, как я тут же убегу.

Мне часто снится номер Грасы в «Паласе». Я иду по сверкающему полу террасы, мимо широченных диванов и шелковых желтых занавесей. В моих снах краски тусклы и глухи, словно кто-то окунул кисть в грязную воду и мазнул по картинке. Там настоящий лабиринт из столов, ламп и стульев, через который я прокладываю путь, готовясь подойти к закрытой французской двери спальни, хотя входить мне не хочется. Во сне, подходя к этим дверям, я ощущаю такой ужас, что сердце вот-вот остановится, но ноги продолжают нести меня к ним, шаг за шагом, хотя я цепляюсь за мебель в попытке остановить себя. Когда двери вырастают передо мной, я говорю себе: уходи, беги, отступи – но все же поворачиваю ручку. И в этот момент всегда просыпаюсь. Я одна, лежу в своей постели, в доме в Майами, и, мокрая от пота, ловлю воздух ртом. Нет больше рядом Винисиуса, чтобы утешить меня. Но даже когда он еще был жив, я только притворялась, будто успокоилась. Он снова засыпал, и я выползала из спальни, зная, что не усну до утра, зная, что я все-таки открыла ту дверь и увидела то, что лежит за ней, и это зрелище мне не стереть из памяти, от этого кошмара мне не очнуться.

Номер располагался на самой верхотуре отеля, окнами на океан. В ту ночь, после концерта, за окнами было угольно-черно, не считая

света от немногих кораблей. Корабли походили на светляков, попавших в смолу.

Граса зажгла свет. Черный океан исчез, и в стекле остались только наши отражения – Граса с полустертым сценическим гримом и взъерошенными волосами и я в черном вечернем платье – слишком простом, как она считала, да так оно и было.

Граса закрыла глаза и снова щелкнула выключателем:

– Как я устала от света.

Комната опять погрузилась во тьму. Я стояла неподвижно. Меня выдавало только дыхание – быстрое, неровное: в гримерке я слишком много курила.

– Не сниму этот сраный костюм – сдохну. Это как еще одно тело таскать на себе. – Граса расстегнула юбку, и та с глухим стуком упала на пол.

Мои глаза начали привыкать к темноте. Я смотрела, как Граса медленно направляется к ванной. Скрипнул вентиль, и струя воды с шумом ударила из крана. Я уронила сумочку, пузырьки с таблетками покатались по полу. Потом я на ощупь двинулась вперед, стараясь ни обо что не удариться.

Граса переоделась в халат. На столике у раковины мерцали свечи. Граса села на пуфик перед туалетным столиком и откинула голову. Потом стала водить влажными ватными тампонами по лицу, руки сновали в неистовом темпе. Даже в свете свечей я видела, какими жидкими стали ее брови, которые она столько лет выщипывала. Вокруг рта залегли тонкие морщинки, несколько упрямых морщин протянулось по лбу. Протирая лицо, Граса не сводила с меня глаз.

В ванной становилось жарко. Мое платье обвисло и прилипло к коже.

– Ванна сейчас перельется, – сказала Граса.

Я механически повернулась и закрутила кран. От воды поднимался пар. У меня дрожали руки. Граса мягко отодвинула меня.

Халат упал на пол. Я отвернулась, но не видеть ее в огромном зеркале было невозможно. Фунты, которые она потеряла в Палм-Спрингс, вернулись. Руки от локтя пухлые, живот в валиках жира. Как женщина со старинной итальянской картины, вся – мягкая плоть и ямочки. Граса забралась в исходящую паром воду и без колебаний села, взяла губку и потерла руки.

– Всю ночь будешь молчать? – спросила она. – Провалилась-то я, а не ты.

Ее позвоночник походил на веревку, натянутую под кожей. Я боролась с желанием провести по нему пальцами, утянуть под воду и держать.

– Это были мои песни.

Граса вздохнула. Ее дыхание разорвало висевший в воздухе пар.

– Значит, тебе достанутся все лавры за мой провал.

– Мне не нужны лавры.

От жары у меня закололо щеки.

– Нужны, и всегда были нужны. – Граса откинула голову и намочила волосы. Ее груди качнулись на поверхности воды – круглые, розовые. Я закрыла глаза.

– Ты же все продумала заранее. С гримом, с серьгами, – сказала я.

Граса снова выпрямилась.

– Я не могла и дальше делать одно и то же. Мне требовалось что-то новое. Когда я увидела тебя в Ипанеме, то поняла: вот оно. Ты знаешь, насколько сегодняшний концерт был важен для нас всех. Я поставила все на него. И мне нужно было твое выступление.

– Я не артистка, – сказала я.

– А кто же ты? Мы все артисты. И спектакль начинается в ту минуту, когда мы просыпаемся и открываем глаза.

– Ты не будешь их больше петь. Я тебе запрещаю.

Граса визгливо рассмеялась.

– Никто больше не хочет, чтобы я пела.

Она рывком встала из воды, шагнула из ванны. С волос текло. Граса глубоко вздохнула и, словно из нее выпустили весь воздух, надолго прижала к лицу полотенце.

Ее плечи не вздрагивали. Она же не плачет? Может, голова закружилась? Или собирается с духом – актриса, что готовится выйти на сцену? Такие вопросы я задавала себе, стоя в душной от пара ванной. У меня в распоряжении были десятилетия, чтобы оглядываться на эту ночь, на эти минуты, чтобы снова и снова складывать элементы головоломки, пытаюсь понять, как я могла бы изменить их, сложить заново и найти для нас другой выход. Предаваться подобным воспоминаниям – пустое дело. Это жестокая игра, где нет победителей, ибо я не могу вернуться в ту ночь. Я не

могу стереть совершенные мной ошибки. Я не могу стать добрее, щедрее, не могу стать более понимающей. Я не могу велеть себе отложить в сторону собственные гордость, гнев, желание поквитаться. Сейчас я вижу ту ночь полнее. Я вижу те долгие неловкие минуты, когда Граса прячет лицо в полотенце, словно молит меня о чем-то, а я не отвечаю. Я не могла ответить, потому что в ту минуту видела себя жертвой, а Грасу – воровкой.

Наконец Граса подняла лицо, бросила полотенце и стояла голая, на пол натекали лужицы воды.

– У меня это ужасное чувство с самой «Лимончitty», – сказала она. Тени от свечей исказили ее лицо, и казалось, что оно сделано из пластилина, оплывающего от жары. – Я знаю, что Винисиус не хочет оставаться со мной. Он так злится на меня, что, наверное, уже чемодан сложил. Петь – единственное, что я могу делать по-настоящему. Каждый день я просыпаюсь и думаю: «Сколько еще?» Сколько еще мне продираться сквозь эту сраную жизнь, прежде чем я сумею выйти к публике, прежде чем снова запою? Я привыкла ждать. Время между концертами не казалось мне долгим. Но теперь? Да теперь день кажется вечностью. Я... я просто не могу исправить все здесь, в жизни. Но там, перед людьми – да, там я всегда в ударе, каждый раз! Кроме сегодняшнего вечера. Сегодня я не смогла сделать так, чтобы они снова полюбили меня.

Ее голос прервался. От пара жгло ноздри, я пыталась продышаться, но не хватало воздуха. Я отвернулась, надеясь, что Грасе не удастся выманить у меня прощение. Мне нужна была та Граса, что вцепилась мне в волосы и лупила меня в реке в Риашу-Доси; та, что облапошила монахинь в «Сионе»; та, что орала, ругалась и поносила меня в Лапе. Я хотела ее мелочности, ее оскорблений, ее колотушек. Мне нужен был противник, а не жертва.

– Это моя музыка, – сказала я. – Ты должна была попросить ее у меня.

Граса отшатнулась, лицо изменилось, взгляд сделался пронзительным, черты затвердели, словно маска. Сердце у меня екнуло.

– А если бы попросила, если бы я умоляла тебя – думаешь, ты дала бы мне эти песни? – Граса мотнула головой. – Я не хочу быть богатой, не хочу быть знаменитой, мне не нужны лавры, в отличие от

тебя. Я хочу быть притягательной. Да ты хоть знаешь, что это значит? Ты ни дня в своей жизни никого не притягивала. Хотела бы, но тебе этого не дано. Поэтому ты вертишься вокруг тех, кто притягивает. Как я. Как Винисиус. Ты завидуешь мне, но моего не получишь. Не сможешь. Ты навсегда останешься Ослицей в дорогих тряпках.

Мы снова были девчонками, которые встретились в пустом вестибюле господского дома. Снова менялся мой привычный мир, у меня отнимали случайно доставшиеся мне крохи свободы; все те вещи, что я считала своими, на самом деле моими не были и никогда бы не стали. И Граса, с ее глазами цвета пробки и красивым розовым ртом, была подтверждением тому. *Ослица*. Она никогда меня так не называла.

Ванная была небольшой. А мои ноги – длинными. В два шага я уже была возле Грасы. Я отвесила ей две пощечины. Схватила ее за горло, ощутила под пальцами биение пульса. Это горло было так легко стиснуть, выдавить из него весь воздух, словно из шарика. Разве не драки я хотела?

Граса вскинула руки, но не схватила меня, не ударила, нет, она коснулась моего лица, погладила по щекам, словно мать – ребенка.

– Твою мать, да не бросай же меня, Дор, – просипела она. – Все меня бросают. Только не ты.

Я отпустила ее. Граса обняла меня, положила голову мне на грудь. Она поскуливала и мелко дышала, как больной зверек, пока весь лиф моего платья не намок. Тогда Граса посмотрела на меня – мокрые глаза, красный нос, губы дрожат, – и я снова схватила ее. Только на этот раз нежно.

Поцелуй. Чтобы произнести это слово, надо собрать губы трубочкой и словно выдуть его. *Beijo* – совсем другое. Чтобы произнести *beijo*, надо растянуть губы так, что в уголках рта залягут складки. То, что мы с Грасой делали девчонками в нашей комнатухе в Лапе, было *beijos* – мягкие, влажные, робкие поначалу, а потом все более дерзкие. В том, что мы делали в ванной отеля, не было ничего от наших прежних *beijos*.

Зубы Грасы стукнули о мои. Ее твердый мускулистый язык пробрался в мой рот, будто вознамерился взломать меня. Я попыталась отдернуть голову, но Граса крепко сжимала мои щеки ладонями. Я попробовала схватить ее, подчинить себе, но ее мокрое тело скользило

под руками. Она вся была округлость и мышцы, мягкость и сопротивление.

Не так я себе это представляла. Как я могла удержаться от фантазий о поцелуях Грасы? В безграничных пространствах моего воображения я много куда заходила, пробиралась я и в эти фантазии. Я не позволяла себе делать это часто – словно то было поле несрезанного тростника, что иссечет меня острыми листьями, оставит на моем теле тысячи невидимых ран. Но случались минуты, когда я позволяла себе эти фантазии и тогда воображала Грасу потрясенной, испуганной – не мной, а самой собой, своим желанием меня. И вот уже возникает безупречный ритм – наше дыхание, наши движения, даже наши намерения сливаются в одно, и уже не отличить Дориш от Грасы, Ослицы от Софии Салвадор.

Как далеки эти картины оказались от той ночи в ванной отеля! Мысли в голове носились по кругу, а Граса нажимала, намереваясь, кажется, завершить начатое. *Может, так она утешает меня? Нет. Так она утешает себя.* Но эта мысль возникла и исчезла. И снова: вот она сидит на сцене, стирая красную помаду с губ. И поет. Мои песни.

Я высвободилась и спросила:

– Зачем тебе это? Именно сейчас?

Граса снова обхватила меня.

– Молчи. И целуй меня.

Я отшатнулась:

– Не могу.

Лицо Грасы придвинулось вплотную.

– Не сейчас. Я не хочу.

Ногти Грасы впились мне в щеки.

– Давай! – приказала она. – Ну же.

– Нет.

Я попятилась из ванной в темноту и прохладу номера, хватая ртом воздух, словно меня держали под водой.

Граса тяжело съехала на пол, привалилась к косяку. Вытерла рот, ссутулилась. Она была точно боксер, отправленный в нокаун.

– Значит, все-таки уходишь, – тонким голосом сказала она. – Я тебе не нужна.

Что мне оставалось, как не нанести решающий удар?

– Нет. И никому не нужна.

Я вышла. Плечи болели после схватки в ванной. Руки тряслись так, что с трудом удалось закрыть за собой двери. Уже в лифте, подумав о сигаретах, я сообразила, что оставила сумочку – а с ней ключи, весь запас таблеток и «голубого ангела», а также сигареты – в номере Грасы. Какое-то мгновение я раздумывала, не вернуться ли.

Я вспомнила наш первый, давний концерт в Ресифи, когда мы были детьми, но Граса повела себя не как ребенок. Она не стала высмеивать мои слезы, не отвернулась от меня. Она дала мне утешение, какого не давал еще никто. Ослицу – которую до тех пор только пинали, лупили и охаживали ремнем – обняли и поняли. Почему я не смогла сделать то же самое для нее там, в ванной? Ей хотелось утешения, хотелось забыться рядом с чужим телом. Не так ли искала утешения я сама, у стольких мужчин и женщин? И все же я отказала ей – и себе – в этом утешении.

Я стояла в лифте – медная решетка, мягкие стены, – и как же мне хотелось вернуться в номер Грасы. Хотелось схватить, встряхнуть, наорать на нее, сказать, какую ошибку она совершила. Если бы только она попросила, я дала бы ей что угодно. Все бы дала. Но Граса – всегда хозяйская дочка – назвала меня Ослицей и приказала жрать объедки, которыми меня оделила.

Давай! Ну же.

И, услышав эти слова снова, я сделала выбор.

Поискав в баре отеля и в коридорах за сценой, я нашла Винисиуса на пляже. Он ушел от отеля недалеко, в укромное местечко поближе к воде. Был отлив, на волнах легкая рябь. Обширная отмель проглядывала ближе к горизонту, где низко висела луна, круглая и белая, созревший плод в ожидании, когда его сорвут.

– Господи, – сказал Винисиус, увидев меня.

Волосы у меня торчали во все стороны, вечернее платье насквозь мокрое, ноги босые. Я судорожно дышала, все еще не придя в себя, перед глазами все расплывалось. Винисиус подхватил меня.

– Ш-ш, ш-ш, – приговаривал он, мягко покачивая меня, словно ребенка перед сном.

Мне не хотелось покидать его объятия, не хотелось усаживаться рядом на песок и все объяснять. Да и что я могла объяснить? Что я все еще Ослица? Что я всегда буду Ослицей? Что Граса думает, будто я

всегда хотела украсть у нее то и это? Да так оно и было. А она украла у меня. Мы с ней две воровки, идеальная пара, вечно настороже – что бы еще украсть у другой. В ту ночь, в ее номере, красть стало нечего.

Я вывернулась из рук Винисиуса, подняла голову: видно ли окна Грасы, выходящие на пляж? Может, у нее горит свет, может, мелькнет тень – она смотрит вниз, на нас? Но, подняв голову, я увидела только Винисиуса, он глядел на меня. Нам обоим было больно. Мы оба хотели одного и того же, но не решались взять это.

Он уткнулся головой мне в шею. Нос его касался моих ключиц, вбирая мой запах. Я покрепче обняла Винисиуса, навалилась на него, я боялась, что подогнутся колени, я осяду и это внезапное движение спугнет его. «Разве я не должна хотеть спугнуть его?» – подумала я, а потом вообще перестала думать.

На женской щеке нет щетины. Она не пахнет ни водой после бритья, ни потом. Она вся мягкость, утонченность для женских губ – в отличие от щеки мужской. Но иногда тихая гавань не нужна – нужен бурный океан. Нужно, чтобы тебя швыряло волнами, зарывало в песок и обдирало о камни, чтобы легкие и глотка горели, пока ты наконец – слава богу – не поднимешься на поверхность, где воздух.

Мне было двадцать шесть лет – девчонка! Мне не достало ума разобраться в своих противоречивых желаниях, понять, какое из них стоит вскармливать, а какому следует дать зачахнуть. Я вскармливала все. Не в этом ли красота и опасность молодости: безрассудная способность чувствовать, не спрашивая себя, зачем, как, хорошо ли? Чего же мне хотелось в ту минуту на пляже, с Винисиусом? Да того же, чего хотим мы все: быть желанной, стать единственной для кого-то. Стать единственной звездой представления.

Аккорд – это три ноты, взятые одновременно. Основа гармонии и дисгармонии. Я поздно это выучила.

Молодой музыкант, что записывался со мной в Лос-Анджелесе, оказал мне услугу – обучил нотной грамоте. Я попросила его давать мне уроки. После записи он терпеливо объяснял мне про аккорды, темп и тембр. Чем больше он говорил, тем яснее мне становилось, что он называет вещи, о которых я всегда знала. *Гармония. Мелодическая линия. Мелодия. Тон. Ритм.* Всю свою жизнь я чувствовала эти грани музыки, не зная, как они называются.

Меня безмерно утешает мысль, что музыка существовала до того, как кто-то пришил к ней ярлычки с названиями, и будет существовать и после того, как слова подведут нас. А они подводят нас, всегда подводят. Мы думаем, что нам нужны слова, потому что в нашей природе давать определения вещам, расшифровывать, пытаться понять, разбирать на части, вешая на них таблички, как в музее. Ребенок родился – и мы даем ему имя, хотя не имя сделало его существующим. Благодаря именам нас легко вспомнить, а вспоминая, мы верим, что знаем, а зная – верим, что понимаем. Имена несут утешение. Больше всего нас пугает то, что мы не можем назвать по имени.

И вот мы здесь, после бесчисленных бессонных ночей, и что же? Я всего лишь подобралась к той точке истории, с которой большинство начинает. Почему все эти репортеры, биографы и наемные писатели начинают историю Софии Салвадор именно здесь? Потому что смерть продает книги и журналы, а смерть Софии Салвадор последовала слишком быстро и (для большинства) неожиданно.

Пытаясь преодолеть устоявшееся мнение, я излагала эту часть истории много раз. Столько раз, что поклялась никогда больше ее не рассказывать. В дни, последовавшие за смертью Софии Салвадор, я снова и снова повторяла ее – полиции, военным чинам, адвокату, которого мне пришлось нанять, и, конечно, ребятам. Меня приводит в бешенство мысль, что двенадцать коротких часов могут определить как дальнейшую жизнь, так и то, что другие будут рассказывать о нас. Если бы я писала песню о нас – Гресе, Винисиусе, ребятах из «Голубой Луны» и о себе, – эта часть нашей истории заняла бы ровно одну строчку. Но, подобно барабану, задающему ритм всей мелодии, она стала бы пульсом песни.

Ее нашел Винисиус. Обычно я думаю об этом с благодарностью.

Мы с ним уснули на берегу, бок о бок. Не приняв тем вечером «голубого ангела», я не провалилась в транс без сновидений, который обычно приносили эти пилюли. Мне приснилась Риашу-Доси. Я стояла перед морем тростника. Рядом Нена. Над нами шелестел тростник. Под порывами ветра стебли скрежетали друг о друга, словно кто-то точил ножи. Рядом кто-то жалобно завывал – хрипло, отчаянно. Животное? Я оглянулась, и Риашу-Доси пропала.

Солнце обжигало веки, я с трудом разлепила глаза. В бока врезались косточки атласного корсета. Я села и потрясла затекшей левой рукой. В голове стучало. На зубах скрипел песок.

Мы с Винисиусом поплелись в отель. Было еще очень рано, вряд ли кто-то из гостей уже проснулся. Пока мы ждали лифт, служащие украдкой поглядывали на нас. В кабине мы не говорили, не смотрели друг на друга. Потом я стояла перед дверью своего номера, и Винисиус попрощался со мной.

– Пойду держать ответ, – сказал он.

Они с Грасой делили номер. Хотел ли он дать понять, что ждет выволочки? Или намеревался объявить, что нынче же покидает Софию Салвадор и «Голубую Луну»? Или собирался рассказать о минувшей ночи на берегу? Была ли это его месть ей или это была моя месть? Кто знает. Мы так и не ответили на эти вопросы, хотя в то время они казались самыми важными.

Пока Винисиус, волоча ноги, удалялся по коридору, я стояла у двери и тарасилась на нее. Ключ. Мне тоже придется пойти к Грасе, чтобы забрать свою сумочку. Я оглянулась, но Винисиус уже исчез. И тут я подумала, что, наверное, все еще сплю, потому что вой – тот, что я слышала во сне, – повторился. Только прозвучал он куда громче и доносился с той стороны, где был номер Грасы.

Пространство за открытой дверью было залито солнцем: шторы полностью раздвинуты. Французские двери спальни закрыты. Вой доносился из-за них. Я повернула ручку и шагнула.

В спальне пахло чем-то тошнотворно-сладким, как в проулках Лапы после карнавала. Винисиус сидел на полу возле кровати. У него на коленях лежала голова Грасы. Белый атлас простыней – помню, я подумала: какие они скользкие, Граса упала с кровати. Но почему она не ругается на чем свет стоит, не смеется? Почему не открывает глаза? Все в номере было знакомым и в то же время искаженным, как бывает только в снах. И снова я спросила себя, не сплю ли.

Я опустилась на колени рядом с Грасой. Колени коснулись чего-то влажного, холодного, юбка намочла. Пол был заляпан рвотой, желтой, как горчица. Рвота комками засохла в волосах Грасы. Желтая корка в углах рта, на подбородке. Руки холодные, пальцы заоченели.

Я слышала, как что-то говорю, но не помню слов. Возвращаясь в те минуты, я вижу лицо Винисиуса, еще недавно красивое, а теперь

искаженное до уродливости. Он больше не выл, сосредоточенно слушал меня. По всей видимости, я говорила, что нужно вызвать врача. Не из отельной медицинской бригады, а нашего доктора. Которому мы доверяли. Доктора Фариаша, который пользовал Грасу, когда она выступала в «Урке». Я не знала номера его телефона, но помнила адрес: улица Барата Рибейру, Копакабана. Пусть телефонистка найдет, сказала я, хотя даже не знала, жив ли еще доктор Фариаш.

Полиция снова и снова просила меня изложить то, что я говорила Винисиусу.

Откуда вы знаете этого врача?

Он и раньше помогал нам.

Помогал?

Да. Помогал.

Каким образом?

Как врачи помогают.

Зачем было звонить частному врачу?

Она никогда бы не позволила чужаку прикоснуться к себе.

Зачем вы перемещали ее тело?

Перемещала?

Зачем вы перенесли ее?

Потому что она была холодная. Надо, чтобы тепло.

Вы думали, она еще жива?

Винисиус ушел искать телефонный аппарат. Я тупо оглядывала комнату. На прикроватном столике лежала моя сумочка, раскрытая, все флакончики с «голубым ангелом», все пузырьки с таблетками были пусты, крышечки рассыпаны по полу.

Сколько нембутала, бензедрина, кодеина и секонала я взяла в ту поездку? Пятьдесят таблеток? Шестьдесят? Сколько осталось к той ночи, когда мы с Грасой поссорились? Я выпила две дозы «голубого ангела» в самолете, две таблетки амфетамина по приезде в Рио. Или больше? Давала ли я мальчикам таблетки в самолете или за сценой, перед концертом? Сколько раз за эти годы я пыталась подсчитать таблетки – сначала для полиции, потом для Винисиуса, потом для себя. Я закрываю глаза и думаю о густо-желтых пузырьках, пытаюсь

подсчитать количество, определить цвет оставшихся в них таблеток. Поистине смешно, сколько времени человек может потратить, беспокоясь о том, что уже не имеет значения, что уже не изменить. Неважно, сколько таблеток оставалось в пузырьках, когда я ушла из номера. Какая разница, если к моему возвращению все они были пусты.

Я провела рукой по волосам Грасы. Пальцы испачкались в ее рвоте. Я вдруг обнаружила, что стою в ванной, держа под струей воды полотенце. Потом вернулась к Грасе, нежно обтерла влажной тканью лицо. Затем волосы и руки. Вытерла пол.

Я хотела посадить Грасу, чтобы очистить ей волосы сзади. Она оказалась тяжелее, чем я ожидала. И негнулась, сколько я ее ни упрасивала, так что я собралась с силами и втащила ее на кровать. Накрыла одеялом. Влажные волосы намочили подушку. В ванной я отыскала тюбик красной помады. Граса никогда не принимала гостей, не накрасив губы.

Знаете ли вы, что самое важное в любом голосе – это воздух? Пустое пространство. Чтобы голос излился, надо освободить место для него. Великие певцы умеют во время пения расслаблять гортань и язык. Они умеют дышать так, чтобы тело расширилось, умеют набрать как можно больше воздуха и держать каждый звук на пределе человеческих возможностей. Именно воздух заставляет вибрировать голосовые связки. Воздух, которым мы дышим, есть пища для нашего голоса. Его источник.

Винисиус потом говорил, что когда он с ребятами бежал назад, к холлу президентского номера, то слышал какой-то ужасный звук – стон, повторявшийся снова и снова. Голос не замирал, не делал пауз, не останавливался, чтобы взять дыхание. От этого звука, сказал Винисиус, у него внутри все обрывалось.

Смешно. Когда я, свернувшись, лежала рядом с Грасой в кровати, ее холодная ладонь в моей руке, мне казалось, что я пою ей.

Сколько прошло времени, прежде чем доктор Фариаш и парни ворвались в номер, разрушив наш покой? Полицейский рапорт сообщает – тридцать минут.

Помню, как Винисиус сидел в углу на корточках, спрятав лицо в ладонях. Помню, как Худышка ласково вытаскивал меня из постели. Я

будто окаменела. Худышка с Кухней отнесли меня, скрюченную, на диван. И тут поднялся гвалт. Полиция. Судебно-медицинский эксперт щелкал фотовспышкой.

Фотографии слили бразильским, а затем и американским газетам. На черно-белых снимках Граса выглядит умиротворенной. Чистая кожа. Темные блестящие губы. Даже после смерти она – звезда.

В военно-полицейском отчете говорится, что покойная была перенесена с пола на кровать. Биографы и поклонники теории заговора любят мусолить эту деталь. Как будто она важна. Меня много раз спрашивали о таблетках, которые я оставила в ее номере. Какие, сколько, для чего? Уже потом, после вскрытия, мне начали задавать другие вопросы. Была ли она расстроена после выступления в «Кобакабане»? Не замечала ли я признаков душевной нестабильности? Зачем я оставила столько таблеток в ее распоряжении? Почему оставила ее одну? Случались ли у нее раньше суицидальные эпизоды?

Вот Граса бредет в темную реку, крепко вцепившись в меня.

Я не зайду глубоко. А ты сильная как бык.

А вдруг нет?

Тогда мы обе утонем.

Ты утонешь.

Я всегда тебя спасала. А ты меня – ни разу.

Все было не так.

А я хочу, чтобы так.

Что ты делаешь! Так нельзя. Я могла бы послушаться. Я могла бы остаться.

Смотри, как бы тебе не просидеть там всю жизнь.

Мы останемся.

Я чувствую себя почти настоящей.

Ты и есть настоящая. Для меня.

Я так устала, Дор. Сколько еще?

Теперь уже недолго, *атор*. Совсем недолго.

Грасе устроили похороны, достойные главы государства. Если при жизни она была американской марионеткой, то после смерти стала обожаемой всеми бразильцами жертвой, которая бежала из враждебных Штатов и вернулась домой, чтобы создать себя заново,

изобрести новую форму самбы, – но лишь затем, чтобы трагически погибнуть молодой, не увидев расцвета нового жанра.

София Салвадор всегда чувствовала зал, не ошиблась и насчет публики в «Копе»: все эти журналисты, социалисты, люди из правительства и националисты намеревались утопить ее. Они, точно отвергнутые любовники, желали наказать Софию Салвадор за то, что она сначала бросила их, а потом имела наглость вернуться. Но София Салвадор, стоя на той сцене, не могла видеть – и никто из нас не мог – тех, кто в восхищении слушал трансляцию концерта. Она не видела их, сидевших в кафе, барах, гостиных, закрывавших глаза, чтобы получше проникнуться ее пением. Она не слышала ни их похвал, ни их аплодисментов. Еще никто (за исключением группки интеллектуалов, пришедших в клуб в Ипанеме накануне вечером) не слышал такую самбу – трогательную, ранимую, нуждающуюся в принятии и прощении. После того эфира огромное число бразильцев готовы были принять Софию Салвадор и простить. Отчасти именно поэтому ее смерть огорчила столь многих: не будет больше новых пластинок, не будет очередей на ее концерты, невозможно сказать ей, что она словно никогда и не покидала их. Люди любили ее, они просто опоздали с выражением своей любви.

Ее забальзамировали – роскошь в те дни. Гроб, отделанный бронзой, был покрыт флагом Бразилии. Пожарный автомобиль, затянутый черным крепом, вез ее по улицам Рио к Палате общин. Два дня она лежала, в красном платье, с красным ртом, утопая в цветах, в главном холле Палаты, и тысячи людей медленно шли к ее гробу, чтобы почтить ее память. Тысячи скорбящих стояли в очереди, извивавшейся по площади Флориану, мимо кинотеатра «Одеон». Иные с опухшими глазами, иные серьезные, были и просто любопытствующие. Генералы, банкиры, полицейские, домохозяйки, социалисты, знаменитые конферансье. Пришла даже Араси Араужо – в черной мантилье, с потеками черной туши на щеках. Я посмотрела на Грасу, ожидая, что она сейчас сядет и захохочет над Араси, которая, будто и не заметив меня, приклеилась к Винисиусу.

– Как мне теперь быть? – вопрошала она. – Как мне стать лучше, не имея такой соперницы?

Мне захотелось сорвать с Араси мантилью, отхлестать ее по щекам. Мне хотелось отхлестать всех и каждого из них, всемогущих и

ничтожных.

Почему вы не толпились в аэропорту, приветствуя ее возвращение? Почему не аплодировали ей в тот вечер в «Копе»? Почему не показывали ей свою любовь, когда она в ней нуждалась?

Если бы Граса умерла старухой, прожив жизнь, полную музыки, добилась бы она такой любви и преклонения? Или лучше потерять жизнь, чем молодость? А может, Граса, всегда чутко слышавшая аудиторию, дала поклонникам именно то, чего они хотели: звезда вернулась к ним для последнего концерта, и в их воспоминаниях она останется молодой и красивой, навсегда принадлежащей им? Я смотрела, как скорбящие текут мимо, и ненавидела их так, как не ненавидела еще никогда в жизни.

Когда гроб наконец закрыли, мы с ребятами перенесли Грасу назад в пожарную машину. Стоя плечом к плечу на платформе, мы медленно ехали мимо людских толп. Кто бы подумал, что в Рио столько народу? Фламенгу, Освальду-Крус, Ботафогу и дальше, до самого кладбища Сан-Жуан-Батишта, – всюду вдоль улиц стояли люди. Только, в отличие от душной Палаты, эти люди не молчали. Иные играли на куике, иные били в барабаны, скребли реку-реку. И все пели. «Дворняга», «Клара», «Родом из самбы», «Воздух, которым ты дышишь» – не было песни Софии Салвадор, которой бы они не знали.

Сидевший на самом верху машины Маленький Ноэль плакал, как ребенок. Банан и Буниту тоже рыдали. А потом мы услышали, как голос Кухни – глубокий и тревожащий, точно сирена – присоединился к песне толпы. И мы с ребятами вдруг забыли о гневе и обидах и тоже запели. Вот это был карнавал! Жаль, что Граса его не видела.

Почти все ребята из ансамбля остались в Бразилии. Со мной в Лос-Анджелес вернулись только Винисиус и, как ни странно, Кухня. Его возвращение в Штаты было вовсе не проявлением приязни ко мне, но жестом в адрес бразильцев – он не мог жить в стране, которая предала Грасу, когда она была жива, и которая после ее смерти всю славила ее.

Кухня обосновался в Чикаго, где многие годы играл настоящий на самбе джаз и блюз, в 1965 году у него случился удар, и он умер в съемной комнате. Банан, Буниту, Маленький Ноэль и Худышка добились некоторого успеха, не сравнимого, конечно, с успехом

времен «Голубой Луны». Большая часть наших песен принадлежала студии «Виктор», сразу после похорон Грасы я наняла адвоката и потащила Винисиуса в суд. Дело растянулось почти на десятилетие, но в конце концов решилось в нашу пользу. И мы вдруг разбогатели, но к тому времени я слишком окаменела, чтобы это заметить. По словам Винисиуса, я уже расплатилась по всем счетам.

В первые месяцы после смерти Грасы, когда я бывала еще сравнительно трезвой, Винисиус помог мне закончить дела на Бедфорд-драйв и настоял, чтобы я отправилась с ним в Лас-Вегас.

Вегас в те дни был целиной, полной возможностей для певцов, бандитов, хористок, музыкантов, официантов и игроков. Во время войны Вегас прославился как место, где супруги могли получить развод за минуты, а потом спускать деньги в казино, напомиравших салуны времен Дикого Запада, с полами, посыпанными опилками. Но все изменилось с открытием отеля «Фламинго» площадью в сорок акров: комнаты с кондиционерами и хрустальными люстрами, школа гольфа и оздоровительные процедуры. После войны Голливуд превратился в обитель нравственности и черных списков. А Лас-Вегас взял на себя роль пристанища для опальных звезд, подозреваемых в коммунизме, гомосексуализме или в том и другом разном. Вегас был чем-то вроде Лапы, возникшей посреди пустыни, но никак не спасением. Во всяком случае, для меня.

Воспоминания о жизни до Лас-Вегаса были слишком болезненны и четки, как если бы окружающая пустыня воскресила все запахи и вкусы, каждый разговор, каждую паузу, каждое прикосновение и каждое чувство, которые я пережила за свою короткую жизнь. С меня было довольно. Во мне не осталось ничего, кроме воспоминаний, и они душили меня – как мать, которая душит ребенка, слишком сильно прижимая его к груди.

Президент Дутра, уверенный, что его ждет второй срок, внезапно проиграл на выборах. Народ забросал урны бюллетенями с именем старины Жетулиу. Примерно в эти дни Винисиус, небритый, с красными от недосыпа глазами, сидел у моей больничной койки. Руки и ноги у меня были стянуты ремнями – в то время так делали с пациентами, которые, как считалось, представляют опасность для самих себя. Я больше стыдилась этих ремней, чем бинтов на

запястьях. Это Винисиус нашел меня на полу лас-вегасской квартиры. И он же убедил врачей развязать меня.

Меня выписали. После больницы я завела привычку – как только меня посещало воспоминание, любое, я тянулась к бутылке.

Второй срок Жетулиу оказался недолог. Даже в пьяном угаре я следила за новостями из Бразилии – так отвергнутый любовник вынюхивает истории о своей бывшей, надеясь узнать не столько об успехах, сколько о провалах. Несмотря на все его ошибки, меня утешала мысль, что Старик Жеже – человек, которого мы всегда называли по имени и который боролся за президентское кресло, еще когда мы с Грасой жили в Риашу-Доси, – снова вернулся во дворец Катете. Очередной скандал, схватка за власть – и Жетулиу снова оказался на грани отставки. Но, вместо того чтобы сдаться, он сел за стол в своем президентском кабинете, зарядил любимый пистолет и выстрелил себе в сердце. «Я ухожу из жизни, чтобы войти в историю», – написал он, записку нашли возле тела. Новость рассказал мне Винисиус.

– Старик Жетулиу покончил с собой. – У Винисиуса подрагивали руки, когда он подносил к губам сигарету.

Я не удивилась. Некоторым проще выбрать смерть, чем встретиться лицом к лицу с человеком, в которого тебя обратили тяготы и постоянная необходимость делать выбор. Вот только смерть – жестокий грабитель, она отнимает все, в том числе и возможность реабилитироваться в собственных глазах.

Сон приходит тяжело, если вообще приходит. Медсестра говорит, что мне надо отдыхать, да я все равно не могу слушать пластинки по ночам. Поэтому я тайком пишу, или сижу в темноте, слушая, как бормочет моторчик кровати. Эту кровать установили у меня после того, как я упала. Она поднимается и опускается, так что сиделке не надо ворочать мое тело.

Я закрываю глаза и слушаю: сердце стучит медленно-медленно, словно перекачивает не кровь, а сахарный сироп.

Я нажимаю кнопку. Скрип, вздох – и кровать опускается.

– Так-то вот, – вслух произношу я. – Ничего не поделаешь.

Тяжело поднимаюсь и ковыляю к двери.

Сиделка спит в соседней комнате, рот у нее приоткрыт, голова свесилась под странным углом. Я пробираюсь мимо нее – тихо, как ящерица. Добравшись до кабинета, протискиваюсь через нагромождение коробок и стоек с одеждой, и вот наконец проигрыватель. А за ним – да вот, вот она. Я беру ее в руки, и в меня вливается сила. Струны целые, хотя она наверняка расстроена. Будто тать в ночи, я выношу ее из дома, нахожу в темном двореке металлический стул и падаю на него, дрожащая, потная.

Воздух пахнет солью. Листья баньяна – толстые и блестящие, будто кожаные – постукивают друг о дружку под ветерком. Я прижимаю гитару к себе. В последние годы Винисиус забыл, как играть, не брал гитару в руки, даже не спрашивал о ней.

– Мы не можем забрать с собой все, так зачем цепляться за вещи сейчас? – говаривал он до болезни. Он многим разрешал выпускать каверы наших песен, не требовал никаких денег. – Пусть берут себе эту музыку. Мы не сможем унести ее с собой, когда уйдем.

– Куда уйдем? – спрашивала я.

Винисиус пожимал плечами:

– К черту, наверное.

Что он хотел сказать? Что он не знает, куда мы направимся, сбросив оболочки тел, или и вправду думал, что мы – мы с ним – отправимся в ад?

Иди к черту, Дор.

Это слишком далеко.

Далеко откуда?

От тебя.

Запиши. Удачная строчка.

У Нены имелся алтарь со святыми, она зажигала перед ним свечи и бормотала свои просьбы. Молитвы для Нены подразумевали обмен: я сделаю для тебя вот что, а ты за это убереги меня от дурного. Она никогда не говорила ни о небесах, ни о душе. Уверена, заикнись я о таких вещах, она поколотила бы меня.

В сионской школе монахини говорили о творении и первородном грехе, об исповеди и чистилище и о девяти чинах ангельских. Даже у распроклятых ангелов была иерархия! Если рай монахинь столь же мелочен и ограничен, как наш мир, то обойдутся там без меня. Да меня все равно не впустят в эти жемчужные ворота.

Главное – результат.

Мадам Люцифер был убит на Илья-Гранди во время поножовщины, но, несмотря на все его преступления, я не могу представить его в той тюрьме. Я вижу его только таким: высокий, элегантный, блистательный, танцующий на карнавальной платформе, вечно в движении.

Недавно по радио рассказывали о параллельных вселенных, о том, как время может складываться снова и снова, и в этих вселенных множество наших жизней заканчиваются по-разному. Наверняка существует такая жизнь, где я осталась с ней в ту ночь в отеле. Жизнь, в которой я дарю ей свои песни. Жизнь, в которой я разжимаю кулаки – а я так долго сжимала их – и понимаю то, что Граса понимала всегда: мы творим не ради того, чтобы доказать, но чтобы поделиться.

Плевать мне на эти песни, – говорю я ей.

Ложь, конечно, и она знает это. Но для нее в моей лжи кроются боль и дар. И дар предназначен ей, всегда ей одной. И она одаривает меня в ответ: отныне я ее единственный слушатель, и она любит меня, как любила свою публику – всем своим существом.

Кожу на груди жжет, словно там жало засело. Я прижимаю к себе гитару. Металлический стул подо мной трясется.

В Лапе не вели разговоров ни о рае, ни об аде, все мы были слишком заняты жизнью и музыкой. Моя Лапа теперь – просто место в книгах по истории, но я разрешаю себе думать, что она еще существует. Я трогаю струну на гитаре Винисиуса. Да. Такие дела.

Граса, Винисиус и ребята сидят во дворике Тетушки Сиаты, они ждут. Рода не начнется, пока не соберутся все, таково правило, поэтому они сидят и ждут. Я толкаю скрипучую калитку и вхожу, сандалии ступают по утрамбованной земле, ноздрей касается дымок – «Оникс», сигареты Винисиуса. И вот они: Худышка прижимает к податливому брюху кавакиню, Кухня подмигивает мне, Ноэль расплывается в детской улыбке, Банан серьезно кивает, Буниту от души наполняет стаканчик для меня, мои глаза встречаются с большими темными глазами Винисиуса, и у меня перехватывает дыхание, и Граса – ах, мое сердце, – ее улыбка, ямочки на щеках, ее нетерпение. Стул рядом с ней свободен.

В молодости мы все красивы. И нам все прощается. На роде нет вражды, которую нельзя отложить, и нет ран, которые невозможно

излечить. Музыка – самая лучшая связь. Чтобы извлечь звук из тугий струны, ее надо вытянуть из неподвижности. Музыкант трогает струну, и она, стремясь вернуться в исходное положение, подрагивает. В ее возвращении – вибрация, а в вибрации – звук. Песня не существует без изначальной неподвижности. Музыка не существует без движения, она есть стремление вернуться к тому, что было, и к тому, что может быть.

Я слышу, как бьется мое сердце. В его ударах – барабаны работников с плантации. Слова их песен эхом возвращаются ко мне, а ведь я вроде забыла их, все эти слова, рассказывающие истории о страсти, боли, мести, сожалениях и – о красоте милосердия. Я смотрю на Грасу, и она кивает мне: теперь моя очередь вести музыку. Я чувствую, как что-то древнее разрастается во мне – дыхание невозможного, шепот правды, которую я всегда знала, но которую не умела назвать. Я трогаю струну, и круг наполняется ее звуком.

notes

Примечания

1

Любовь (*португ.*).

2

Букв. «маленький марш», мелодии комического характера, исполняемые во время карнавала. – *Здесь и далее примеч. перев.*

3

Самба де рода (португ. *roda* – круг) – круговая самба, самая древняя разновидность самбы, считается родом из Африки; импровизированный танец в кругу, участвуют обычно только женщины, задавая себе ритм хлопками. В Бразилии рода превратилась в музыкальный круг, когда музыканты импровизируют, вступая один за другим, подхватывая мелодию.

4

Бразильский барабан, один из основных инструментов при исполнении самбы, по нему не бьют, а изнутри трут кожаную мембрану специальной палочкой, производя очень характерный визгливо-трескучий звук.

5

Бразильский музыкальный инструмент родом из Африки, современная версия представляет собой коробочку с натянутыми пружинами, которые дергают палочкой; обязательный инструмент в самбе.

6

Пер. Н. Кулирович.

7

Шлюха (*португ.*).

8

Дурной глаз (*португ.*).

9

Пучеглазая (*португ.*).

10

Ослица (*португ.*).

11

Сензалы (*браз. португ.*) – бараки на бразильских плантациях, где с XVII и до конца XIX века жили черные рабы.

12

Дорогая (*португ.*).

13

Папа (*португ.*).

14

Деревенщина (*португ.*).

15

Мама (*португ.*).

Ти-Боун Уокер (1910–1975) – американский блюзмен, в десять лет он стал поводырем у слепого блюзмена Блайнда Лемона Джефферсона, у которого и обучился многим приемам игры. Одним из первых стал играть блюз на электрогитаре.

ЖИЗНЬ МОЯ (*португ.*).

Афро-бразильский религиозный культ, зародившийся в среде бразильских рабов-африканцев.

Жуликам (*португ.*).

Черт, манда, хуй (*португ.*).

Черный; дорогуша (*браз. португ.*).

Промежность (*браз. португ.*).

Бродяги (*португ.*).

Педик (*португ.*).

«Мотаун рекордз» – знаменитая звукозаписывающая компания, продвигавшая чернокожих музыкантов, сформировалось даже особое «мотауновское» звучание в ритм-энд-блюзе.

Надзирающие (*исп.*).

Традиционное бразильское и нигерийское блюдо, своего рода пирожок, слепленный из коровьего гороха (разновидность бобов), с разнообразной начинкой – как правило, острой.

Estado Novo, новое государство (*португ.*).

Деревенщина (*португ.*).

30

Хозяин (*португ.*).

Изразцовая плитка для облицовки фасадов.

Жители Рио.

Сукин сын (*португ.*).

Кодекс Хейса – свод этических правил, принятых в кинопроизводстве Голливуда.

Table of Contents

Франсиш Ди Понтиш Пиблз Воздух, которым ты дышишь

Сладкий ручей[6]

Сладкий ручей

Побег

Побег

Воздух, которым ты дышишь

Воздух, которым ты дышишь

Мы родом из самбы

Мы родом из самбы

Суждено быть

Суждено быть

Недобродетельные, не знающие раскаяния

Недобродетельные, не знающие раскаяния

Самба, ты была моей когда-то

Самба, ты была моей когда-то

Говорят, я теперь гринга

Говорят, я теперь гринга

Между мной и тобой

Между мной и тобой

Конец меня

Конец меня

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)